

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

*Лучшие рождественские
истории*



Annotation

Нет ни одного более радостного праздника, чем Рождество, когда любой человек ожидает, что в его жизни тоже произойдет чудо, сбудутся самые невероятные мечты! Праздника, подарившего людям надежду и спасение! Тема Рождества не осталась без внимания в русской литературе, и сложилась целая традиция рождественских и святочных рассказов.

- [Ночь перед Рождеством: лучшие рождественские истории](#)
 - [Николай Гоголь](#)
 - [Ночь перед Рождеством](#)
 - [Федор Достоевский](#)
 - [Мальчик у Христа на елке](#)
 - I
 - II
 - [Николай Лесков](#)
 - [Запечатленный ангел](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [Святочные рассказы](#)
 - [Жемчужное ожерелье](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)

- [Глава третья](#)
- [Глава четвертая](#)
- [Глава пятая](#)
- [Неразменный рубль](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
- [Зверь](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
- [Привидение в Инженерном замке](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)

- [Глава одиннадцатая](#)
- [Отборное зерно](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
- [Обман](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
- [Штопальщик](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
- [Дух госпожи Жанлис](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)

- [Глава третья](#)
- [Глава четвертая](#)
- [Глава пятая](#)
- [Глава шестая](#)
- [Глава седьмая](#)
- [Глава восьмая](#)
- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
- [Глава шестнадцатая](#)
- [Старый гений](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
- [Путешествие с нигилистом](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
- [Маленькая ошибка](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
- [Пугало](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)

- [Глава четвертая](#)
- [Глава пятая](#)
- [Глава шестая](#)
- [Глава седьмая](#)
- [Глава восьмая](#)
- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
- [Глава шестнадцатая](#)
- [Глава семнадцатая](#)
- [Глава восемнадцатая](#)
- [Глава девятнадцатая](#)
- [Глава двадцатая](#)
- [Глава двадцать первая](#)
- [Фигура](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
- [Александр Куприн](#)
 - [Чудесный доктор](#)
 - [Бедный принц](#)
 - [I](#)
 - [II](#)

- [III](#)
 - [IV](#)
 - [Антон Чехов](#)
 - [Елка](#)
 - [Сапожник и нечистая сила](#)
 - [Александр Грин](#)
 - [Новогодний праздник отца и маленькой дочери](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [Валерий Брюсов](#)
 - [Дитя и безумец](#)
 - [Леонид Андреев](#)
 - [Ангелочек](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
-

Ночь перед Рождеством: лучшие рождественские истории

Николай Гоголь

Ночь перед Рождеством

Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа^[1]. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкой, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.

Если бы в это время проезжал Сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенною плетью, которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно, приметил ее, потому что от Сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросят, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где ни показывалось пятнышко, там звезды, одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг, с другой стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с Комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец^[2]: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пяточком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя

ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.

Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.

В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое незаконное дело? А вот какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут: голова; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка, в синем сюртуке, бравший самого низкого баса; козак Свербыгуз и еще кое-кто; где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Л...ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых: и теперь еще можно найти в Т... церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день Страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою гибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем чем ни попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на нее, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и не легок на подъем, к дьяку же от избы не так близко; дорога шла по-за селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заманить Чуба. Но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.

Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавши мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде, бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные. Теперь же и заседатель, и подкоморий отсмалили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконною покрывашкою. Канцелярист и волостной писарь третьего году взяли синей китайки по шести гривен аршин. Пономарь сделал себе на лето нанковые шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди! Когда эти люди не будут суетны! Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он, верно, воображает себя красавцем, между тем как фигура – взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры! Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними.

– Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате? – говорил козак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому, в коротком тулупе, мужику с обросшею бородою, показывавшею, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы.

– Там теперь будет добрая попойка! – продолжал Чуб, ослабив при этом свое лицо. – Как бы только нам не опоздать.

При сем Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут – страх и грозу

докучливых собак, но, взглянув вверх, остановился...

– Что за дьявол! Смотри! смотри, Панас!..

– Что? – произнес кум и поднял свою голову также вверх.

– Как что? месяца нет!

– Что за пропасть? В самом деле нет месяца.

– То-то, что нет, – выговорил Чуб с некоторою досадою на неизменное равнодушие кума. – Тебе, небось, и нужды нет.

– А что мне делать?

– Надобно же было, – продолжал Чуб, утирая рукавом усы, – какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось, собаке, поутру рюмки водки выпить, вмешаться!.. Право, как будто на смех... Нарочно, сидевши в хате, глядел в окно: ночь – чудо! Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь – и вот, хоть глаз выколи!

Чуб долго еще ворчал и бранился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где, без всякого сомнения, сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускаявший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем козакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги, на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы, без всякого сомнения, решился на последнее, если бы был один, но теперь обоим не так скучно и страшно идти темною ночью, да и не хотелось-таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму:

– Так нет, кум, месяца?

– Нет.

– Чудно, право? А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?

– Кой черт, славный! – отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. – Старая курица не чихнет!

– Я помню, – продолжал все так же Чуб, – мне покойный шинкарь Зузуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был! Добрый табак был! Так что же, кум, как нам быть? ведь темно на дворе.

– Так, пожалуй, останемся дома, – произнес кум, ухватясь за ручку двери.

Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился остаться, но

теперь его как будто что-то дергало идти наперекор.

– Нет, кум, пойдём! нельзя, нужно идти!

Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь; но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал-таки не так, как ему советовали.

Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно все равно, сидеть ли дома, или тащиться из дому, обсмотрелся; почесал палочкой батога свои плечи, и два кума отправились в дорогу.

Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица дочка. Оксане не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими.

По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? – говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы об чем-нибудь поболтать с собою. – Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве черные брови и очи мои, – продолжала красавица, не выпуская зеркала, – так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в губах? Будто хороши мои черные косы? Ух! их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевилились и обвилились вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша! – И, отдвигая несколько подалее от себя зеркало, вскрикнула: – Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует меня насмерть».

– Чудная девка! – прошептал вошедший тихо кузнец, – и хвастовства у нее мало! С час стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух!

«Да, парубки, вам ли чета я? вы поглядите на меня, – продолжала хорошенькая кокетка: – как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидеть богаче галуна! Все это накопил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!» – И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца...

Вскрикнула и сурово остановилась перед ним.

Кузнец и руки опустил.

Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки: и суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это так смешалось и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз – вот все, что можно было сделать тогда наилучшего.

– Зачем ты пришел сюда? – так начала говорить Оксана. – Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатую? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас! Что, сундук мой готов?

– Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы; зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околоток выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя!

– Кто ж тебе запрещает, говори и гляди!

Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах.

– Позволь и мне сесть возле тебя! – сказал кузнец.

– Садись, – проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство.

– Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя! – произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе, в намерении схватить поцелуй. Но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на не приметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его.

– Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна! Поди

прочь, у тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю обмарал сажею.

Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться.

«Не любит она меня, – думал про себя, повеся голову, кузнец. – Ей все игрушки; а я стою перед нею как дурак и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей! Чудная девка! чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит! Но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любит сама собою; мучит меня бедного; а я за грустью не вижу света; а я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить».

– Правда ли, что твоя мать ведьма? – произнесла Оксана и засмеялась; и кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо вострепнувших жилах, и за всем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо.

– Что мне до матери? ты у меня мать, и отец, и все, что ни есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами». – «Не хочу, – сказал бы я царю, – ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства. Дай мне лучше мою Оксану!»

– Видишь, какой ты! только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери, – проговорила, лукаво усмехнувшись, Оксана. – Однако ж дивчата не приходят... Что б это значило? Давно уже пора колядовать. Мне становится скучно.

– Бог с ними, моя красавица!

– Как бы не так! с ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй!

– Так тебе весело с ними?

– Да уж веселее, чем с тобою. А! кто-то стукнул; верно, дивчата с парубками.

«Чего мне больше ждать? – говорил сам с собою кузнец. – Она издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется по крайней мере другому посмеяться надо мною. Пусть только я наверное замечу, кто ей нравится более моего; я отучу...»

Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос: «Отвори!» – прервал его размышления.

– Постой, я сам отворю, – сказал кузнец и вышел в сени, в намерении

отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.

Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Немудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр, поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу.

Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покато́й горе, и прямо в трубу.

Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то немудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посереде хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле.

Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею в такие года. Однако ж она так умела причаровать к себе самых степенных Козаков (которым, не мешая между прочим заметить, мало было нужды до красоты), что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович (конечно, если дьячихи не было дома), и козак Корний Чуб, и козак Касьян Свербыгуз. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик, или дворянин, как называют себя козаки, одетый в кобеняк с видлогою, в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, – как не зайти к Солохе, не поест жирных с сметаною вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это – заходить по дороге. А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже верно закашливался и прищуривал неволью в ту сторону глаза;

голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба! Черт-баба!»

Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с козаком Чубом. Чуб был вдов. Восемь скирд хлеба всегда стояли перед его хатою. Две пары дюжих волов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую куму – корову, или дядю – толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших по двору индеек и оборачиваясь задом, когда завидывал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы табаку. Все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удвоивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын ее Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы наверно не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех сорокалетних кумушек: ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особенно когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма; что парубок Кизяколупенко видел у нее сзади хвост величиною не более бабьего веретена; что она еще в позапрошлый четверг черною кошкою перебежала дорогу; что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад.

Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел какой-то коровий пастух Тымиш Коростявый. Он не преминул рассказать, как летом, перед самою Петровкою, когда он лег спать в хлеву, подмостивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма, с распущенною косою, в одной рубашке, начала доить коров, а он не мог пошевелинуться, так был околдован; подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого все именитые козаки махали руками, когда слышали такие речи. «Брешут сучи бабы!» – бывал обыкновенный ответ их.

Вылезши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту; но мешков не тронула: «Это Вакула принес, пусть же сам и вынесет!» Черт между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег мотался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу, в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпотчует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.

* * *

В самом деле, едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощал по-бранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось в восемь раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники поворотили назад. Ветер дул в затылок; но сквозь метущий снег ничего не было видно.

– Стой, кум! мы, кажется, не туда идем, – сказал, немного отошедши, Чуб, – я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! свороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги; а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге! Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана!

Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедши в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все и, стряхнувши с себя снег, пошел в сени, нимало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу; остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решил идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.

– Чего тебе тут нужно? – сурово закричал вышедший кузнец.

Чуб, узнавши голос кузнеца, отступил несколько назад. «Э, нет, это не моя хата, – говорил он про себя, – в мою хату не забредет кузнец. Опять же,

если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы была это хата? Вот на! не распознал! это хромого Левченка, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. То-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю; зачем же кузнец?.. Э-ге-ге! он ходит к его молодой жене. Вот как! хорошо!., теперь я все понял».

– Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями? – произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе.

«Нет, не скажу ему, кто я, – подумал Чуб, – чего доброго, еще приколотит, проклятый выродок!» – и, переменив голос, отвечал:

– Это я, человек добрый! пришел вам на забаву по-колядовать немного под окнами.

– Убирайся к черту с своими колядками! – сердито закричал Вакула. – Что ж ты стоишь? слышишь, убирайся сей же час вон!

Чуб сам уже имел это благоразумное намерение, но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор.

– Что ж ты, в самом деле, так раскричался? – произнес он тем же голосом, – я хочу колядовать, да и полно.

– Эге! да ты от слов не уймешься!.. – Вслед за сими словами Чуб почувствовал пребольной удар в плечо.

– Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться! – произнес он, немного отступая.

– Пошел, пошел! – кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.

– Что ж ты! – произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость. – Ты, вижу, не в шутку дерешься, и еще больно дерешься!

– Пошел, пошел! – закричал кузнец и захлопнул дверь.

– Смотри, как расхрабрился! – говорил Чуб, оставшись один на улице. – Попробуй, подойди! вишь какой! вот большая цаца! Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи: я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил вражий сын! Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха! Постой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у меня напляшешься! Вишь, проклятый шибеник! Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Гм... оно ведь недалеко отсюда; пойти бы! Время теперь такое, что нас никто не застанет.

Может, и того, будет можно... Вишь, как больно поколотил проклятый кузнец!

Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, не заглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватяющего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину, произносил: «Больно поколотил проклятый кузнец!» И снова отправлялся в путь.

В то время, когда проворный фронт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатю не толпились колядующие.

Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.

Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все наперерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другой и хохотала без умолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.

– Э, Одарка! – сказала веселая красавица, оборотившись к одной из девушек, – у тебя новые черевички! Ах, какие хорошие! и с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает; а мне некому достать такие славные черевички.

– Не тужи, моя ненаглядная Оксана! – подхватил кузнец, – я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит.

– Ты? – сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. – Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица.

– Видишь, каких захотела! – закричала со смехом девичья толпа.

– Да, – продолжала гордо красавица, – будьте все вы свидетельницы: если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж.

Девушки увели с собою капризную красавицу.

– Смейся, смейся! – говорил кузнец, выходя вслед за ними. – Я сам смеюсь над собою! Думаю, и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, – ну, Бог с ней! будто только на всем свете одна Оксана. Слава Богу, дивчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? с нее никогда не будет доброй хозяйки; она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать дурачиться.

Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил перед ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «Достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж!» Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане.

Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех.

Черт между тем не на шутку развежился у Сол охи: целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, притом же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собою толпу и редко бывала без компании. Этот вечер, однако ж, думала провести одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе: черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок.

Голова, стряхнув с своих капелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель; а увидевши свет в ее хате, завернул к ней, в намерении провести вечер с нею.

Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка.

– Спрячь меня куда-нибудь, – шептал голова. – Мне не хочется теперь встретиться с дьяком.

Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя; наконец выбрала самый большой мешок с углем; уголь высыпала в кадку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок.

Дьяк вошел, побряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто и что он сердечно рад этому случаю *погулять* немного у нее и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие:

– А что это у вас, великолепная Солоха? – И, сказавши это, отскочил он несколько назад.

– Как что? Рука, Осип Никифорович! – отвечала Солоха.

– Гм! рука! хе! хе! хе! – произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате. – А это что у вас, дражайшая Солоха? – произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею и таким же порядком отскочив назад.

– Будто не видите, Осип Никифорович! – отвечала Солоха. – Шея, а на шее монисто.

– Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! – и дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки. – А это что у вас, несравненная Солоха?.. – Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос козака Чуба.

– Ах, Боже мой, стороннее лицо! – закричал в испуге дьяк. – Что теперь, если застанут особу моего звания?.. Дойдет до отца Кондрата!..

Но опасения дьяка были другого рода: он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую.

– Ради Бога, добродетельная Солоха, – говорил он, дрожа всем телом. – Ваша доброта, как говорит писание Луки глава трин... трин... Стучатся, ей-богу стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь.

Солоха высыпала уголь в кадку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля.

– Здравствуй, Солоха! – сказал, входя в хату, Чуб. – Ты, может быть, не ожидала меня, а? правда, не ожидала? может быть, я помешал?.. –

продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. – Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь?., может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? – И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. – Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством! Как схватилась, слышишь, Солоха, как схватилась... Эх окостенели руки: не расстегну кожуха! Как схватилась вьюга...

– Отвори! – раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь.

– Стучит кто-то, – сказал остановившийся Чуб.

– Отвори! – закричали сильнее прежнего.

– Это кузнец! – произнес, схватясь за капелюхи, Чуб. – Слышишь, Солоха: куда хочешь девай меня; я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною!

Солоха, испугавшись сама, металась как угорелая и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъяснить кашлем и кряхтеньем боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои замерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков.

Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно было, что он весьма не в духе.

В то самое время, когда Солоха затворяла за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был козак Свербыгуз. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить.

Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни колядующих; наконец остановил глаза на мешках: «Зачем тут лежат эти мешки? их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!»

Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли

Бог знает где, иначе он бы услышал, как зашипел Чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка и дюжий голова начал было икать довольно явственно.

– Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? – говорил кузнец, – не хочу думать о ней, а все думается; и, как нарочно, о ней одной только. Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Кой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего! Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я! я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову, а теперь мешков с углем не подыму.

Скоро буду от ветра валиться. Нет, – вскричал он, помолчав и ободрившись, – что я за баба! Не дам никому смеяться над собою! Хоть десять таких мешков, все подыму. – И бодро взвалил себе на плечи мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. – Взять и этот, – продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал, свернувшись, черт. – Тут, кажется, я положил струмент свой. – Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню:

Мені с жінкой не возиться.

Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились вволю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых Козаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпуская щедровку и ревел во все горло:

Щедрик, ведрик!
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски!

Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек:

шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были повеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! И еще белее казался свет месяца от блеска снега.

Кузнец остановился с своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули; бросивши на землю мешки так, что находившийся на дне дьяк захохотал от ушибу и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которою ему послышался голос Оксаны.

«Так, это она! стоит, как царица, и блестит черными очами! Ей рассказывает что-то видный парубок; верно, забавное, потому что она смеется. Но она всегда смеется». Как будто невольно, сам не понимая как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее.

– А, Вакула, ты тут! здравствуй! – сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Ваку-лу с ума. – Ну, много наколядовал? Э, какой маленький мешок! а черевики, которые носит царица, достал? достань черевики, выйду замуж! – И, засмеявшись, убежала с толпою.

Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу; нет сил больше... – произнес он наконец. – Но Боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд, и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет... Нет, невмочь уже пересилить себя! Пора положить конец всему: пропадай душа, пойду утоплюсь в пролубе, и поминай как звали!»

Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал твердым голосом:

– Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этом свете.

Красавица казалась удивленною, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал.

– Куда, Вакула? – кричали парубки, видя бегущего кузнеца.

– Прощайте, братцы! – кричал в ответ кузнец. – Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам Чудотворца и Божией Матери, грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь! Прощайте!

Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине.

– Он повредился! – говорили парубки.

– Пропадшая душа! – набожно пробормотала проходившая мимо старуха. – Пойти рассказать, как кузнец повесился!

Вакула между тем, пробежавши несколько улиц, остановился перевести дух. «Куда я в самом деле бегу? – подумал он, – как будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать!»

При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости; но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к Пузатому Пацюку.

Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем; но выгнали его или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может и пятнадцать, как он жил в Диканьке. Сначала он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру; впрочем, было где и поместиться: потому что Пацюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широки, что, какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно не заметно, и казалось – винокуренная кадья двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его Пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду.

Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки.

«Нет, этот, – подумал Вакула про себя, – еще ленивее Чуба: тот по крайней мере ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять!»

Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему пренизкий поклон.

– Я к твоей милости пришел, Пацюк! – сказал Вакула, кланяясь снова.

Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки.

– Ты, говорят, не во гнев будь сказано... – сказал, собираясь с духом, кузнец, – я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду, – приходишься немного сродни черту.

Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик и мало смягчил крепкие слова, и, ожидая, что Пацюк, схвативши кадушку вместе с мискою, пошлет ему прямо в голову, отсторонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица.

Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решил продолжить:

– К тебе пришел, Пацюк, дай Боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции! – Кузнец иногда умел вернуть модное слово; в том он понаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. – Пропадать приходится мне, грешному! ничто не помогает на свете! Что будет, то будет, приходится просить помощи у самого черта. Что ж, Пацюк? – произнес кузнец, видя неизменное его молчание, – как мне быть?

– Когда нужно черта, то и ступай к черту! – отвечал Пацюк, не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки.

– Для того-то я и пришел к тебе, – отвечал кузнец, отвешивая поклон, – кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги.

Пацюк ни слова и доедал остальные галушки.

– Сделай милость, человек добрый, не откажи! – наступал кузнец, – свинины ли, колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего, в случае потребности... как обыкновенно между добрыми людьми водится... не поскупимся. Расскажи хоть, как, примерно сказать, попасть к нему на дорогу?

– Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, – произнес равнодушно Пацюк, не изменяя своего положения.

Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» – безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал.

Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было;

но вместо того на полу стояли две деревянные миски; одна была наполнена варениками, другая сметаной. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим, – говорил он сам себе, – как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя: нужно вареник сперва обмакнуть в сметану».

Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнулся в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.

«Вишь, какое диво!» – подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот и уже вымазал губы сметаной. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя притом, что один только Пацюк может помочь ему. «Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько... Однако что за черт! ведь сегодня *голодная кутья*, а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле, за дурак, стою тут и греха набираюсь! Назад!» – И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты.

Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею.

Мороз подрал по коже кузнеца; испугавшись и побледнев, не знал он, что делать; уже хотел перекреститься... Но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал:

– Это я – твой друг, все сделаю для товарища и друга! Денег дам сколько хочешь, – пискнул он ему в левое ухо. – Оксана будет сегодня же наша, – шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо.

Кузнец стоял, размышляя.

– Изволь, – сказал он наконец, – за такую цену готов быть твоим!

Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался кузнец! – думал он про себя, – теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малеванья и небылицы, взводимые на чертей. Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в аде все хвостатое племя, как будет беситься хромым черт, считавшийся между ними первым на выдумки.

– Ну, Вакула! – пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы

опасаясь, чтобы он не убежал, – ты знаешь, что без контракта ничего не делают.

– Я готов! – сказал кузнец. – У вас, я слышал, расписываются кровью; стой же, я достану в кармане гвоздь! – Тут он заложил назад руку – и хватил черта за хвост.

– Вишь, какой шутник! – закричал, смеясь, черт. – Ну, полно, довольно уже шалить!

– Стой, голубчик! – закричал кузнец, – а вот это как тебе покажется? – При сем слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок. – Стой же, – сказал он, стаскивая его за хвост на землю, – будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан! – Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.

– Помилуй, Вакула! – жалобно простонал черт, – все, что для тебя нужно, все сделаю, отпусти только душу на покаяние: не клади на меня страшного креста!

– А, вот каким голосом запел, немец проклятый! теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе! слышишь, неси, как птица!

– Куда? – произнес печальный черт.

– В Петербург, прямо к царице!

И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся на воздух.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? «Чего доброго! может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первую красавицею на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша! он меня ни за что не променяет; он шалит, прикидывается. Не пройдет минут десять, как он, верно, придет поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. То-то он обрадуется!» И ветреная красавица уже шутила с своими подругами.

– Постойте, – сказала одна из них, – кузнец позабыл мешки свои; смотрите, какие страшные мешки! Он не по-нашему наколядовал: я думаю, сюда по целой четверти барана кидали; а колбасам и хлебам, верно, счету нет. Роскошь! целые праздники можно объедаться.

– Это Кузнецовы мешки? – подхватила Оксана. – Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал.

Все со смехом одобрили такое предложение.

– Но мы не поднимем их! – закричала вся толпа вдруг, силясь сдвинуть мешки.

– Пойдите, – сказала Оксана, – побежим скорее за санками и отвезем на санках!

И толпа побежала за санками.

Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то, что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезть; но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех... это удерживало его, и он решился ждать, слегка только побряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти по крайней мере шагов с сотню, а может быть, и другую. Вылезши же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс – сколько работы! да и капелюхи остались у Сол охи. Пусть же лучше дивчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда дивчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг; он хотел было дожидаться, авось-либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчует его; но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении.

– Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге! – сказал он, осматриваясь по сторонам, – должно быть, тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастье наколядовать столько всякой всячины! Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да коржами, и то *добре*. Хотя бы были тут одни паляницы, и то *в шмак*: жидовка за каждую паляницу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто не увидел. – Тут взвалил он себе на плечи мешок с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. – Нет, одному будет тяжело нести, – проговорил он, – а вот, как нарочно, идет ткач Шапуваленко. Здравствуй, Остап!

– Здравствуй, – сказал, остановившись, ткач.

– Куда идешь?

– А так. Иду, куда ноги идут.

– Помоги, человек добрый, мешки снести! кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги. Добром поделимся пополам.

– Мешки? а с чем мешки, с кнышами или паляницами?

– Да, думаю, всего есть.

Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.

– Куда ж мы понесем его? в шинок? – спросил дорогою ткач.

– Оно бы и я так думал, чтобы в шинок; но ведь проклятая жидовка не поверит, подумает еще, что где-нибудь украли; к тому же я только что из шинка. Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает: жинки нет дома.

– Да точно ли нет дома? – спросил осторожный ткач.

– Слава Богу, мы не совсем еще без ума, – сказал кум, – черт ли бы принес меня туда, где она. Она, думаю, протаскается с бабами до света.

– Кто там? – закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь.

Кум остолбенел.

– Вот тебе на! – произнес ткач, опустя руки.

Кумова жена была такого рода сокровище, каких немало на белом свете. Так же как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день пресмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам с своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была вдвое старше шаровар волостного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий выходивший из дому никогда не брал палки для собак, в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подальше от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях.

Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила.

– Вот это хорошо! – сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. – Это хорошо, что наколядовали столько! Вот так всегда делают добрые люди; только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сей час! слышите, покажите сей же час мешок ваш!

– Лысый черт тебе покажет, а не мы, – сказал, приосанясь, кум.

– Тебе какое дело? – сказал ткач, – мы наколядовали, а не ты.

– Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница! – вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку.

Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворнохватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.

– Что мы допустили ее? – сказал ткач, очнувшись.

– Э, что мы допустили! а отчего ты допустил? – сказал хладнокровно кум.

– У вас кочерга, видно, железная! – сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. – Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы, – та ничего... не больно...

Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись.

– Э, да тут лежит целый кабан! – вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши.

– Кабан! слышишь, целый кабан! – толкал ткач кума. – А все ты виноват!

– Что ж делать! – произнес, пожимая плечами, кум.

– Как что? чего мы стоим? отнимем мешок! ну, приступай!

– Пошла прочь! пошла! это наш кабан! – кричал, выступая, ткач.

– Ступай, ступай, чертова баба! это не твое добро! – говорил, приближаясь, кум.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все невольно разинули рты.

– Что ж она, дура, говорит: кабан! Это не кабан! – сказал кум, выпуча глаза.

– Вишь, какого человека кинуло в мешок! – сказал ткач, пятась от испугу. – Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко.

– Это кум! – вскрикнул, взглядевшись, кум.

– А ты думал кто? – сказал Чуб, усмехаясь. – Что, славную я выкинул над вами штуку? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую: в мешке лежит еще что-то, – если не кабан, то,

наверно, поросенок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось.

Ткач и кум кинулись к мешку, хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка.

Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.

– Вот и другой еще! – вскрикнул со страхом ткач, – черт знает как стало на свете... голова идет кругом... не колбас и не паляниц, а людей кидают в мешки!

– Это дьяк! – произнес изумившийся более всех Чуб. – Вот тебе на! Ай да Солоха! посадить в мешок... То-то, я гляжу, у нее полная хата мешков... Теперь я все знаю: у нее в каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному... Вот тебе и Солоха!

Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и этого», – лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки.

Голова решился молчать, рассуждая: если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, – глупые дивчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра.

Девушки между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихорь, с санками по скрипучему снегу. Множество, шая, садилось на санки; другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить все. Наконец приехали, отворили настежь двери в снях и хате и с хохотом втащили мешок.

– Посмотрим, что-то лежит тут, – закричали все, бросившись развязывать.

Тут икотка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло.

– Ах, тут сидит кто-то! – закричали все и в испуге бросились вон из дверей.

– Что за черт! куда вы мечетесь как угорелые? – сказал, входя в дверь, Чуб.

– Ах, батько! – произнесла Оксана, – в мешке сидит кто-то!

– В мешке? где вы взяли этот мешок?

– Кузнец бросил его посереде дороги, – сказали все вдруг.

«Ну, так, не говорил ли я?..» – подумал про себя Чуб.

– Чего ж вы испугались? посмотрим. А ну-ка, чоловиче, прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству, вылезай из мешка!

Голова вылез.

– Ах! – вскрикнули девушки.

– И голова влез туда ж, – говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног. – Вишь как!.. Э!.. – более он ничего не мог сказать.

Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать.

– Должно быть, на дворе холодно? – сказал он, обращаясь к Чубу.

– Морозец есть, – отвечал Чуб. – А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?

Он хотел не то сказать, он хотел спросить: «Как ты, голова, залез в этот мешок?», но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.

– Дегтем лучше! – сказал голова. – Ну, прощай, Чуб! – И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты.

– Для чего спросил я сдуру, чем он мажет сапоги! – произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. – Ай да Солоха! эдакого человека засадить в мешок!.. Вишь, чертова баба! А я дурак... Да где же тот проклятый мешок?

– Я кинула его в угол, там больше ничего нет, – сказала Оксана.

– Знаю я эти штуки, ничего нет! подайте его сюда: там еще один сидит! встряхните его хорошенько... Что, нет?.. Вишь, проклятая баба! а поглядеть на нее: как святая, как будто и скромного никогда не брала в рот.

Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый.

Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно; и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только

что съездила, куда нужно, ведьма... много еще дряни встречали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него и потом снова несло далее и продолжало свое; кузнец все летел; и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. (Тогда была по какому-то случаю иллюминация.) Черт, перелетев через шлагбаум, оборотился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы.

Боже мой! стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон; дома росли и будто подымались из земли на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, форейторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней; пешеходы жались и теснились под домами, униженными площадками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все дома устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тут панства! – подумал кузнец. – Я думаю, каждый, кто ни пройдет по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель! а те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те когда не городничие, то, верно, комиссары, а может, еще и больше». Его слова прерваны были вопросом черта: «Прямо ли ехать к царице?» «Нет, страшно, – подумал кузнец. – Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью чрез Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице; все бы таки посоветоваться с ними».

– Эй, сатана, полезай ко мне в карман да веди к запорожцам!

Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату, но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги, и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками.

– Здравствуйте, Панове! помогай Бог вам! вот где увиделись! – сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли.

– Что там за человек? – спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее.

– А вы не узнали? – сказал кузнец, – это я, Вакула, кузнец! Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого

здоровья и долголетия, без малого два дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки!

– А! – сказал тот же запорожец, – это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя Бог принес?

– А так, захотелось поглядеть, говорят...

– Что ж, земляк, – сказал, приосанясь, запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски, – што балшой город?

Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык.

– Губерния знатная! – отвечал он равнодушно. – Нечего сказать: дома балшущие, картины висят скрозь важные. Многие дома исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!

Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное.

– После потолкуем с тобою, земляк, побольше; теперь же мы едем сейчас к царице.

– К царице? а будьте ласковы, Панове, возьмите и меня с собою!

– Тебя? – произнес запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. – Что ты будешь там делать? Нет, не можно. – При этом на лице его выразилась значительная мина. – Мы, брат, будем с царицею толковать про свое.

– Возьмите! – настаивал кузнец. – Проси! – шепнул он тихо черту, ударив кулаком по карману.

Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил:

– Возьмем его, в самом деле, братцы!

– Пожалуй, возьмем! – произнесли другие.

– Надевай же платье такое, как и мы.

Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать.

Чудно снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные дома и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.

«Боже ты мой, какой свет! – думал про себя кузнец. – У нас днем не бывает так светло».

Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подыматься на блистательно освещенную

лестницу.

– Что за лестница! – шептал про себя кузнец, – жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки! кой черт лгут! Боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!

Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивши в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была Пречистая Дева с младенцем на руках. «Что за картина! что за чудная живопись! – рассуждал он, – вот, кажется, говорит! кажется, живая! А дитя святое! и ручки прижало! и усмехается, бедное! А краски! Боже ты мой, какие краски! тут вохры, я думаю, и на копейку не пошло, все ярь да бакан; а голубая так и горит! Важная работа! должно быть, грунт наведен был блейва-сом. Сколь, однако ж, ни удивительны сии малевания, но эта медная ручка, – продолжал он, подходя к двери и щупая замок, – еще большего достойна удивления. Эк какая чистая выделка! Это все, я думаю, немецкие кузнецы, за самые дорогие цены делали...»

Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу.

Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетьманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость, во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетьман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам.

Запорожцы отвесили все поклон в ноги.

– Все ли вы здесь? – спросил он протяжно, произнося слова немного в нос.

– *Та еси, батько!* – отвечали запорожцы, кланяясь снова.

– Не забудете говорить так, как я вас учил?

– Нет, батько, не позабудем.

– Это царь? – спросил кузнец одного из запорожцев.

– Куда тебе царь! это сам Потемкин, – отвечал тот.

В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных в шитых золотом кафтанах и с пучками назади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос:

– Помилуй, мамо! помилуй!

Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу.

– Встаньте! – прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.

– Не встанем, мамо! не встанем! умрем, а не встанем! – кричали запорожцы.

Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись.

Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого росту женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами, и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине.

– Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала, – говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. – Хорошо ли вас здесь содержат? – продолжала она, подходя ближе.

– *Та спасиби, мамо!* Провиянт дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожьи, – почему ж не жить как-нибудь?..

Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил...

Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед:

– Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина; разве соглашались в чем-либо с турчином; разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж немилость? Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас; после слышали, что хочешь *поворотить в карабинеры*; теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело твою армию чрез Перекоп и помогло твоим енералам порубать крымцев?..

Потемкин молчал и небрежно чистил небольшою щеточкою свои бриллианты, которыми были унижены его руки.

– Чего же хотите вы? – заботливо спросила Екатерина.

Запорожцы значительно взглянули друг на друга.

«Теперь пора! царица спрашивает, чего хотите!» – сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю.

– Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего, не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что, если бы моя жинка надела такие черевички!

Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.

– Встань! – сказала ласково государыня. – Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом! Право, мне очень нравится это простодушие! Вот вам, – продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных, – предмет, достойный остроумного пера вашего!

– Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно по крайней мере Лафонтена! – отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.

– По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! Однако ж, – продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, – я слышала, что на Сече у вас никогда не женятся.

– *Як же, мамо!* ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить, – отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом; и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ! – подумал он сам в себе, – верно, недаром он делает».

– Мы не чернецы, – продолжал запорожец, – а люди грешные. Падки, как и все честное христианство, до скромного. Есть у нас немало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на Сече. Есть такие, что имеют жен в Польше; есть такие, что имеют жен в Украине; есть такие, что имеют жен и в Турещине.

В это время кузнецу принесли башмаки.

– Боже ты мой, что за украшение! – вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. – Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах

и в них, чайтельно, ваше благородие, ходите и на лед *ковзаться*, какие ж должны быть самые ножки? думаю, по малой мере из чистого сахара.

Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почестся красавцем, несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем: правда ли, что цари едят один только мед да сало, и тому подобное; но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решил замолчать. И когда государыня, обратившись к старикам, начала спрашивать, как у них живут на Сече, какие обычаи водятся, – он, отошедши назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее!» – и вдруг очутился за шлагбаумом.

– Утонул! ей-богу, утонул! вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул! – лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканьских баб посередине улицы.

– Что ж, разве я лгунья какая? разве я у кого-нибудь корову украли? разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры? – кричала баба в козацкой свитке, с фиолетовым носом, размахивая руками. – Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая Переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!

– Кузнец повесился? вот тебе на! – сказал голова, выходящий от Чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.

– Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница! – отвечала ткачиха, – нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! Он утонул! утонул в пролубе! Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки.

– Срамница! вишь, чем стала попрекать! – гневно возразила баба с фиолетовым носом. – Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?

Ткачиха вспыхнула.

– Что дьяк? к кому дьяк? что ты врешь?

– Дьяк? – пропела, теснясь к спорившим, дьячиха, в тулупе из заячьего меха, крытом синею китайкою. – Я дам знать дьяка! кто это говорит – дьяк?

– А вот к кому ходит дьяк! – сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху.

– Так это ты, сука, – сказала дьячиха, подступая к ткачихе, – так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтобы ходил

к тебе?

– Отвяжись от меня, сатана! – говорила, пятясь, ткачиха.

– Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная! тьфу!.. – Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе.

Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим.

– А, скверная баба! – закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтись с ругательствами в разные стороны. – Экая мерзость! – повторял он, продолжая обтираться. – Так кузнец утонул! Боже ты мой! а какой важный живописец был! какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! что за сила была! Да, – продолжал он, задумавшись, – таких людей мало у нас на селе. То-то я, еще сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец! был, а теперь и нет! а я собирался было подковать свою рябую кобылу!..

И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату.

Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам Переперчихи и толкам баб, она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он, в самом деле, ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте где найдется такой молодец, как кузнец! Он же так любил ее! он долее всех выносил ее капризы! Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый – и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной нагоде, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя; то, приутихнув, решалась ни о чем не думать – и все думала. И вся горела, и к утру влюбилась по уши в кузнеца.

Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы. Его мысли заняты были одним: он никак не мог позабыть вероломства Солохи и сонный не переставал бранить ее.

Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Дивчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу.

Но впереди всех стояли дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большею частью в кобеняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговееется колбасою; дивчата помышляли о том, как они будут *ковзаться* с хлопцами на льду; старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как козак Свербыгуз клал поклоны. Одна только Оксана стояла как будто не своя; молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение; слезы дрожали на глазах. Дивчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник как будто не праздник; что как будто все чего-то недостает. Как на беду, дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом; правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда, бывало, как только пели «Отче наш» или «Иже херувимы», всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара. Уже отошла заутреня; после заутрени отошла обедня... куда ж это, в самом деле, запропастился кузнец?

Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда? – закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта, – постой, приятель, еще не все: я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко: «Я проспал заутреню и обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, Бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул он в хату: но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился

дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи; умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку решетиловских смушек с синим верхом, которой не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве; вынул также новый всех цветов пояс; положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.

Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему дивиться: тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним новехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом:

– Помилуй, батько! не гневись! вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает. Отдаюсь сам, во всем каюсь; бей, да не гневись только! ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили.

Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его. Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине.

– Ну, будет с тебя, вставай! старых людей всегда слушай! Забудем все, что было меж нами! ну, теперь говори, чего тебе хочется?

– Отдай, батько, за меня Оксану!

Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс: шапка была чудная, пояс также не уступал ей; вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно:

– *Добре!* присылай сватов!

– Ай! – вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи.

– Погляди, какие я тебе принес черевики! – сказал Вакула, – те самые, которые носит царица.

– Нет! нет! мне не нужно черевиков! – говорила она, махая руками и не сводя с него очей, – я и без черевиков... – Далее она не договорила и покраснела.

Кузнец подошел ближе, взял ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.

Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место,

на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новой хатой.

– А чья это такая размалеванная хата? – спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.

– Кузнеца Вакулы! – сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.

– Славно! славная работа! – сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою; на дверях же везде были козаки на лошадях, с трубками в зубах.

Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленою краскою с красными цветами. Это, однако ж, не все: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Он бань, яка кака намалевана!» И дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.

Федор Достоевский

Мальчик у Христа на елке

Святочный рассказ

I

Мальчик с ручкой

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед Рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как семи лет. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, – значит, его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой», это технический термин, значит – просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчишки. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, – стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмущая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрал копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пицат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда зальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекавшимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол,

...И в рот мне водку скверную
Безжалостно вливал.

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными

преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все – голод, холод, побои, – только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однако ж, все факты.

II

Мальчик у Христа на елке

Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в *каком-то* огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж

здесь холодно», – подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потомдохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откуда он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется – никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь – господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поест, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, – ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно: как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, и на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие – миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на

ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, – только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, – вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик; большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, – и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страха и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть! «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, – подумал, мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, – совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

– Пойдем ко мне на елку, мальчик, – прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и... и вдруг, – о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блеснит, все сияет и кругом все куколки, – но нет, это все мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! – кричит ей мальчик и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. – Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? – спрашивает он, смеясь и любя их.

– Это «Христова елка», – отвечают они ему. – У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки... – И узнал он, что мальчики эти и девочки все были все такие же, как он, дети,

но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонки, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей (во время самарского голода), четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам среди них, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей... А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо...

А внизу, наутро, дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму... Та умерла еще прежде его; оба свиделись у господина бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, – то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа – уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

Николай Лесков

Запечатленный ангел

1

Дело было о Святках, накануне Васильева вечера. Погода разгулялась самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга, из тех, какими бывают славны зимы на степном Заволжье, загнала множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий бобылем среди гладкой и необозримой степи. Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские, и мордва, и чуваша. Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно: куда ни повернись, везде теснота, одни сушатся, другие греются, третьи ищут хотя маленького местечка, где бы приютиться; по темной, низкой, переполненной народом избе стоит духота и густой пар от мокрого платья. Свободного места нигде не видно: на полатах, на печке, на лавках и даже на грязном земляном полу – везде лежат люди. Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе. Сердито захлопнув ворота за последними добившимися на двор санями, на которых приехали два купца, он запер двор на замок и, повесив ключ под божницею, твердо молвил:

– Ну, теперь кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю.

Но едва он успел это выговорить и, сняв с себя обширный овчинный тулуп, перекрестился древним большим крестом и приготовился лезть на жаркую печку, как кто-то робкою рукой застучал в стекло.

– Кто там? – окликнул громким и недовольным голосом хозяин.

– Мы, – ответили глухо из-за окна.

– Ну-у, а чего еще надо?

– Пусти, Христа ради, сбились... обмерзли.

– А много ли вас?

– Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро, – говорил за окном, заикаясь и щелкая зубами, очевидно, совсем перезябший человек.

– Некуда мне вас пустить, вся изба и так народом укладена.

– Пусти хоть малость обогреться!

– А кто же вы такие?

– Извозчики.

– Порожнем или с возами?

– С возами, родной, шкурье везем.

– Шкурье! шкурье везете, да в избу ночевать проситесь. Ну, люди на

Руси настают! Пошли прочь!

– А что же им делать? – спросил проезжий, лежавший под медвежьей шубой на верхней лавке.

– Валить шкурье да спать под ним, вот что им делать, – отвечал хозяин и, ругнув еще хорошенько извозчиков, лег недвижимо на печь.

Проезжий из-под медвежьей шубы в тоне весьма энергичного протеста выговаривал хозяину на жестокость, но тот не удостоил его замечания ни малейшим ответом. Зато вместо него откликнулся из дальнего угла небольшой рыженький человечек с острою, клином, бородкой.

– Не осуждайте, милостивый государь, хозяина, – заговорил он, – он это с практики берет и внушает правильно – со шкурьем безопасно.

– Да? – отозвался вопросительно проезжий из-под медвежьей шубы.

– Совершенно безопасно-с, и для них это лучше, что он их не пускает.

– Это почему?

– А потому, что они теперь из этого полезную практику для себя получили, а между тем, если еще кто беспомощный добьется сюда, ему местечко будет.

– А кого теперь еще понесет черт? – молвила шуба.

– А ты слушай, – отозвался хозяин, – ты не болтай пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где этакая святыня? Разве ты не видишь, что тут и Спасова икона, и Богородичный лик.

– Это верно, – поддержал рыженький человек. – Всякого спасенного человека не ефиоп ведет, а ангел руководствует.

– А вот я этого не видал, и как мне здесь очень скверно, то и не хочу верить, что меня сюда завел мой ангел, – отвечала словоохотливая шуба.

Хозяин только сердито сплюнул, а рыжачок добродушно молвил, что ангельский путь не всякому зрим и об этом только настоящий практик может получить понятие.

– Вы об этом говорите так, как будто сами вы имели такую практику, – проговорила шуба.

– Да-с, ее и имел.

– Что же это: вы видели, что ли, ангела, и он вас водил?

– Да-с, я его и видел, и он меня руководствовал.

– Что вы, шутите или смеетесь?

– Боже меня сохрани таким делом шутить!

– Так что же вы такое именно видели; как вам ангел являлся?

– Это, милостивый государь, целая большая история.

– А знаете ли, что тут уснуть решительно невозможно, и вы бы отлично сделали, если бы теперь рассказали нам эту историю.

– Извольте-с.

– Так рассказывайте, пожалуйста: мы вас слушаем. Но только что же вам там на коленях стоять, вы идите сюда к нам, авось как-нибудь потеснимся и усядемся вместе.

– Нет-с, на этом благодарю-с! Зачем вас стеснять, да и к тому же повесть, которую я пред вами поведу, пристойнее на коленях стоя сказывать, потому что это дело весьма священное и даже страшное.

– Ну как хотите, только скорее сказывайте, как вы могли видеть ангела и что он вам сделал?

– Извольте-с, я начинаю.

2

– Я, как несомненно можете по мне видеть, человек совсем незначительный, я более ничего, как мужик, и воспитание свое получил по состоянию, самое деревенское. Я не здешний, а дальний, рукоеслом я каменщик, а рожден в старой русской вере. По сиротству моему я сызмальства пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кирилова. Этот Лука Кирилов жив по сии дни: он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, еще от отцов заведено, и он его не расточил, а приумножил и создал себе житницу велику и обильну, но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним не ходили? Кажется, всю Россию изошли, и нигде я лучше и степеннее его хозяина не видал. И жили мы при нем в самой тихой патриархии, он у нас был и рядчик, и по промыслу и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем, даже скинию свою при себе имели и никогда с нею не расставались: то есть имели при себе свое «Божие благословение». Лука Кирилов страстно любил иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы все самые пречудные, письма самого искусного, древнего, либо настоящего греческого, либо первых новгородских или строгановских изографов. Икона против иконы лучше сияли не столько окладами, как остротою и плавностью предивного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не видел!

И что были за во имя разные и Деисусы, и нерукотворенный Спас с омоченными власы, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнее многочисленные иконы с деяниями, каковые, например: Индикт,

Праздники, Страшный суд, Святцы, Соборы, Отечество, Шестоднев, Целебник, Седмица с предстоящими; Троица с Авраамлиим поклонением у дуба Мамврийского, и, одним словом, всего этого благолепия не изреци, и таких икон нынче уже нигде не напишут, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Палихове; а о Греции и говорить нечего, так как там эта наука давно затеряна. Любили мы все эту свою святыню страстною любовью, и сообщая пред нею святой елей теплили, и на артельный счет лошадей содержали и особую повозку, на которой везли это Божие благословение в двух больших коробьях всюду, куда сами шли. Особенно же были при нас две иконы, одна с греческих переводов старых московских царских мастеров: Пресвятая Владычица в саду молится, а пред ней все деревья кипарисы и олинфы до земли преклоняются; а другая ангел-хранитель, Строгановы дела. Изреци нельзя, что это было за искусство в сих обеих святынях! Глянешь на Владычицу, как пред ее чистотою бездушные деревья преклонились, сердце тает и трепещет; глянешь на ангела... радость! Сей ангел воистину был что-то неопишное. Лик у него, как сейчас вижу, самый светло-божественный и этакий скоропомощный; взор умилен; ушки с тороцами, в знак повсеместного отовсюду слышания; одеянье горит, рясны золотыми преиспещрено; доспех пернат, рамена препоясаны; на персях младенческий лик Эмануилов; в правой руке крест, в левой огнепалящий меч. Дивно! дивно!..

Власы на головке кудреваты и русы, с ушей повились и проведены волосок к волоску иголкой. Крылья же пространны и белы как снег, а испод лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородачке пера усик к усика. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется: молишься «осени», и сейчас весь стихаешь, и в душе станет мир. Вот это была какая икона! И были-с эти два образа для нас все равно что для жидов их святая святых, чудным Веселиила художеством изукрашенная. Все те иконы, о которых я вперед сказал, мы в особой коробье на коне возили, а эти две даже и на воз не поставляли, носили: Владычицу завсегда при себе Луки Кирилова хозяйка Михайлица, а ангелово изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для сей иконы сделан парчевой кошель из темной пестряди и с пуговицей, а на передней стороне алый крест из настоящего штофу, а сверху пришит толстый зеленый шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвести. И так икона в сем содержании у Луки на груди всюду, куда мы шли, впереди нас предходила, точно сам ангел нам предшествовал. Идем, бывало, с места на место, на новую работу степями, Лука Кирилов впереди всех нарезным сажнем вместо палочки помахивает, за ним на возу Михайлица с богородичною иконой, а за ними мы всей

артелью выступаем, а тут в поле травы, цветы по лугам, инде стада пасутся, и свирец на свирели играет... то есть просто сердцу и уму восхищение! Все шло нам прекрасно, и дивная была нам в каждом деле удача: работы всегда находились хорошие; промежду собою у нас было согласие; от домашних приходили все вести спокойные; и за все это благословляли мы предходящего нам ангела, и с пречудною его иконою, кажется, труднее бы чем с жизнью своею не могли расстаться.

Да и можно ли было думать, что мы как-нибудь, по какому ни есть случаю, сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А между тем такое горе нас ожидало, и устроялось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого одного путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою указать нам истинный путь, пред которым все, до сего часа исхоженные нами пути были что дебрь темная и бесследная. Но позвольте узнать, занята ли моя повесть и не напрасно ли я ею ваше внимание утруждаю?

– Нет, как же, как же: сделайте милость, продолжайте! – воскликнули мы, заинтересованные этим рассказом.

– Извольте-с, послушествую вам и, как сумею, начну излагать бывшие с нами дивные дивеса от ангела.

3

Пришли мы для больших работ под большой город, на большой текучей воде, на Днепре-реке, чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить. Город стоит на правом, крутом берегу, а мы стали на левом, на луговом, на отложистом, и объявился пред нами весь чудный пейзаж: древние храмы, монастыри святы со многими святыми мощами; сады густые и деревья таковые, как по старым книгам в заставках пишутся, то есть островерхие тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце словно кто щипать станет, так прекрасно! Знаете, конечно, мы люди простые, но прелесть богозданной природы все же ощущаем.

И вот-с это место нам так жестоко понравилось, что мы в тот же самый в первый день начали тут постройку себе временного жилища, сначала забили высокенькие сваечки, потому что место тут было низменное, возле самой воды, потом на тех сваях стали собирать горницу, и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню, как надо, по отеческому закону: в протяженность одной стены складной иконостас раскинули в три пояса,

первый поклонный для больших икон, а выше два тябла для меньшеньких, и так возвели, как должно, лестницу до самого распятия, а ангела на аналогии положили, на котором Лука Кирилов Писание читал. Сам же Лука Кирилов с Михайлицей стали в чуланчике жить, а мы себе рядом казаромку огородили. На нас гляючи, то же самое стали себе строить и другие, которые пришли надолго работать, и вот стал у нас против великого основательного города свой легкий городок на сваях. Занялись мы работой, и пошло все как надо! деньги за расчет у англичан в конторе верные; здоровье Бог посылал такое, что во все это лето ни одного больного не было, а Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама, говорит, я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла. Особенно же нам, староверам, тут нравилось, что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд гонению подвергались, а тут нам была льгота: нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа; никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует... Вволю молились: отработаем свои часы и соберемся в горницу, а тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кирилов положит Благословящий начал; а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободою слышно. И никому наша вера не мешала, а даже как будто еще многим по обычаю приходила и нравилась не только одним простым людям, которые к богочтительству по русскому образцу склонны, но и иноверам. Много из церковных, которые благочестивого нрава, а в церковь за реку ездить некогда, бывало, станут у нас под окнами и слушают и молиться начнут. Мы им этого снаружи не возбраняли: всех отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старым русским обрядом интересовались, не раз приходили наше пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот, бывало, даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше гласование замечать, и потом, бывало, ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде гудет: «Бо-Господь и явился нам», но только все это у него, разумеется, выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного по крюкам, новою западною нотой в совершенстве уловить невозможно. Англичане, чести им приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили. Одним словом, привел нас Господень ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пеозаж природы.

И сему-то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко три года. Спорилося нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфеева рога, как вдруг узрели мы, что есть посреди нас

два сосуда избрания Божия к нашему наказанию. Один из таковых был ковач Марой, а другой счетчик Пимен Иванов. Марой был совсем простец, даже неграмотный, что по старообрядческому даже редкость, но он был человек особенный: видом неуклюж, наподобие вельблуда, и не-дрист как кабан – одна пазуха в полтора обхвата, а лоб весь заросший крутою космой и точно мраволев старый, а середь головы на маковке гуменцо простригал. Речь он имел тупую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был тугой и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел, а только все, бывало, одно какое-нибудь слово твердисловит, но был на предбудущее прозорлив, и имел дар вещевать, и мог сбывчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек щাপоватый: любил держать себя очень форсисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что удивляться надо было его речи; но зато характер имел легкий и увлекательный. Марой был пожилой человек, за семьдесят лет, а Пимен средовек и изящен: имел волосы курчавые, посредине пробор; брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом, велиар. Вот в сих двух сосудах и забродила вдруг оцетность терпкого питья, которое надлежало нам испить.

4

Мост, который мы строили на восьми гранитных быках, уже высоко над водой возрос, и в лето четвертого года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Только тут было вышла маленькая задержка: стали мы разбирать эти звенья и пригонять по меркам к каждой лунке стальные заклепы, как оказалось, что многие болты длинны и отсекают их надо, а каждый тот болт – по-аглицки штанга стальная, и деланы они все в Англии – отлит из крепчайшей стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал: но на все на это наш Марой ковач изымел вдруг такое средство, что облепит это место, где надо отсечь, густою колонишкой из тележного колеса с песковым вжиром, да и сунет всю эту штуку в снег, и еще вокруг солью осыпет, и вертит и крутит; а потом оттуда ее сразу выхватит, да на горячее ковало, и как треснет балдой, так, как восковую свечу, будто ножницами и отстрижет. Англичане все и немцы приходили на это хитрое Мароево умудренье смотрели, и глядят, глядят, да вдруг рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут:

– Так, русс! Твой молодец; твой карош физик понимай!

А какой там «физик» мог понимать Марой: он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто как его Господь умудрил. А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит, и пошло в обе стороны худо: одни все причитали к науке, о которой тот наш Марой и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами-де видимая Божия благодать творит дивеса, каких мы никогда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первая. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосластец, а теперь объясню, зачем мы его, однако, в своей артели содержали; он у нас ездил в город за провизией, закупал какие надо покупки; мы его посылали на почту паспорта и деньги ко дворам отправлять, и назад новые паспорта он отбирал. Вообще, вот всю этакую справу чинил, и, по правде сказать, был он нам человек в этом роде нужный и даже очень полезный. Настоящий степенный старовер, разумеется, всегда подобной суеты чуждается и от общения с чиновниками бежит, ибо от них мы, кроме досаждения, ничего не видели, но Пимен рад суете, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство: и торговцы, и господа, до которых ему по артельным делам бывали касательства; все его знали и почитали его за первого у нас человека. Мы этому случаю, разумеется, посмеивались, а он страсть как был охоч с господами чай пить да велеречить: те его нашим старшиною величают, а он только улыбается да по нутру свою бороду расстиляет. Одним словом сказать, пустоша! И занесло этого нашего Пимена к одному немаловажному лицу, у которого была жена из наших мест родом, такая была тоже словесница, и начиталась она про нас каких-то новых книг, в которых неизвестно нам, что про нас писано, и вдруг, не знаю с чего-то, ей пришло на ум, что она очень староверов любит. Вот ведь удивительное дело: к чему она избралась сосудом! Ну любит нас и любит, и всегда, как наш Пимен за чем к ее мужу придет, она его сейчас непременно сажает чай пить, а тот тому и рад, и разовьет пред ней свои свитки.

Та своим бабьим языком суеречит, что вы-де староверы и такие-то и вот этикие-то, святые, праведные, присноблаженные, а наш велиар очи разоце раскосит, головушку набок, бороду маслит, а голосом сластит:

– Как же, государыня. Мы-де отеческий закон блюдем, мы и такие-то, мы и вот этикие-то правила содержим и друг друга за чистотою обычая смотрим, – и, словом, говорит ей все такое, что совсем к разговору с мирскою женщиной не принадлежащее. А меж тем та, представьте, интересуется.

– Я слыхала, – говорит, – что к вам Божие благословение видимо, –

говорит, – проявляется.

А тот сейчас и подхватывает.

– Как же, – отвечает, – матушка, проявляется; весьма зримо проявляется.

– Видимо?

– Видимо, – говорит, – государыня, видимо. Вот еще на сих днях наш один человек могучую сталь как паутину щипал.

Барынька так и всплеснула ручонками.

– Ах, – говорит, – как интересно! ах, я ужасно люблю чудеса и верю в них! Знаете, – говорит, – прикажите вы, пожалуйста, своим староверам, чтоб они помолились, чтобы мне Бог дочь дал. У меня есть два сына, но мне непременно хочется одну дочь. Можно это?

– Можно-с, – отвечал Пимен, – отчего же-с, очень можно! Только, – говорит, – в таких случаях надо всегда, чтоб от вас жертвенный елей теплился.

Та с великим своим удовольствием дает ему на масло десять рублей, а он деньги в карман и говорит:

– Хорошо-с, будьте благонадежны, я повелю.

Нам об этом Пимен, разумеется, ничего не рассказывает, а у барыни родится дочь.

Фу! та так и зашумела, еще после родов обмогнуться не успела, как зовет нашего пустошу и чувствует его, словно бы он сам был тот чудотворец, а он и это приемлет. Вот ведь до чего осуетится человек, и омрачает ум его, и оледенеют чувства. Через год у госпожи опять до нашего Бога просьба, чтобы муж ей дачу на лето нанял, – и опять все ей по ее желанию делается, а Пимену все на свечи да на елей жертвы, а он эти жертвы куда надо, на наш бок не переплавляя, пристраивает. И дивеса действительно деялись непонятные: был у этой госпожи старший сын в училище, и был он первый потаскун, и ленивый нетяг, и ничему не учился, но как пришло дело к экзамену, она шлет за Пименом и дает ему заказ помолиться, чтоб ее сына в другой класс перевели. Пимен говорит:

– Дело трудное; надо будет мне всех своих на всю ночь на молитву согнать и до утра со свечами вопиять.

А та ни за что не стоит; тридцать рублей ему вручила, только молитесь! И что же вы думаете? Выходит такое счастье этому ее блудягесыну, что переводят его в высший класс. Барыня мало от радости с ума не сошла, что за ласки такие наш Бог ей делает! Заказ за заказом стала давать Пимену, и он ей уже выхлопотал у Бога и здоровья, и наследство, и мужу чин большой, и орден столько, что все на груди не вмещались, так один

он в кармане, говорят, носил. Диво, да и только, а мы все ничего не знаем. Но настал час всему этому обличиться и пренемениться одним дивесам на другие.

5

Замутилось что-то в одном жидовском городе той губернии по торговой части у жидов. Не скажу вам наверное, деньги ли они неправильные имели или какой беспошлинный торг производили, но только надо было это начальству раскрыть, а тут награда предвиделась велемошная. Вот барынька и шлет за нашим Пименом и говорит:

– Пимен Иванович, вот вам двадцать рублей на свечи и на масло; велите своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку моего мужа послали.

Тому какое горе! Он уже разохотился эту елейную подать-то собирать и отвечает:

– Хорошо, государыня, я повелю.

– Да чтоб они хорошенько, – говорит, – молились, потому мне это очень нужно!

– Смеют ли же они, государыня, у меня плохо молиться, когда я приказываю, – заспокоил ее Пимен, – я их голодом запошу, пока не вымолят, – взял деньги да и был таков, а барину в ту же ночь желанное его супругою назначение сделано.

Ну уже тут ей так от этой благодати в лоб вступило, что она недовольна сделалась нашей молитвой, а возжелала непременно сама нашей святыне пославословить.

Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что наши ее до своей святыни не допустят; но барыня не отстает.

– Я, – говорит, – как вы хотите, сегодня же пред вечером возьму лодку и к вам с сыном приеду.

Пимен ее уговаривал, что лучше, говорит, мы сами помолитвим; у нас есть такой ангел-хранитель, вы ему на елей пожертвуйте, а мы ему супруга вашего и доверим сохранять.

– Ах, прекрасно, – отвечает, – прекрасно; я очень рада, что есть такой ангел; вот ему на масло, и зажгите пред ним непременно три лампы, а я приеду посмотреть.

Пимену плохо пристигло, он и пришел, да и ну нам виноватиться, что так-де и так, я, говорит, ей, еллинке гадостной, не перечил, когда она

желала, потому как муж ее нам человек нужный, и наказывал нам с три короба, а всего, что он делал, все-таки не высловил. Ну, сколь нам было это ни неприятно, но делать было нечего; мы поскорее свои иконы со стен снимали да попрятали в коробки, а из коробей кое-какие заменные заставки, что содержали страха ради чиновничьего нашествия, в тяблы поставили и ждем гостейку. Она и приехала; такая-то расфуфыренная, что страх; широкими да долгими своими ометами так и метет и все на те наши заменные образа в лорнетку смотрит и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, который же тут чудотворный ангел?» Мы уже не знаем, как ее и отбить от такого разговора.

– У нас, – говорим, – такового ангела нет.

И как она ни добивалась и Пимену выговаривала, но мы ей ангела не показали и скорее ее чаем повели поить и какими имели закусками угощать.

Страшно она нам не понравилась, и бог знает почему: вид у нее был какой-то оттолкновенный, даром что она будто красивою почиталась. Высокая, знаете, этакая цыбастая, тоненькая, как сойга, и бровеносная.

– Вам этакая красота не нравится? – перебила рассказчика медвежья шуба.

– Помилуйте, да что же в змиевидности может нравиться? – отвечал он.

– У вас, что же, почитается красотой, чтобы женщина на кочку была похожа?

– Кочку! – повторил, улыбнувшись и не обижаясь, рассказчик. – Для чего же вы так полагаете? У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов, точно, не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтоб она не путалась, а как шарок всюду каталась и попевала, а цыбастенькая побежит да спотыкнется. Змиевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой, потому оно хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается, лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе хоть потельнее, по-мясистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. То же и насчет носика: у наших носики не горбылем, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особливо бровь, бровь в лице вид открывает, и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытнее, дужкою, ибо к таковой

женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на всякого, к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно. Однако позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили. Я лучше продолжать буду.

Наш Пимен, как суетившийся человек, видит, что мы, проводив гостью, стали на нее критику произносить, и говорит:

– Чего вы? она добрая.

А мы отвечаем: какая, мол, она добрая, когда у нее добра в обличье нет, но бог там с нею: какая она есть, такая и будь, мы уже рады были, что ее выпроводили, и взялись скорей ладаном курить, чтоб ее и духом у нас не пахло.

После сего мы вымели от гостюшкиных следков горенку; заменные образа опять на их место за перегородку в коробья уклали, а оттуда достали свои настоящие иконы; разместили их по тяблам, как было по-старому, покропили их святою водою; положили начал и пошли каждый куда ему следовало на ночной покой, но только бог весть отчего и зачем всем что-то в ту ночь не спалось и было как будто жутко и беспокойно.

6

Утром пошли мы все на работу и делаем свое дело, а Луки Кирилова нет. Это, судя по его аккуратности, было удивительно, но еще удивительнее мне показалось, что приходит он часу в восьмом весь бледный и расстроенный.

Зная, что он человек с обладанием и пустым скорбям не любил поддаваться, я и обратил на это внимание и спрашиваю: «Что такое с тобою, Лука Кирилов?» А он говорит: «После скажу».

Но я тогда, по молодости моей, страсть как был любопытен, и к тому же у меня вдруг откуда-то взялось предчувствие, что это что-нибудь недоброе по вере; а я веру чтил и невером никогда не был.

А потому не мог я этого долго терпеть и под каким ни есть предлогом покинул работу и побежал домой; думаю: пока никого дома нет, распытаю я что-нибудь у Михайлицы. Хоша ей Лука Кирилов и не открывался, но она его, при всей своей простоте, все-таки как-то проняла, а таиться от меня она не станет, потому что я был с детства сиротою и у них вместо сына возрос, и она мне была все равно как второродительница.

Вот-с ударюсь к ней, а она, гляжу, сидит на крылечке в старом

шушуне наопашку, а сама вся как больная, печальная и этакая зеленоватая.

– Что вы, – говорю, – второродительница, на таком месте усевшись?

А она отвечает:

– А где же мне, Марочка, притулиться?

Меня зовут Марк Александров; но она, по своим материнским чувствам ко мне, Марочкой меня звала.

«Что это, думаю себе, она за пустяки такие мне говорит, что ей негде притулиться?»

– А зачем же, – говорю, – вы в чуланчике у себя не ляжете?

– Нельзя, – говорит, – Марочка, там в большой горнице дед Марой молится.

«Ага! вот, – думаю, – так и есть, что что-нибудь по вере случилось», а тетка Михайлица и начинает:

– Ты ведь, Марочка, небось ничего, дитя, не знаешь, что у нас тут в ночи случилось?

– Нет, мол, второродительница, не знаю.

– Ах, страсти!

– Расскажите же скорее, второродительница.

– Ах, не знаю как, можно ли это рассказывать?

– Отчего же, – говорю, – не скажете: разве я вам какой чужой, а не вместо сына?

– Знаю, родной мой, – отвечает, – что ты мне вместо сына, ну только я на себя не надеюсь, чтоб я могла тебе это как надо высловить, потому что глупа я и бесталанна, а вот погоди – дядя после шабаша придет, он тебе небось все расскажет.

Но я никак не мог, чтобы дожждаться, и пристал к ней: скажи да скажи мне сейчас, в чем все происшествие.

А она, гляжу, все моргает, моргает глазами, и все у нее глаза делаются полны слез, и она их вдруг грудным платком обмахнула и тихо мне шепчет:

– У нас, дитя, сею ночью ангел-хранитель сошел.

Меня от всего этого открытия в трепет бросило.

– Говорите, – прошу, – скорее: как это диво сталося и кто были оногo дивозрители?

А она отвечает:

– Дивеса, дитя, были непостижные, а дивозрителей никого, кроме меня, не было, потому что случилось все это в самый глухой полунощный час, и одна я не спала.

И рассказала она мне, милостивые государи, такую повесть:

– Уснув, – говорит, – помолвившись, не помню я, сколько спала, но

только вдруг вижу во сне пожар, большой пожар: будто у нас все погорело, и река золу несет да в завертах около быков крутит и вглубь глотает, сосет. – А самой насчет себя Михайлице кажется, будто она, выскочив в одной ветхой срачице, вся в дырках, и стоит у самой воды, а против нее, на том берегу стремит высокий красный столб, а на том столбе небольшой белый петух и все крыльями машет. Михайлица будто и говорит: «Кто ты такой?» – потому что чувствами ей далось знать, что эта птица что-то предвещает. А петелок этот вдруг будто человеческим голосом возгласил: «Аминь», и сник, и его уже нет, а стала вокруг Михайлицы тишь и такое в воздухе тощенье, что Михайлице страшно сделалось и продохнуть нечем, и она проснулась и лежит, а сама слышит, что под дверями у них барашек заблеял. И слышно ей по голосу, что это самый молодой барашек, с которого еще родимое руно не тронут. Прозвенел он чистым серебряным голосочком «бя-я-я», и вдруг уже чует Михайлица, что он по молебной горнице ходит, копытками-то этак по половицам чок-чок частенько перебирает и все будто кого-то ищет. Михайлица и рассуждает: «Господи Иисусе Христе! что это такое: овец у нас по всей нашей пришедшей слободе нет и ягниться нечему, а откуда же это молозиво к нам забежало?» И в эту пору стренулася: «Да и как, мол, он в избу попал? Ведь это, значит, мы во вчерашней суете забыли со двора двери запереть: слава Богу, – думает, – что это еще агнец вскочил, а не пес со двора ко святыне забрался». Да и ну с этим Луку будить: «Кирилыч, – кличет, – Кирилыч! Прокинйся, голубчик, скорее, у нас дверь отворена, и какое-с молозиво в избу вскочило», а Лука Кирилов, как на сей грех, мертвым сном объят спит. Как его Михайлица ни будит, никак не добудится: мычит он, а ничего не высловит. Что Михайлица еще жестче трясет и двизает, то он только громче мычит. Михайлица его и стала просить, что «ты, мол, имя-то Иисусово вспомяни», но только что она сама это имя выговорила, как в горнице кто-то завизжит, а Лука в ту же минуту сорвался с кровати и бросился было вперед, но его вдруг посреди горницы как будто медяна стена отшибла. «Дуй, баба, огонь! Дуй скорее огонь!» – кричит он Михайлице, а сам ни с места. Та запалила свечечку и выбегает, а он бледнолиц, как осужденный насмертник, и дрожит так, что не только гаплик на шее ходит, а даже остегны на ногах трясутся. Баба опять до него: «Кормилец, – говорит, – что это с тобой?» А он ей только показывает перстом, что там, где ангел был, пустое место, а сам ангел у Луки вскрай ног на полу лежит.

Лука Кирилов сейчас к деду Марою и говорит: так и так, вот что моя баба видела и что у нас сделалось, поди посмотри. Марой пришел и стал на

колених перед лежащим на полу ангелом и долго стоял над ним недвижимо, как измрамран нагробник, а потом, подняв руку, почесал остриженное гуменцо на маковке и тихо молвил:

– Принесите сюда двенадцать чистых плинф нового обожженного кирпича.

Лука Кирилов сейчас это принес, а Марой осмотрел плинфы и видит, что все они чисты, прямо из огненного горна, и велел Луке класть их одна на другую, и возвели они таким способом столб, накрыли его чистой ширинкой, вознесли на него икону, и потом Марой, положив земной поклон, возгласил:

– Ангел Господень, да пролиются стопы твоя аможе хощеши!

И только что он эти слова проговорил, как вдруг в двери стук-стук-стук, и незнакомый голос зовет:

– Эй вы, раскольники: кто у вас тут наибольший?

Лука Кирилов отворяет дверь и видит, стоит солдат с медалью.

Лука спрашивает: какого ему надо наибольшего?

А он отвечает:

– Того самого, – говорит, – что к барыне ходил, которого Пименом звать.

Ну, Лука сейчас бабу за Пименом послал, а сам спрашивает: что такое за дело? на что его в ночи по Пимена послали? Солдат говорит:

– Доподлинно не знаю, а слышно, что-то там с барином жиды неловкое дело устроили.

А что такое именно, рассказать не может.

– Слыхал-де, – говорит, – как будто барин их запечатал, а они его запечатлели.

Но как это они друг друга запечатали, ничего вразумительно рассказать не может.

Тем временем подошел и Пимен, и сам, как жид, то туда, то сюда вертит глазами: видно, сам не знает, что сказать, а Лука говорит:

– Что же ты, шпилман ты этакий, стал, ступай теперь производи свое шпилманство в окончание!

Они вдвоем с солдатом сели в лодку и поехали. Через час ворочается наш Пимен и ботвит будто бодр, а видно, что ему жестоце не по себе.

Лука его и допрашивает:

– Говори, – говорит, – говори лучше, ветрогон, все по откровенности, что ты там такое наделал?

А он говорит:

– Ничего.

Ну так и осталось будто ничего, а совсем было не ничего.

С барином, за которого наш Пимен молитвовал, преудивительная штука совершилась. Он, как я вам докладывал, поехал в жидовский город и приехал туда поздно ночью, когда никто о нем не думал, да прямо все до одной лавки и опечатал, и дал знать полиции, что завтра утром с ревизией пойдет. Жиды это, разумеется, сейчас узнали и сейчас же ночью к нему, просить его, чтобы на сделку, знать, того незаконного товара у них пропасть было. Пришли они и суют этому барину сразу десять тысяч рублей. Он говорит: «Я не могу, я большой чиновник, доверием облечен и взяток не беру»; а жиды промеж себя гыр-гыр-гыр, да ему пятнадцать. Он опять: «Не могу»; они двадцать. Он: «Что же вы, – говорит, – не понимаете, что ли, что я не могу, я уже полиции дал знать, чтобы завтра вместе идти ревизовать». А они опять гыр-гыр, да и говорят:

– Ази-язи, ваше сиятельство, то зи ничего зи, что вы дали знать в полицию, мы вам вот даем зи двадцать пять тысяч, а вы зи только дайте нам до утра вашу печатку и лозитесь себе спокойно поцивать: нам ничего больше не нужно.

Барин подумал, подумал: хотя он и большим лицом себя почитал, а, видно, и у больших лиц сердце не камень, взял двадцать пять тысяч, а им дал свою печать, которою печатовал, и сам лег спать. Жидки, разумеется, ночью все, что надо было, из своих склепов повытаскали и опять их тою же самую печатью запечатали, и барин еще спит, а они уже у него в передней горгочат. Ну, он их впустил; они благодарят и говорят:

– А зи теперь зи, васе высокоблагородие, пожалуйста с ревизией.

Ну, а он этого как будто не слышит, а говорит:

– Давайте же скорее мою печать.

А жиды говорят:

– А давайте зи наши деньги.

Барин: «Что? как?»

А те на своем стали:

– Мы зи, – говорят, – деньги под залог оставляли.

Тот опять:

– Как под залог?

– А как зи, – говорят, – мы под залог.

– Врете, – говорит, – вы подлецы этакие, хриstopродавцы, вы мне

совсем те деньги отдали.

А они друг друга поталкивают и смеются.

– Гершту, – говорят, – слышь, мы будто совсем дали... Гм, гм! Ай-вай: рази мы мозем быть такие глупые и совсем как мужики без политику, чтобы такому большому лицу хабара давать? («Хабар» по-ихнему взятка.)

Ну-с, чего лучше этой истории можете себе вообразить? Господину бы этому, разумеется, отдать деньги, да и дело с концом, а он еще покапризничал, потому что жаль расстаться. Наступило утро; вся торговля в городе заперта; люди ходят, дивуются; полиция требует печати, а жидки орут: «Ай-вай, ну что это такое за государственное правление! Это высокое начальство нас разорить желают». Гвалт ужасный! Барин запершись сидит и до обеда чуть ума не решился, а к вечеру зовет тех хитрых жидков и говорит: «Ну берите, проклятые, свои деньги, только отдайте мне мою печать!» А те уже не хотят, говорят: «А зи как же это можно! Мы весь город целый день не торговали: теперь нам с вашего благородия надо пятьдесят тысяч». Видите, что пошло! А жидки грозят: «Если нынче, – говорят, – пятьдесят тысяч не дадите, завтра еще двадцатью пятью тысячами больше будет стоить!» Барин всю ночь не спал, а к утру опять шлет за жидами, и все им деньги, которые с них взял, назад им отдал, и еще на двадцать пять тысяч вексель написал, и прошел кое-как с ревизией; ничего, разумеется, не нашел, да поскорее назад, да к жене, и пред нею и рвет и мечет: где двадцать пять тысяч взять, чтоб у жидов вексель выкупить? «Нужно, – говорит, – твою приданую деревнишку продать», а та говорит: «Ни за что на свете: я к ней привязана». Он говорит: «Это ты виновата, ты мне эту посылку с какими-то раскольниками вымолила и уверяла, что их ангел мне поможет, а он между тем вот как мне славно помог».

А она отвечает: «Что ты, – говорит, – сам виноват, зачем был глуп и тех жидов не арестовал да не объявил, что они у тебя печать украли, а между прочим, – говорит, – это ничего: ты только покоряйся мне, а уж я дело поправлю, и за твою нерассудительность другие заплатят». И вдруг, на кого так случилось, крикнула-гаркнула: «Сейчас, живо, – говорит, – съездить за Днепр и привезть мне раскольницкого старосту». Ну, посол, разумеется, пошел и привез нашего Пимена, а барыня ему прямо без обинячки: «Послушайте, – говорит, – я знаю, что вы умный человек и поймете, что мне нужно: с моим мужем случилась маленькая неприятность, его одни мерзавцы ограбили... Жиды... понимаете, и нам теперь непременно на сих же днях надо иметь двадцать пять тысяч, и мне их так скоро достать ровно бы негде; но я пригласила вас и спокойна, потому что староверы люди умные и богатые и вам, как я сама уверилась, во всем сам Бог помогает, то

вы мне, пожалуйста, дайте двадцать пять тысяч, а я, с своей стороны, за то всем дамам буду говорить о ваших чудотворных иконах, и вы увидите, сколько вы станете получать на воск и на масло». Без труда, чай, можете себе, милостивые государи, представить, что наш шпилман при этом обороте восчувствовал? Не знаю уж какими словами, но только, верю я ему, он начал горячо ротиться и клясться, заверяя наше против такой суммы убожество, но она, эта обновленная Иродиада, и знать того не захотела. «Нет, да мне, – говорит, – хорошо известно, что раскольники богачи, и для вас двадцать пять тысяч вздор. Моему отцу, когда он в Москве служил, старoverы не один раз и не такие одолжения делали; а двадцать пять тысяч – это пустяки». Пимен, разумеется, и тут попытался ей разъяснить, что то, мол, московские старoverы, люди капитальные, а мы простые нивари чернорабочие, где же нам против москвичей отмогуществовать. Но она имела в себе, верно, хорошее московское научение и вдруг его осадила: «Что вы, что вы, – говорит, – мне это рассказываете! Разве я не знаю, сколько у вас чудотворных икон, и вы же мне сами ведь говорили, сколько вам со всей России на воск и на масло присылают? Нет, я и слышать не хочу; чтобы сейчас мне были деньги, а то мой муж нынче же к губернатору поедет и все расскажет, как вы молитесь и соблазняете, и вам скверно будет». Бедный Пимен как с крыльца не свалился; пришел домой, как я вам докладывал, и только одно слово твердит: «ничего», а сам весь красный, точно из бани, и все по углам ходил нос сморкал. Ну, Лука Кирилов его, наконец, малое дело немножечко допросился, только, разумеется, не все он ему открыл, а самую лишь ничтожность сущности обнаружил, как-то говорит: «С меня эта барыня требует, чтоб я у вас ей пять тысяч взаймы достал». Ну, Лука, разумеется, и за это на него расходился: «Ах ты, шпилман этакий, – говорит, – шпилман; нужно было тебе с ними знаться да еще сюда их водить! Что мы, богачи, что ли, какие, чтоб у нас такие деньги могли в сборе быть? Да и за что мы должны их дать? Да и где они?.. Как это заделывал, так и разделяйся, а нам пяти тысяч взять негде». С этим Лука Кирилов пошел в свою сторону на работу. И пришел, как я вам доложил, бледный, вроде осужденного насмертника, потому что он, ночным событием искушенный, предвкушал, что это повлияет на нас неприятностью; а Пимен себе пошел в другую сторону. Все видели, как он из камышей в лодочке выплыл и на ту сторону в город переправился, и теперь, когда Михайлица все это мне по порядку рассказала, как он о пяти тысячах кучился, я и домекнул так, что, верно, он ударился ту барыню умоливать. В таком размышлении я стою возле Михайлицы да думаю, не может ли для нас из этого чего вредного впоследствии и не надо ли

против сего могущего произойти зла какие-либо меры принять, как вдруг вижу, что все это предприятие уже поздно, потому что к берегу привалила большая ладья, и я за самыми плечами у себя услышал шум многих голосов и, обернувшись, увидел несколько человек разных чиновников, примундиренных всяким подобием, и с ними немалое число жандармов и солдат. И не успели мы с Михайлицей, милостивые государи, глазом моргнуть, как все они мимо нас прямо в Лукину горницу повалили, а у двери двух часовых поставили с обнаженными саблями. Михайлица стала на тех часовых метаться, не столько для того, чтоб ее пропустили, а чтобы постраждовать; они ее, разумеется, стали отталкивать, а она еще ярее кидается, и дошло у них сражение до того, что один жандарм ее, наконец, больно зашиб, так что она с крыльца кубарем скатилась. А я ударился было за Лукою на мост, но гляжу, сам Лука уже навстречу мне бежит, а за ним вся наша артель, все вскрамолились, и кто с чем на работе был, кто с ломом, кто с мотыгой, все бегут свою святыню оберегать... Кой не все в лодку попали и не на чем им до бережка достигнуть, во всем платье, как стояли на работе, прямо с мосту в воду побросались и друг за дружкой в холодной волне плывут. Даже не поверите, ужасно стало, чем это кончится. Стражбы той приехало двадцать человек, и хотя все они в разных храбрых уборах, но наших более полусот, и все выпреннею горячею верой одушевленные, и все они плывут по воде как тюленьки, и хоть их колотушкою по башкам бей, а они на берег к своей святыне достигают, и вдруг, как были все мокренькие, и пошли вперед, что твое камение живо и несокрушимое.

8

Теперь же вы извольте вспомнить, что, когда мы с Михайлицей на крыльце разговаривали, в горнице находился на молитве дед Марой, и господа чиновники со сбирю своей там его застали. Он после и рассказывал, что как они вошли, сейчас дверь на захлопку и прямо кинулись к образам. Одни лампы гасят, а другие со стен рвут иконы да на полу накладывают, а на него кричат: «Ты поп?» Он говорит: «Нет, не поп». Они: «Кто же у вас поп?»

А он отвечает: «У нас нет попа». А они: «Как нет попа! Как ты смеешь это говорить, что нет попа!» Тут Марой стал им было объяснять, что мы попа не имеем, да как он говорил-то скверно, шавкавил, так они, не разобравши, в чем дело, да «связать, – говорят, – его, под арест!». Марой

дался себя связать: хоша то ему ничего не стоило, что десятский солдат ему обрывочком руки опутал, но он стоит и, все это за веру приемля, смотрит, что далее будет. А чиновники тем временем зажгли свечи и ну иконы печатать: один печати накладывает, другие в описи пишут, а третьи буравами дыры сверлят, да на железный прут иконы как котелки нанизывают. Марой на все это святотатственное бесчиние смотрит и плечами не тряхнет, потому что рассуждает, что так, вероятно, это Богу изволися попустить такую дикость. Но в это-то время слышит дядя Марой, один жандарм вскрикнул, и за ним другой: дверь разлетелась, и тюленьки-то наши как вылезли из воды мокрые, так и прут в горницу. Да по счастью их, впереди их очутился Лука Кирилов. Он сразу крикнул:

– Стой, Христов народушко, не дерзничайте! – а сам к чиновникам и, указывая на эти пронзенные пруты иконы, молвит: – Для чего же это вы, господа начальство, так святыню повреждаете? Если вы право имеете ее у нас отобрать, то мы власти не сопротивники – отбирайте; но для чего же редкое отеческое художество повреждать?

А этой Пименовой знакомой барыньки муж, он тут главнее всех был, как крикнет на дядю Луку:

– Цыть, мерзавец! еще рассуждать смеешь!

А Лука хоть и гордый был мужик, но смирил себя и тихо отвечает:

– Позвольте, ваше высокоблагородие, мы этот порядок знаем, у нас здесь в горнице есть полтораста икон, извольте вам по три рубля от иконы, и берите их, только предковского художества не повреждайте.

Барин оком сверкнул и громко крикнул:

– Прочь! – а шепотом шепнул: – Давай по сту рублей со штуки, иначе все выпеку.

Лука этакой силы денег дать и сообразить не мог и говорит:

– Бог с вами, если так: губите все как хотите, а у нас таких денег нет.

А барин как завопиет излиха:

– Ах ты, козел бородатый, да как ты смел при нас о деньгах говорить? – и тут вдруг заметался, и все, что видел из божественных изображений, в скибы собрал, и на концы прутьев гайки наворачнули и припечатывали, чтобы, значит, ни снять, ни обменять было невозможно. И все уже это было собрано и готово, они стали совсем выходить: солдаты взяли набранные на болты скибы икон на плечи и понесли к лодкам, а Михайлица, которая тоже за народом в горницу пробралась, тем часом тихонько скрала с аналогия ангельскую икону и тащит ее под платком в чулан, да как руки-то у нее дрожат, она ее и выронила. Батюшки мои, как барин расходился, и звал нас и ворами-то и мошенниками, и говорит:

– Ага! вы, мошенники, хотели ее скрасть, чтоб она на болт не попала; ну так она же на него не попадет, а я ее вот так! – да, накопивши сургучную палку, прямо как ткнет кипящую смолой с огнем в самый ангельский лик!

Милостивые государи, вы на меня не посетуйте, что я и пробовать не могу описать вам, что тут произошло, когда барин излил кипящую смоляную струю на лик ангела и еще, жестокий человек, поднял икону, чтобы похвастать, как нашел досадить нам. Помню только, что пресветлый лик этот божественный был красен и запечатлен, а из-под печати олифа, которая под огневою смолой самую малость сверху растаяла, струила вниз двумя потеками, как кровь, в слезе растворенная...

Все мы ахнули и, закрыв руками глаза свои, пали ниц и застонали, как на пытке. И так мы развопились, что и темная ночь застала нас воющих и голосящих по своем запечатленном ангеле, и тут-то, в сей тьме и тишине, на разрушенной отчей святыне, пришла нам мысль: уследить, куда нашего хранителя денут, и поклялись мы скрасть его, хотя бы с опасностью жизни, и распечатлеть, а к исполнению сей решимости избрали меня да молодого паренька Левонтия. Этот Левонтий годами был еще сущий отрок, не более как семнадцать лет, но великотелесен, добр сердцем, богочтитель с детства своего и послушлив и благоденствен, что твой ретив бел конь среброуздан.

Лучшего сомудренника и содеятеля и желать нельзя было на такое опасное дело, как проследить и исхитить запечатленного ангела, ослепленное видение которого нам до немощи было непереносно.

9

Не стану утруждать вас подробностями, как мы с моим сомудренником и содействителем, сквозь иглы уши лазучи, во все вникали, а буду прямо рассказывать о горести, которая овладела нами, когда мы узнали, что пробуравленные чиновниками иконы наши, как они были скибами на болты нанизаны, так их в консисторию в подвал и свалили, это уже дело пропащее и как в гроб погребенное, о них и думать было нечего. Приятно, однако, было то, что говорили, будто сам архиерей такой дикости соображения не одобрил, а, напротив, сказал: «К чему это?» и даже за старое художество заступился и сказал: «Это древнее, это надо беречь!» Но вот что худо было, что не прошла беда от непочтения, как новая, еще большая, от сего почитателя возросла: сам этот архиерей, надо полагать, с нехудым, а именно с добрым вниманием взял нашего запечатленного ангела

и долго его рассматривал, а потом отвел в сторону взгляд и говорит: «Смятенный вид! Как ужасно его изнеявствовали! Не кладите, – говорит, – сей иконы в подвал, а поставьте ее у меня в алтаре на окне за жертвенником». Так слуги архиереевы по его приказанию и исполнили, и я должен вам сказать, что такое внимание со стороны церковного иерарха нам было, с одной стороны, очень приятно, но с другой – мы видели, что всякое намерение наше выкрасть своего ангела стало невозможно. Оставалось другое средство: подкупить слуг архиереевых и с их помощью подменить икону иным в соответствие сей хитро написанным подобием. В этом тоже наши староверы не раз успевали, но для сего прежде всего нужен искусный и опытной руки изограф, который бы мог сделать на подмен икону в точности, а такого изографа мы в тех местах не предвидели. И напала на нас на всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас как водный труд по закою: в горнице, где одни славословия слышались, стали раздаваться одни вопления; и в недолгом же времени все мы развоплились даже до немощи и земли под собой от полных слезами очей не видим, а чрез то или не через это, только пошла у нас болезнь глаз, и стала она весь народ перебирать. Просто чего никогда не было, то теперь сделалось: нет меры что больных! Во всем рабочем народе пошел толк, что все это неспроста, а за староверского ангела: «его, – бают, – запечатлением ослепили, а теперь все мы слепнем», и таким толкованием не мы одни, а все и церковные люди вскрамолились, и сколько хозяева-англичане ни привозили докторов, никто к ним не идет и лекарства не берет, а вопят одно:

– Принесите нам сюда запечатленного ангела, мы ему молебствовать хотим, и один он нас исцелит.

Англичанин Яков Яковлевич, в это дело вникнув, сам поехал к архиерею и говорит:

– Так и так, ваше преосвященство, вера дело великое, и кто как верит, тому так по вере дается: отпустите к нам на тот берег запечатленного ангела.

Но владыка сего не послушал и сказал:

– Сему не должно потворствовать.

Тогда нам это слово казалось быть жестокое, и мы архипастыря много суесловно осуждали, но впоследствии открылось нам, что все это велось не жестокостью, а Божиим смирением.

Между тем знаменья как бы не прекращались, и перст наказующий взыскал на том берегу самого главного всему этому делу виновника, самого Пимена, который после этой напасти от нас сбежал и вцеровился.

Встречаю я его там один раз в городе, он мне и кланяется, ну и я ему поклонился. А он и говорит:

– Согрешил я, брат Марк, придя с вами в разнобытие по вере.

А я отвечаю:

– Кому в какой вере быть, – это дело Божие, а что ты бедного за сапоги продал, это, разумеется, нехорошо, и прости меня, а я тебя в том, как Аммос-пророк велит, братски обличаю.

Он при имени пророка так и задрожал.

– Не говори, – говорит, – мне про пророков: я сам помню Писание и чувствую, что «пророки мучат живущих на земле», и даже в том знамение имею, – и жалуется мне, что на днях он выкупался в реке и у него после того по всему телу пегота пошла, и расстегнул грудь да показывает, а на нем, и точно, пежинные пятна, как на пегом коне, с груди вверх на шею лезут.

Грешный человек, было у меня на уме сказать ему, что «Бог шельму метит», но только сдавил я это слово в устах и молвил:

– Что ж, молись, – говорю, – и радуйся, что еще на сей земле так отитлован, авось на другом предстоятии чист будешь.

Он мне стал плакаться, сколь этим несчастен и чего лишается, если пегота на лицо пойдет, потому что сам губернатор, видя Пимена, когда его к церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался и сказал городскому голове, чтобы когда будут через город важные особы проезжать, то чтобы Пимена непременно вперед всех с серебряным блюдом выставлять. Ну, а пегого уж куда же выставить? Но, однако, что мне было эту его велиарскую суету и пустошество слушать, я завернулся, да и ушел.

И с тем мы с ним расстались. На нем его титла все яснее обозначались, а у нас не умолкали другие знамения, в заключение коих, по осени, только что стал лед, как вдруг сделалась оттепель, весь этот лед разметало и пошло наши постройки коверкать, и до того шли вреда за вредами, что вдруг один гранитный бык подмыло, и пучина поглотила все возведение многих лет, стойившее многих тысяч...

Поразило это самих наших хозяев англичан, и было тут к их старшему Якову Яковлевичу от кого-то слово, что дабы ото всего этого избавиться, надо нас, староверов, прогнать, но как он был человек благой души, то он этого слова не послушал, а, напротив, призвал меня и Луку Кирилова и говорит:

– Дайте мне, ребята, сами совет: не могу ли я чем-нибудь вам помочь и вас утешить?

Но мы отвечали, что, доколе священный для нас лик ангела, везде нам

предходившего, находится в огнесмольном запечатлении, мы ничем не можем утешиться и истаиваем от жалости.

– Что же, – говорит, – вы думаете делать?

– Думаем, мол, его со временем подменить и распечатлеть его чистый лик, безбожною чиновническою рукой опаленный.

– Да чем, – говорит, – он вам так дорог, и неужели другого такого же нельзя достать?

– Дорог он, – отвечаем, – нам потому, что он нас хранил, а другого достать нельзя, потому что он писан в твердые времена благочестивою рукой и освящен древним иереем по полному требнику Петра Могилы, а ныне у нас ни иереев, ни того требника нет.

– А как, – говорит, – вы его распечатлеете, когда у него все лицо сургучом выжжено?

– Ну, уж на этот счет, – отвечаем, – ваша милость, не беспокойтесь: нам только бы его в свои руки достичь, а то он, наш хранитель, за себя постоит: он не торговых мастеров, а настоящего Строганова дела, а что строгановская, что костромская олифа так варены, что и огневого клейма не боятся и до нежных вап смолы не допустят.

– Вы в этом уверены?

– Уверены-с: эта олифа крепка, как сама старая русская вера.

Он тут ругнул кого знал, что этакого художества беречь не умеют, и руки нам подал, и еще раз сказал:

– Ну так не горюйте же: я вам помощник, и мы вашего ангела достанем. Надолго ли он вам нужен?

– Нет, – говорим, – на небольшое время.

– Ну так я скажу, что хочу на вашего запечатленного ангела богатую золотую ризу сделать, и, как мне его дадут, мы его тут и подменим. Я завтра же за это возьмусь.

Мы благодарим, но говорим:

– Только ни завтра, ни послезавтра за это, сударь, не беритесь.

Он говорит:

– Это почему так?

А мы отвечаем:

– Потому, мол, сударь, что нам прежде всего надо иметь на подмен икону такую, чтоб она как две капли воды на настоящую походила, а таковых мастеров здесь нет, да и нигде вблизи не отыщется.

– Пустяки, – говорит, – я сам из города художника привезу; он не только копии, а и портреты великолепно пишет.

– Нет-с, – отвечаем, – вы этого не извольте делать, потому что, во-

первых, через этого светского художника может ненадлежащая молва пойти, а во-вторых, живописец такого дела исполнить не сможет.

Англичанин не верит, а я выступил и разъясняю ему всю разницу: что ноне, мол, у светских художников не то искусство: у них краски масляные, а там вапы на яйце растворенные и нежные, в живописи письмо мазаное, чтобы только на даль натурально показывало, а тут письмо плавкое и на самую близь явственно; да и светскому художнику, говорю, и в переводе самого рисунка не потрафить, потому что они изучены представлять то, что в теле земного, животолюбивого человека содержится, а в священной русской иконописи изображается тип лица небожительный, насчет коего материальный человек даже истового воображения иметь не может.

Он этим заинтересовался и спрашивает:

– А где же, – говорит, – есть такие мастера, что еще этот особенный тип понимают?

– Очень, – докладываю, – они нынче редки (да и в то время они совсем жили под строгим сокрытием). Есть, – говорю, – в слободе Мстере один мастер Хохлов, да уже он человек очень древних лет, его в дальний путь везти нельзя; а в Палихове есть два человека, так те тоже вряд ли поедут, да и к тому же, – говорю, – нам ни мстерские, ни палиховские мастера и не годятся.

– Это опять почему? – пытается.

– А потому, – отвечаю, – что у них пошиб не тот: у мстерских рисуночек головастенек и письмо мутно, а у палиховских тон бирюзист, все голубинкой отдает.

– Так как же, – говорит, – быть?

– Сам, – говорю, – не знаю. Наслышан я, что есть еще в Москве хороший мастер Силачев: и он по всей России между нашими именит, но он больше к новгородским и к царским московским письмам потрафляет, а наша икона строгановского рисунка, самых светлых и рясных вал, так нам потрафить может один мастер Севастьян с понизовья, но он страстный странствователь: по всей России ходит, староверам починку работает, и где его искать – неизвестно.

Англичанин с удовольствием все эти мои доклады выслушал и улыбнулся, а потом отвечает:

– Довольно дивные, – говорит, – вы люди, и как послушаешь вас, так даже приятно делается, как вы это все, что до вашей части касается, хорошо знаете и даже искусства можете постигать.

– Отчего же, – говорю, – сударь, искусства не постигать: это дело художество божественное, и у нас есть таковые любители из самых

простых мужичков, что не только все школы, в чем, например, одна от другой отличаются в письмах: устюжские или новгородские, московские или вологодские, сибирские либо строгановские, а даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских рукомерло одно от другого без ошибки отличают.

– Может ли, – говорит, – это быть?

– Все равно, – отвечаю, – как вы одного человека от другого письменный почерк пера распознаете, так и они: сейчас взглянут и видят, кто изображал: Кузьма, Андрей или Прокофий.

– По каким приметам?

– А есть, – говорю, – разница в приеме как перевода рисунка, так и в плавии, в пробелах, лицевых движках и в оживке.

Он все слушает; а я ему рассказываю, что знал про ушаковское писание, и про рублевское, и про древнейшего русского художника Парамшина, коего рукомерла иконы наши благочестивые цари и князья в благословение детям дарствовали и в духовных своих наказывали им те иконы блюсти паче зеницы ока.

Англичанин сейчас выхватил свою записную книжку и спрашивает: повторить, как художника имя и где его работы можно видеть?

А я отвечаю:

– Напрасно, сударь, станете отыскивать: нигде их памяти не осталось.

– Где же они делись?

– А не знаю, – говорю, – на чубуки ли повертели или немцам на табак променяли.

– Это, – говорит, – быть не может.

– Напротив, – отвечаю, – вполне статочно и примеры тому есть: в Риме у Папы в Ватикане створы стоят, что наши русские изографы, Андрей, Сергей да Никита, в тринадцатом веке писали. Многоличная миниатюра сия, мол, столь удивительна, что даже, говорят, величайшие иностранные художники, глядя на нее, в восторг приходили от чудного дела.

– А как она в Рим попала?

– Петр Первый иностранному монаху подарил, а тот продал.

Англичанин улыбнулся и задумался, и потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется и тем сама явствует, кто от какого родословия происходит.

– Ну, а у нас, – говорю, – верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленное, как будто и весь род русский только вчера насадка под крапивой вывела.

– А если таковая, – говорит, – ваша образованная невежественность,

так отчего же, в которых любовь к родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природного художества?

– Некем, – отвечаю, – нам его, милостивый государь, поддерживать, потому что в новых школах художества повсеместное растление чувства развито и суете ум повинуется. Высокого вдохновения тип утрачен, а все с земного вземлетя и земною страстию дышит. Наши новейшие художники начали с того, что архистратига Михаила с князя Потемкина Таврического стали изображать, а теперь уже того достигают, что Христа Спаса жидовином пишут. Чего же еще от таких людей ожидать? Их необрезанные сердца, может быть, еще и не то изобразят и велят за божество почитать: в Египте же и быка и лук красноперый богом чтити; но только уже мы богам чуждым не поклонимся и жидово лицо за Спасов лик не примем, а даже изображения эти, сколь бы они ни были искусны, за студодейное невежество почитаем и отвращением от него, поелику есть отчее предание, «что развлечение очес разоряет чистоту разума, яко водомет поврежденный погубляет воду».

Я сим кончил и замолчал, а англичанин говорит:

– Продолжай: мне нравится, как ты рассуждаешь.

Я отвечаю:

– Я уже все кончил, – а он говорит:

– Нет, ты расскажи мне еще, что вы по своему понятию за вдохновенное изображение понимаете?

Вопрос, милостивые государи, для простого человека довольно затруднительный, но я, нечего делать, начал и рассказал, как писано в Новгороде звездное небо, а потом стал излагать про киевское изображение в Софийском храме, где по сторонам Бога Саваофа стоят семь крылатых архистратигов, на Потемкина, разумеется, не похожих; а на порогах сени пророки и праотцы; ниже ступенью Моисей со скрижалию; еще ниже Аарон в митре и с жезлом прозябшим; на других ступенях царь Давид в венце, Исаия-пророк с хартией, Иезекииль с затворенными воротами, Даниил с камнем, и вокруг сих предстоятелей, указующих путь на небо, изображены дарования, коими сего славного пути человек достигать может, как-то: книга с семью печатями – дар премудрости; седмисвещный подсвечник – дар разума; семь очес – дар совета; семь трубных рогов – дар крепости; десная рука посреди семи звезд – дар видения; семь курильниц – дар благочестия; семь молоний – дар страха Божия. «Вот, – говорю, – таковое изображение гореносно!»

А англичанин отвечает:

– Прости меня, любезный: я тебя не понимаю, почему ты это

почитаешь гореносным?

– А потому, мол, что таковое изображение явственно душе говорит, что христианину надлежит молить и жаждать, дабы от земли к неизреченной славе Бога вознестись.

– Да ведь это же, – говорит, – всякий из Писания и из молитв может уразуметь.

– Ну, никак нет, – отвечаю, – Писание не всякому дано разуметь, а неразумеваящему и в молитве бывает затмение: иной слышит приглашение о «великия и богатыя милости» и сейчас полагает, что это о деньгах, и с алчностью кланяется. А когда он зрит пред собою изображенную небесную славу, то он помышляет вышний проспект жизненности и понимает, как надо этой цели достигать, потому что тут оно все просто и вразумительно: вымоли человек первее всего душе своей дар страха Божия, она сейчас и пойдет облегченная со ступени на ступень, с каждым шагом усвая себе приизбытки вышних даров, и в те поры человеку и деньги и вся слава земная при молитве кажутся не иначе как мерзость пред Господом.

Тут англичанин встает с места и весело говорит:

– А вы же, чудаки, чего себе молитесь?

– Мы, – отвечаю, – молим христианския кончины, живота и доброго ответа на Страшном судилище.

Он улыбнулся и вдруг дернул за золотистый шнурок зеленую занавесь, а за тою занавесью у него сидит в кресле его жена англичанка и пред свечью на длинных спицах вязанье делает. Она была прекрасная барыня, благоуветливая, и хотя не много по-нашему говорила, но все понимала, и, верно, хотелось ей наш разговор с ее мужем о религии слышать.

И что же вы думаете? Как отдернулась эта занавеса, что ее скрывала, она сейчас встает, будто содрогаясь, и идет, милушка, ко мне с Лукою, обе ручки нам, мужикам, протягивает, а в глазах у нее блещут слезки, и жмет нам руки, а сама говорит:

– Добри люди, добри русски люди!

Мы с Лукою за это ее доброе слово у нее обе ручки поцеловали, а она к нашим мужичьим головам свои губки приложила.

Рассказчик остановился и, закрыв рукавом глаза, тихонько отер их и молвил шепотом: «Трогательная женщина!» и затем, оправясь, продолжал снова:

– По таким своим ласковым поступкам и начала она, эта англичанка, говорить что-то такое своему мужу по-ихнему, нам непонятно, но только слышно по голосу, что, верно, за нас просит. И англичанин – знать, приятна ему эта доброта в жене – глядит на нее, ажно весь гордостию сияет, и все

жену по головке гладит, да этак, как голубь, гурчит по-своему: «гут, гут», или как там по-ихнему иначе говорится, но только видно, что он ее хвалит и в чем-то утверждает, и потом подошел к бюру, вынул две сотенных бумажки и говорит:

– Вот тебе, Лука, деньги: ступай ищи, где знаешь, какого вам нужно по вашей части искусного изографа, пусть он и вам что нужно сделает и жене моей в вашем доме напишет – она хочет такую икону сыну дать, а на все хлопоты и расходы вот это вам моя жена деньги дает.

А она сквозь слезы улыбается и частит:

– Ни-ни-ни: это он, а я особая, – да с этим словом порх за дверь и несет оттуда в руках третью сотенную.

– Муж, – говорит, – мне на платье дарил, а я платья не хочу, а вам жертвую.

Мы, разумеется, стали отказываться, но она о том и слышать не хочет и сама убежала, а он говорит:

– Нет, – говорит, – не смейте ей отказывать и берите, что она дает, – и сам отвернулся и говорит: – И ступайте, чудаки, вон!

Но мы этим изгнанием, разумеется, нимало не обиделись, потому что хоть он, этот англичанин, от нас отвернулся, но видели мы, что он это сделал ради того, дабы скрыть, что он сам растрогался.

Так-то нас, милостивые государи, свои притоманные люди обессудили, а аглицкая национальность утешила и дала в душу рвение, как бы точно мы баню пакибытия восприяли!

Теперь далее отсюда, милостивые государи, зачинается преполовление моей повести, и я вам вкратце изложу: как я, взяв своего среброузкого Левонтия, пошел по изографа, и какие мы места исходили, каких людей видели, какие новые дивеса нам объявились, и что наконец мы нашли, и что потеряли, и с чем возвратились.

10

В путь шествующему человеку первое дело спутник; с умным и добрым товарищем и холод и голод легче, а мне это благо было даровано в том чудном отроке Левонтии. Мы с ним отправились пешком, имея при себе котомочки и достаточную сумму, а для охраны оной и своей жизни имели при себе старую короткую саблю с широким обушком, коя у нас всегда береглась для опасного случая. Совершали мы путь свой вроде торговых людей, где как попало вымышляя надобности, для коих будто бы

следуем, а сами все, разумеется, высматривали свое дело. С самого первоначала мы побывали в Клинцах и в Злынке, потом наведались кое к кому из своих в Орле, но полезного результата себе никакого не получили: нигде хороших изографов не находили, и так достигли Москвы. Но что скажу: оле тебе, Москва! оле тебе, древлего русского общества преславная царица! не были мы, старые верители, и тобою утешены.

Неохота бы говорить, а нельзя перемолчать, не тот мы дух на Москве встретили, которого жаждали. Обрели мы, что старина тут стоит уже не на добротолубии и благочестии, а на едином упрямстве, и, с каждым днем в сем все более и более убеждаясь, начали мы с Левонтием друг друга стыдиться, ибо видели оба то, что мирному последователю веры видеть оскорбительно: но, однако, сами себя стыдясь, мы о всем том друг другу молчали.

Изографы, разумеется, в Москве отыскались, и весьма искусные, но что в том пользы, когда все это люди не того духа, о каковом отеческие предания повествуют? Встарь благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились и молились и производили одинаково, что за большие деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела требует. А эти каждый одному пишет рефтью, а другому нефтью, на краткое время, а не в долготу дней; грунта кладут меловые, слабые, а не лебастровые, и плавь леностно сразу наводят, не как встарь наводили до четырех и даже до пяти плавей жидкой, как вода, краскою, отчего получалась та дивная нежность, ныне недостижимая. И помимо неаккуратности в художестве, все они сами расслабевши, все друг пред другом величаются, а другого чтоб унижить ни во что вменяют; или еще того хуже, шайками совокупись, сообща хитрейшие обманы делают, собираются по трактирам и тут вино пьют и свое художество хвалят с кичливою надменностию, а другого рукомесло богохульно называют «адописным», а вокруг их всегда, как воробьи за совами, старьевщики, что разную иконописную старину из рук в руки перепущают, меняют, подменивают, подделывают доски, в трубах коптят, утлизну в них делают и червоточину; из меди разные створы по старому чеканному образцу отливают; амаль в ветхозаветном роде наводят; купели из тазов куют и на них старинные щипаные орлы, какие за Грозного времена были, выставляют и продают неопытным верителям за настоящую грозновскую купель, хотя тех купелей не счесть сколько по Руси ходит, и все это обман и ложь бессовестные. Словом сказать, все эти люди, как черные цыгане лошадьми друг друга обманывают, так и они святынею, и все это при таком с оною обращении, что становится за них стыдно и видишь во всем этом

один грех да соблазн и вере поношение. Кто привычку к сему бесстыдству усвоил, тому еще ничего, и из московских охотников многие эту нечестною меною даже интересуются и хвалятся: что-де тот-то того-то так вот Деисусом надул, а этот этого вон как Николою огрел, или каким подлым манером поддельную Владычицу еще подсунул: и все это им заростно, и друг пред другом один против другого лучше нарохтятся, как Божьим благословением неопытных верителей морочить, но нам с Левою, как мы были простые деревенские богочтителы, все это в той степени непереносно показалось, что мы оба даже заскучали и напал на нас страх.

«Неужто же, – думаем, – такова она к этому времени стала, наша злосчастливая старая вера?» Но и я это думаю, и он, вижу, то же самое в скорбном сердце содержит, а друг другу того не открываем, а только замечаю я, что мой отрок все ищет уединенного места.

Вот я раз гляжу на него, а сам думаю: «Как бы он в смущении чего недолжного не надумал?» – да и говорю:

– Что ты, Левонтий, будто чем закручинился?

А он отвечает:

– Нет, – говорит, – дядя, ничего: это я так.

– Пойдем же, мол, на Боженинову улицу в Эриванский трактир изографов подговаривать. Ноне туда два обещали прийти и древних икон принести. Я уже одну выменял, хочу ноне еще одну достать.

А Левонтий отвечает:

– Нет, сходи ты, дядюшка, один, а я не пойду.

– Отчего же, – говорю, – ты не пойдешь?

– А так, – отвечает, – мне ноне что-то не по себе.

Ну, я его раз не нужно и два не нужно, а на третий опять зову:

– Пойдем, Левонтьюшка, пойдем, молодчик.

А он умильно кланяется и просит:

– Нету, дядюшка, голубчик белый: позволь мне дома остаться.

– Да что же, мол, Лева, пошел ты мне в содеятели, а все дома да дома сидишь. Этак не велика мне, голубчик, от тебя помощь.

А он:

– Ну родненький, ну батечка, ну Марк Александрыч, государь, не зови меня туда, где едят да пьют и нескладные речи о святыне говорят, а то меня соблазн обдержат может.

Это его было первое сознательное слово о своих чувствах, и оно меня в самое сердце поразило, но я с ним не стал спорить, а пошел один, и имел я в этот вечер большой разговор с двумя изографами и получил от них ужасное огорчение. Сказать страшно, что они со мною сделали! Один мне

икону променял за сорок рублей и ушел, а другой говорит:

– Ты гляди, человеке, этой иконе не поклоняйся.

Я говорю:

– Почему?

А он отвечает:

– Потому что она адописная, – да с этим колупнул ногтем, а с уголка слой письма так и отскочил, и под ним на грунту чертик с хвостом нарисован! Он в другом месте скovyрнул письмо, а там под низом опять чертик.

– Господи! – заплакал я, – да что же это такое?

– А то, – говорит, – что ты не ему, а мне закажи.

И увидал уже я тут ясно, что они одна шайка и норовят со мною нехорошо поступить, не по чести, и, покинув им икону, ушел от них с полными слез глазами, славя Бога, что не видал того мой Левонтий, вера которого находилась в борении. Но только подхожу домой и вижу, в окна нашей горенки, которую мы нанимали, свету нет, а между тем оттуда тонкое, нежное пение льется. Я сейчас узнал, что поет приятный Левонтиев голос, и поет с таким чувством, что всякое слово будто в слезах купает. Вошел тихонько, чтоб он не слышал, стал у дверей и слушаю, как он Иосифов плач выводит:

Кому повем печаль мою,
Кого призову ко рыданию.

Стих этот, если его изволите знать, и без того столь жалостный, что его спокойно слушать невозможно, а Левонтий его поет да сам плачет и рыдает, что

Продаша мя мои братия!

И плачет, и плачет он, воспевая, как видит гроб своей матери, и зовет землю к воплению за братский грех!..

Слова эти всегда могут человека взволновать, а особенно меня в ту пору, как я только бежал от братогрызцев, они меня так растрогали, что я и сам захлипал, а Левонтий, услышав это, смолк и зовет меня:

– Дядя! а дядя!

– Что, – говорю, – добрый молодец?

– А знаешь ли ты, – говорит, – кто это наша мать, про которую тут поется?

– Рахиль, – отвечаю.

– Нет, – говорит, – это в древности была Рахиль, а теперь это таинственно надо понимать.

– Как же, – спрашиваю, – таинственно?

– А так, – отвечает, – что это слово с преобразованием сказано.

– Ты, – говорю, – смотри, дитя: не опасно ли ты умствуешь?

– Нет, – отвечает, – я это в сердце моем чувствую, что крестует бо ся Спас ради того, что мы его едиными усты и единым сердцем не ищем.

Я еще пуще испугался, к чему он стремится, и говорю:

– Знаешь что, Левонтьюшко: пойдём-ка мы отсюда скорее из Москвы в нижегородские земли, изографа Севастьяна поищем, он ноне, я слышал, там ходит.

– Что же: пойдём, – отвечает, – здесь, на Москве, меня какой-то нужный дух больно нудит, а там леса, поветрие чище, и там, – говорит, – я слышал, есть старец Памва, анахорит совсем беззавистный и безгневный, я бы его узреть хотел.

– Старец Памва, – отвечаю со строгостию, – господствующей церкви слуга, что нам на него смотреть?

– А что же, – говорит, – за беда, я для того и хотел бы его видеть, дабы внять, какова господствующей церкви благодать.

Я его пощунял, «какая там, говорю, благодать», а сам чувствую, что он меня правее, потому что он жаждет испытывать, а я чего не ведаю, то отвергаю, но упорствую на своем противлении и говорю ему самые пустяки.

– Церковные, – говорю, – и на небо смотрят не с верою, а в Аристотелевы врата глядят и путь в море по звезде языческого бога Ремфана определяют; а ты с ними в одну точку смотреть захотел?

А Левонтий отвечает:

– Ты, дядя, баснишь: никакого бога Ремфана не было и нет, а вся единою премудростию создано.

Я от этого словно еще глупее стал и говорю:

– Церковные кофий пьют!

– А что за беда, – отвечает Левонтий, – кофий боб, он был Давиду-царю в дарах принесен.

– Откуда, – говорю, – ты это все знаешь?

– В книгах, – говорит, – читал.

– Ну так знай же, что в книгах не все писано.

– А что, – говорит, – там еще не написано?

– Что? что не написано? – А сам вовсе уже не знаю, что сказать, да брякнул ему:

– Церковные, – говорю, – зайцев едят, а заяц поганый.

– Не погань, – говорит, – Богом созданного, это не грех.

– Как, – говорю, – не поганить зайца, когда он поганый, когда у него ослий склад и мужеженское естество и он рождает в человеке густую и меланхолическую кровь?

Но Левонтий засмеялся и говорит:

– Спи, дядя, ты невегласы глаголешь!

Я, признаюсь вам, тогда еще ясно не разгадал, что такое в душе сего благодатного юноши делалось, но сам очень обрадовался, что он больше говорить не хочет, ибо я и сам понимал, что я в сердцах невесть что говорю, и умолк я и лежу да только думаю:

«Нет; это в нем такое сомнение от тоски стало, а вот завтра поднимемся и пойдем, так оно все в нем рассеется»; но про всякий же случай я себе на уме положил, что буду с ним некое время идти молча, дабы показать ему, что я как будто очень на него сержусь.

Но только в волевозвращном характере моем нет совсем этой крепости, чтобы притворяться сердитым, и мы скоро же опять начали с Левонтием говорить, но только не о божестве, потому что он был сильно против меня начитавшись, а об окрестности, к чему ежечасный предлог подавали виды огромных темных лесов, которыми шел путь наш. Обо всем этом своем московском разговоре с Левонтием я старался позабыть и решил наблюдать только одну осторожность, чтобы нам с ним как-нибудь не набежать на этого старца Памву анахорита, которым Левонтий прельщался и о котором я сам слышал от церковных людей непостижимые чудеса про его высокую жизнь.

«Но, – думаю себе, – чего тут много печалиться, уж если я от него бежать стану, так он же сам нас не обретет!»

И идем мы опять мирно и благополучно и, наконец, достигши известных пределов, добыли слух, что изограф Севастьян, точно, в здешних местах ходит, и пошли его искать из города в город, из села в село, вот-вот совсем по его свежему следу идем, совсем его достигаем, а никак не достигнем. Просто как сворные псы бежим, по двадцати, по тридцати верст переходы без отдыха делаем, а придем, говорят:

– Был он здесь, был, да вот-вот всего с час назад ушел!

Бросимся вслед, не настигаем!

И вот вдруг на одном таком переходе мы с Левонтием и заспорили: я

говорю: «нам надо идти направо», а он спорит: «налево», и наконец чуть было меня не переспорил, но я на своем пути настоял. Но только шли мы, шли, и наконец вижу, не знаю куда зашли, и нет дальше ни тропы, ни следу.

Я говорю отроку:

– Пойдем, Лева, назад!

А он отвечает:

– Нет, не могу я, дядя, больше идти – сил моих нет.

Я всхлопотался и говорю:

– Что тебе, дитяtko?

А он отвечает:

– Разве, – говорит, – ты не видишь, меня отрясовица бьет?

И вижу, точно, весь он трясется, и глаза блуждают. И как все это, милостивые государи, случилось вдруг! Ни на что не жаловался, шел бодро и вдруг сел в леску на траву, а головку положил на избуточный пенек и говорит:

– Ой, голова моя, голова! ай, горит моя голова огнем-пламенем! Не могу я идти; не могу больше шагу ступить! – а сам, бедняга, даже к земле клонится, падает.

А дело шло под вечер.

Ужасно я испугался, а пока мы тут подождали, не облегчит ли ему недуг, стала ночь; время осеннее, темное, место незнакомое, вокруг одни сосны и ели могучие, как аркефовы деревья, а отрок просто помирает. Что тут делать! Я ему со слезами говорю:

– Левушка, батюшка, поневоляся, авось до ночлежка дойдем.

А он клонит головушку, как скошенный цветок, и словно во сне бредит:

– Не тронь меня, дядя Марко; не тронь и сам не бойся.

Я говорю:

– Помилуй, Лева, как не бояться в такой глуши непробудной.

А он говорит:

– Не сияй и бдяй сохрани.

Я думаю: «Господи! что это с ним такое?» А сам в страхе все-таки стал прислушиваться, и слышу, по лесу вдалеке что-то словно потрескивает... «Владыко многомилостиве! – думаю, – это, верно, зверь, и сейчас он нас растерзает!» И уже Левонтия не зову, потому что вижу, что он точно сам из себя куда-то излетел и витает, а только молюсь: «Ангел Христов, соблюди нас в сей страшный час!» А треск-то все ближе и ближе слышится, и вот-вот уже совсем подходит... Здесь я должен вам, господа, признаться в великой своей низости: так я оробел, что покинул больного Левонтия на

том месте, где он лежал, да сам белки проворнее на дерево вскочил, вынул сабельку и сию на суку да гляжу, что будет, а зубами, как пуганый волк, так и ляскаю... И вдруг-с замечаю я во тьме, к которой глаз мой пригляделся, что из лесу выходит что-то поначалу совсем безвидное, – не разобрать, зверь или разбойник, но стал приглядываться и различаю, что и не зверь и не разбойник, а очень небольшой старичок в колпачке, и видно мне даже, что в поясу у него топор заткнут, а на спине большая вязанка дров, и вышел он на поляночку; подышал, подышал часто воздухом, точно со всех сторон поветрие собирал, и вдруг сбросил на землю вязанку и, точно почуяв человека, идет прямо к моему товарищу. Подошел, нагнулся, посмотрел в лицо и взял его за руку, да и говорит:

– Встань, брате!

И что же вы изволите думать? вижу я, поднял он Левонтия, и ведет прямо к своей вязаночке, и взвалил ее ему на плечи, и говорит:

– Понеси-ка за мною!

А Левонтий и понес.

11

Можете себе, милостивые государи, представить, как я такого дива должен был испугаться! Откуда этот повелительный тихий старичок взялся, и как это мой Лева сейчас точно смерти был привержен и головы не мог поднять, и опять сейчас уже вязанку дров несет!

Я скорее соскочил с дерева, сабельку на бечеве за спину забросил, а сломал про всякий случай здоровую леторосль понадежнее, да за ними, и скоро их настиг и вижу: старичок впереди грядет, и как раз он точно такой же, как мне с первого взгляда показался: маленький и горбатенький; а борода по сторонам клочочками, как мыльная пена белая, а за ним мой Левонтий идет, следом в след его ноги бодро попадает и на меня смотрит. Сколько я к нему ни заговаривал и рукою его ни трогал, он и внимания на меня не обратил, а все будто во сне идет.

Тогда я подбежал сбоку к старичку и говорю:

– Доброчестный человек!

А он отзывается:

– Что тебе?

– Куда ты нас ведешь?

– Я, – говорит, – никого никуда не веду, всех Господь ведет!

И с этим словом вдруг остановился: и я вижу, что пред нами низенькая

стенка и ворота, а в воротах проделана малая дверка, и в эту дверку старичок начал стучаться и зовет: – Брате Мирон! а брате Мирон!

А оттуда дерзый голос грубо отвечает:

– Опять ночью притащился. Ночуй в лесу! Не пущу! Но старичок опять давай проситься, молить ласково: – Впусти, брате!

Тот дерзый вдруг отчинил дверь, и вижу я это человек тоже в таком же колпаке, как и старичок, но только суровый-пресуровый грубиян, и не успел старичок ноги перенести через порог, как он его так толкнул, что тот мало не обрушился и говорит:

– Спаси тебя Бог, брате мой, за твою услугу. «Господи! – помышляю, – куда это мы попали», и вдруг как молония меня осветила и поразила.

«Спасе премилосердный! – взгадал я, – да уж это не Памва ли безгневный! Так лучше же бы, – думаю, – я в дебри лесной погиб, или к зверю, или к разбойнику в берлогу зашел, чем к нему под кров».

И чуть он ввел нас в маленькую какую-то хибарочку и зажег воску желтого свечу, я сейчас догадался, что мы действительно в лесном ските, и, не стерпев дальше, говорю:

– Прости, благочестивый человек, спрошу я тебя: гоже ли нам с товарищем оставаться здесь, куда ты привел нас?

А он отвечает:

– Вся Господня земля и благословенны все живущие, – ложись, спи!

– Нет, позволь, – говорю, – тебе объявиться, ведь мы по старой вере.

– Все, – говорит, – уды единого тела Христова! Он всех соберет!

И с этим подвел нас к уголку, где у него на полу сделана скудная Рогозина постелька, а в возглавии древесный кругляк соломкой прикрыт, и опять уже обоим нам молвит:

– Спице!

И что же? Левонтий мой, как послушенствующий отрок, сейчас и повалился, а я, свое спасение наблюдая, говорю:

– Прости, Божий человек, еще одно вопрошение...

Он отвечает:

– Что вопрошать: Бог все знает.

– Нет, скажи, – говорю, – мне: как твое имя?

А он, как совсем бы ему не соответствовало, бабственною погудкою говорит:

– Зовут меня зовуткою, а величают уткою, – и с этими пустыми словами пополз было со свечечкою в какой-то малый чулан, тесный, как дощатый гробик, но из-за стены на него тот дерзый вдруг опять закричал:

– Не смей огня жечь: келью сожжешь, по книжке днем намолишься, а

теперь впотьмах молись!

– Не буду, – отвечает, – брате Мирон, не буду. Спаси тебя Бог!

И задул свечку.

Я шепчу:

– Отче! кто это на тебя так губительно грозитя?

А он отвечает:

– Это служка мой Мирон... добрый человек, он блюдет меня.

«Ну, шабаш! – думаю, – это анахорит Памва! Никто это другой, как он, и беззавистный и безгневный. Вот когда беда! обрящел он нас и теперь петлит нас, как гагрена жир; одно только оставалось, чтобы завтра рано на заре восхитить отсюда Левонтия и бежать отсюда так, чтоб он не знал, где мы были». Держа этот план, я положил не спать и блюсти первый просвет, чтобы возбудить отрока и бежать.

А чтобы не заснуть и не проспять, лежу да твержу «Верую», как должно по-старому, и как протвержу раз, сейчас причитаю: «Сия вера апостольская, сия вера кафолическая, сия вера вселенную утверди», и опять начинаю. Не знаю, сколько раз я эту «Верую» прочел, чтобы не заснуть, но только много; а старичок все в своем гробе молится, и мне оттуда сквозь пазы тесин точно свет кажет, и видно, как он кланяется, а потом вдруг будто начал слышаться разговор, и какой... самый необъяснимый: будто вошел к старцу Левонтий, и они говорят о вере, но без слов, а так, смотрят друг на друга и понимают. И это долго мне так представлялось, я уже «Верую» позабыл твердить, а слушаю, как будто старец говорит отроку: «Поди очистись», а тот отвечает: «И очищусь». И теперь вам не скажу, все это было во сне или не во сне, но только я потом еще долго спал и наконец просыпаюсь и вижу: утро, совсем светло, и оный старец, хозяин наш, анахорит, сидит и свайкою лыковый лапоток на коленях ковыряет. Я стал в него всматриваться.

Ах, сколь хорош! ах, сколь духовен! Точно ангел предо мною сидит и лапотки плетет, для простого себя миру явления.

Гляжу я на него и вижу, что и он на меня смотрит и улыбается, и говорит:

– Полно, Марк, спать, пора дело делать.

Я отзываюсь:

– Какое же, боготечный муж, мое дело? Или ты все знаешь?

– Знаю, – говорит, – знаю. Когда же человек далекий путь без дела творит? Все, брате, все пути Господнего ищут. Помогай Господь твоему смирению, помогай!

– Какое же, – говорю, – святой человек, мое смирение? – ты смирен, а

мое что за смирение в суете!

А он отвечает:

– Ах нет, брате, нет, я не смирен: я великий дерзостник, я себе в небесном царстве части желаю.

И вдруг, сознав сие преступление, сложил ручки и как малое дитя заплакал.

– Господи! – молится, – не прогневайся на меня за сию волевозвращность: пошли меня в преисподнейший ад и повели демонам меня мучить, как я того достоин!

«Ну, – думаю, – нет: слава Богу, это не Памва прозорливый анахорит, а это просто какой-то умоповрежденный старец». Рассудил я так потому, что кто же в здравом уме небесного царства может отрицаться и молить, дабы послал его Господь на мучение демонам? Я этакого хотения во всю жизнь ни от кого не слышал и, сочтя оное за безумие, отвратился от старцева плача, считая оный за скорбь демоно-говейную. Но, наконец, рассуждаю: что же это я лежу, пора вставать, но только вдруг гляжу, отворяется дверь, и входит мой Левонтий, про которого я точно совсем позабыл. И как он вошел, сейчас старцу в ноги и говорит:

– Я, отче, все совершил: теперь благослови!

А старец посмотрел на него и отвечает:

– Мир ти: почий!

И мой отрок, гляжу, опять ему в землю поклонился и вышел, а анахорит опять стал свой лапоток плесть.

Тут я сразу вскочил и думаю: «Нет; пойду скорее возьму Леву, и утечем отсюда без оглядки!» и с тем выхожу в малые сенички и вижу, что мой отрок лежит тут на дощаной скамье без возглавия навзничь и ручки на груди сложил.

Я, чтобы не подать ему виду тревоги, гласно спрашиваю:

– Не знаешь ли ты, где я зачерпну себе воды, чтобы лицо умыть? – а шепотом шепчу ему: – Богом живым тебя заклинаю, скорее отсюда пойдём!

Но всматриваюсь в него и вижу, что Лева не дышит... Отошел!.. Умер!..

Взвыл я не своим голосом:

– Памва! отец Памва, ты убил моего отрока!

А Памва вышел потихоньку на порог и говорит с рад остию:

– Улетел наш Лева!

Меня даже зло взяло.

– Да, – отвечаю сквозь слезы, – он улетел. Ты из него душу, как голубя из клетки, выпустил! – и, повергшись к ногам усопшего, стонал я и плакал

над ним даже до вечера, когда пришли из монастырька иноки, опрытали его мощи, положили в гроб и понесли, так как он сим утром, пока я, нетяг, спал, к церкви присоединился.

Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что бы я мог ему сказать: согроби ему – он благословит, припей его – он в землю поклонится, неодолим сей человек с таким смирением! Чего он утрашится, когда даже в ад сам просится? Нет: недаром я его трепетал и опасался, что петлит он нас, как гагрена жир. Он и демонов-то всех своим смирением из ада разгонит или к Богу обратит! Они его станут мучить, а он будет просить: «жестче терзайте, ибо я того достоин». Нет, нет! Этого смирения и сатане не выдержать! он все руки об него обколотит, все когти обдерет и сам свое бессилие постигнет пред Со-детелем, такую любовь создавшим, и устыдится его.

Так я себе и порешил, что сей старец с лапотком аду на погибель создан! и, всю ночь по лесу бродючи, не знаю отчего вдаль не иду, а все думаю:

«Как же он молится, каким образом и по каким книгам?»

И вспоминаю, что я не видал у него ни одного образа, кроме креста из палочек, лычком связанного, да не видал и толстых книг...

«Господи! – дерзаю рассуждать, – если только в церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевлен».

И все я о нем думал и думал и вдруг перед утром начал жаждать хоть на минуто его пред отходом отсюда видения.

И только что я это помыслил, вдруг опять слышу, опять такой самый трескот, и отец Памва опять выходит с топором и с вязанкою дров и говорит:

– Что долго медлили? Поспешай Вавилон строить!

Мне это слово показалось очень горько, и я сказал:

– За что же ты меня, старче, таким словом упрекаешь: я никакого Вавилона не строю и от вавилонской мерзости особлюсь.

А он отвечает:

– Что есть Вавилон? столп кичения; не кичись правдою, а то ангел отступится.

Я говорю:

– Отче, знаешь ли, зачем я хожу?

И рассказал ему все наше горе. А он все слушал, слушал и отвечает:

– Ангел тих, ангел кроток, во что ему повелит Господь, он в то и одевается; что ему укажет, то он сотворит.

Вот ангел! Он в душе человеческой живет, суемудрием запечатлен, но

любовь сокрушит печать...

И с тем, вижу, он удаляется от меня, а я отвратить глаз от него не могу и, преодолеть себя будучи не в состоянии, пал и вслед ему в землю поклонился, а поднимаю лицо и вижу, его уже нет, или за древа зашел, или... Господь знает куда делся.

Тут я стал перебирать в уме его слова, что такое: «ангел в душе живет, но запечатлен, а любовь освободит его», да вдруг думаю: «А что, если он сам ангел, и Бог повелит ему в ином виде явиться мне: я умру, как Левонтий!» Взгадав это, я, сам не помню, на каком-то пеньке переплыл через речечку и ударился бежать: шестьдесят верст без остановки ушел, все в страхе, думая, не ангела ли я это видел, и вдруг захожу в одно село и нахожу здесь изографа Севастьяна. Сразу мы с ним обо всем переговорили и положили, чтобы завтра же ехать, но поладили мы холодно и ехали еще холоднее. А почему? Раз, потому, что изограф Севастьян был человек задумчивый, а еще того более потому, что сам я не тот стал, витал в душе моей анахорит Памва, и уста шептали слова пророка Исаии, что «дух Божий в ноздрях человека сего».

12

Обратное подорожие мы с изографом Севастьяном отбыли скоро и, прибыв к себе на постройку ночью, застали здесь все благополучно. Повидавшись с своими, мы сейчас же появились к англичанину Якову Яковлевичу. Тот, любопытный этакой, сейчас же поинтересовался изографа видеть и все ему на руки его смотрел да плечми пожимал, потому что руки у Севастьяна были большущие, как грабли, и черные, поелику и сам он был видом как цыган черен. Яков Яковлевич и говорит:

– Удивляюсь я, братец, как ты такими ручищами можешь рисовать?

А Севастьян отвечает:

– Отчего же? Чем мои руки несоответственны?

– Да тебе, – говорит, – что-нибудь мелкое ими не выведешь.

Тот спрашивает:

– Почему?

– А потому что гибкость состава перстов не позволит.

А Севастьян говорит:

– Это пустяки! Разве персты мои могут мне на что-нибудь позволять или не позволять? Я им господин, а они мне слуги и мне повинуются.

Англичанин улыбается.

– Значит, ты, – говорит, – нам запечатленного ангела подведешь?

– Отчего же, – отвечает, – я не из тех мастеров, которые дела боятся, а меня самого дело боится; так подведу, что и не отличите от настоящей.

– Хорошо, – молвил Яков Яковлевич, – мы немедля же станем стараться настоящую икону достать, а ты тем часом, чтоб уверить меня, докажи мне свое искусство: напиши ты моей жене икону в древнерусском роде, и такую, чтоб ей нравилась.

– Какое же во имя?

– А уж этого я, – говорит, – не знаю; что знаешь, то и напиши, это ей все равно, только чтобы нравилась.

Севастьян подумал и вопрошает:

– А о чем ваша супруга более Богу молится?

– Не знаю, – говорит, – друг мой; не знаю о чем, но я думаю, вернее всего о детях, чтоб из детей честные люди вышли.

Севастьян опять подумал и отвечает:

– Хорошо-с, я и под этот вкус потрафлю.

– Как же ты потрафишь?

– Так изображу, что будет созерцательно и усугублению молитвенного духа супруги вашей благоприятно.

Англичанин велел ему дать все удобства у себя на вышке, но только Севастьян не стал там работать, а сел у окошечка на чердачке над Луки Кирилова горенкой и начал свою акцию.

И что же он, государи мои, сделал, чего мы и вообразить не могли. Как шло дело о детях, то мы думали, что он изобразит Романа-чудотворца, коему молятся от неплодия, или избиение младенцев в Иерусалиме, что всегда матерям, потерявшим чад, бывает приятно, ибо там Рахиль с ними плачет о детях и не хочет утешиться; но сей мудрый изограф, сообразив, что у англичанки дети есть и она льет молитву не о даровании их, а об оправдании их нравственности, взял и совсем иное написал, к целям ее еще более соответственное. Избрал он для сего старенькую самую небольшую досточку пядницу, то есть в одну ручную пядь величины, и начал на ней таланствовать. Прежде всего он ее, разумеется, добре вылевкасил крепким казанским алебастром, так что стал этот левкас гладок и крепок, как слоновья кость, а потом разбил на ней четыре ровные места и в каждом месте обозначил особливую малую икону, да еще их стеснил тем, что промежду них на олифе золотом каймы положил, и стал писать: в первом месте написал рождество Иоанна Предтечи, восемь фигур и новорожденное дитя, и палаты; во втором – рождество Пресвятыя Владычицы Богородицы, шесть фигур и новорожденное дитя, и палаты;

в третьем – Спасово пречистое рождество, и хлев, и ясли, и предстоящие Владычица и Иосиф, и припадшие боготечные волхвы, и Соломия-баба, и скот всяким подобием: волы, овцы, козы и осли, и сухолапль-птица, жидам запрещенная, коя пишется в означение, что идет сие не от жидовства, а от Божества, все создавшего. А в четвертом отделении рождение Николая Угодника, и опять тут и святой угодник в младенчестве, и палаты, и многие предстоящие. И что тут был за смысл, чтобы видеть пред собою воспитателей столь добрых чад, и что за художество, все фигурки ростом в булавочку, а вся их одушевленность видна и движение. В богородичном рождестве, например, святая Анна, как по греческому подлиннику назначено, на одре лежит, пред нею девицы тимпанницы стоят, и одни держат дары, а иные солнечник, иные же свечи. Едина жена держит святую Анну под плечи; Иоаким зрит в верхние палаты; баба святую Богородицу оmyвает в купели до пояса; посторонь девица льет из сосуда воду в купель. Палаты все разведены по циркулю, верхняя призелень, а нижняя бокан, и в этой нижней палате сидят Иоаким и Анна на престоле, и Анна держит Пресвятую Богородицу, а вокруг между палат столбы каменные, запоны червленые, а ограда бела и вохряна... Дивно, дивно все это Севастьян изобразил, и в премельчайшем каждом личике все богозрительство выразил, и надписал образ «Доброчадие», и принес англичанам. Те глянули, стали разбирать, да и руки врозь: никогда, говорят, такой фантазии не ожидали и такой тонкости мелкоскопического письма не слыхивали, даже в мелкоскоп смотрят, и то никакой ошибки не находят, и дали они Севастьяну за икону двести рублей и говорят:

– Можешь ли ты еще мельче выразить?

Севастьян отвечает:

– Могу.

– Так скопируй мне, – говорит, – в перстень женин портрет.

Но Севастьян говорит:

– Нет, вот уж этого я не могу.

– А почему?

– А потому, – говорит, – что, во-первых, я этого искусства не пробовал, а повторительно, я не могу для него своего художества унижить, дабы отеческому осуждению не подпасть.

– Что за вздор такой!

– Никак нет, – отвечает, – это не вздор, а у нас есть отеческое постановление от благих времен, и в патриаршей грамоте подтверждается: «аще убо кто на таковое святое дело, еже есть иконное воображение, сподобится, то тому изрядного жительствова изографу ничего, кроме святых

икон, не писать!»

Яков Яковлевич говорит:

– А если я тебе пятьсот рублей дам за это?

– Хоть и пятьсот тысяч обещайте, все равно при вас они останутся.

Англичанин просиял и шутя говорит жене:

– Как это тебе нравится, что он твое лицо писать считает для себя за унижение?

А сам ей по-аглицки прибавляет: «Ох, мол, гут карах-тер». Но только молвил в конце:

– Смотрите же, братцы, теперь мы беремся все дело шабашить, а у вас, я вижу, на все свои правила, так чтобы не было упущено или позабыто чего-нибудь такого, что всему помешать может.

Мы отвечаем, что ничего такого не предвидим.

– Ну так смотрите, – говорит, – я начинаю, – и он поехал ко владыке с просьбою, что хочет-де он поусердствовать, на запечатленном ангеле ризу позолотить и венец украсить. Владыко на это ему ни то ни се: ни отказывает, ни приказывает; а Яков Яковлевич не отстает и домотает; а мы уже ждем, что порох огня.

13

При сем позвольте вам, господа, напомнить, что с тех пор, как это дело началось, время прошло немало и на дворе стояло Спасово рождество. Но вы не числите тамошнее Рождество наравне со здешним: там время бывает с капризцем, и один раз справляет этот праздник по-зимнему, а в другой раз невесть по какому: дождит, мокнет; один день слегка морозцем постынет, а на другой опять растворит; реку то ледком засалит, то вспучит и несет крыги, как будто в весеннюю половодь... Одним словом, самое непостоянное время, и как по тамошнему месту зовется уже не погода, а просто *халепа*, так оно ей и пристало халепой быть.

В тот год, к коему рассказ мой клонит, непостоянство это было самое досадительное. Пока я вернулся с изографом, я не могу вам и перечислить, какое число раз наши то на зимнем, то на летнем положении себя поставляли. А время было, по работе глядя, самое горячее, потому что уже у нас все семь быков были готовы и с одного берега на другой цепи переносились. Хозяевам, разумеется, как можно скорее хотелось эти цепи соединить, чтобы на них к половодью хоть какой-нибудь временный мостик подвесить для доставки материала, но это не удалось: только цепи

перетянули, жамкнул такой морозище, что мостить нельзя. Так и осталось; цепи одни висят, а моста нет. Зато создал Бог другой мост: река стала, и наш англичанин поехал по льду за Днепр хлопотать о нашей иконе, и оттуда возвращается и говорит мне с Лукою:

– Завтра, – говорит, – ребята, ждите, я вам ваше сокровище привезу.

Господи, что только мы в эту пору почувствовали! Хотели было сначала таинствовать и одному изографу сказать, но утерпеть ли сердцу человеку! Вместо соблюдения тайности обеган мы всех своих, во все окна постучали и все друг к другу шепчем, да не знать чего бегаем от избы к избе, благо ночь светлая, превосходная, мороз по снегу самоцветным камнем сыпет, а в чистом небе Еспер-звезда горит.

Проведя в такой радостной беготне ночь, день мы встретили в том же восхищенном ожидании и с утра уже от своего изографа не отходим и не знаем, куда за ним его сапоги понести, потому что пришел час, когда все зависит от его художества. Что только он скажет подать или принести, мы во всякий след вдесятером летим и так усердствуем, что один другого с ног валим. Даже дед Марой до той поры бегал, что, зацепившись, каблук оторвал. Один только сам изограф спокоен, потому что ему эти дела было уже не впервые делать, и потому он несуетно себе все приготавливал: яйцо кваском развел, олифу осмотрел, приготовил левкасный холстик, старенькие досточки, какие подхожие к величине иконы, разложил, настроил острую пилку, как струну, в излучине из крепкого обода и сидит под окошечком, да какие предвидит нужными вапы пальцами в долони перетирает. А мы все вымылись в печи, понадевали чистые рубашки и стоим на бережку, смотрим на град убежища, откуда должен к нам светоносный гость пожаловать; а сердца так то затрепещут, то падают...

Ах, какие были мгновения, и длились они с ранней зари даже до вечера, и вдруг видим мы, что по льду от города англичаниновы сани несутся, и прямо к нам... По всем трепет прошел, шапку все под ноги бросили и молимся:

– Боже отец духовом и ангелом: пощади рабы твои!

И с этим моленьем упали ниц на снег и вперед жадно руки простираем, и вдруг слышим над собою англичанинов голос:

– Эй, вы! Староверы! Вот вам привез! – и подает узелок в белом платочке.

Лука принял узелок и замер: чувствует, что это что-то малое и легковесное! Раскрыл уголок платочка и видит: это одна басма с нашего ангела сорвана, а самой иконы нет.

Кинулись мы к англичанину и говорим ему с плачем:

– Обманули вашу милость, тут иконы нет, а одна басма серебряная с нее прислана.

Но англичанин уже не тот, что был к нам до сего времени: верно, досадило ему это долгое дело, и он крикнул на нас:

– Да что же вы все путаете! Вы же сами мне говорили, что надо ризу выпросить, я ее и выпросил; а вы, верно, просто не знаете, что вам нужно!

Мы ему, видя, что он восклокотал, с осторожностью было начали объяснять, что нам икона нужна, чтобы подделок сделать, но он не стал нас более слушать, выгнал вон и одну милость показал, что велел изографа к нему послать. Пошел к нему изограф Севастьян, а он точно таким же манером и на него с клокотанием.

– Твои, – говорит, – мужики сами не знают, чего хотят: то просили ризу, говорили, что тебе только надо размеры да абрис снять, а теперь режут, что это им ни к чему не нужно; но я более вам ничего сделать не могу, потому что архиерей образа не дает. Подделывай скорее образ, обложим его ризой и отдадим, а старый мне секретарь выкрадет.

Но Севастьян-изограф, как человек рассудительный, обаял его мягкою речью и отвечает:

– Нет, – говорит, – ваша милость; наши мужички свое дело знают, и нам действительно подлинная икона вперед нужна. Это, – говорит, – только в обиду вам выдуманно, что мы будто по переводам точно по трафаретам пишем. А у нас в подлиннике постановлен закон, но исполнение его дано свободному художеству. По подлиннику, например, повелено писать святого Зосиму или Герасима со львом, а не стеснена фантазия изографа, как при них того льва изобразить? Святого Неофита указано с птицею-голубем писать; Конона Градаря с цветком, Тимофея с ковчезцем, Георгия и Савву Стратилата с копьями, Фотия с корнавкой, а Кондрата с облаками, ибо он облака воспитывал, но всякий изограф волен это изобразить как ему фантазия его художества позволит, и потому опять не могу я знать, как тот ангел писан, которого надо подменить.

Англичанин все это выслушал и выгнал Севастьяна, как и нас, и нет от него никакого дальше решения, и сидим мы, милостивые государи, над рекою, яко враны на нырище, и не знаем, вполне ли отчаиваться или еще чего ожидать, но идти к англичанину уже не смеем, а к тому же и погода стала опять единохарактерна нам: спустилась ужасная оттепель, и засеял дождь, небо среди дня все яко дым коптильный, а ночи темнеющие, даже Еспер-звезда, которая в декабре с тверди небесной не сходит, и та скрылась и ни разу не выглянет... Тюрьма душевная, да и только! И таково наступило Спасово рождество, а в самый сочельник ударил гром, полил

ливень, и льет, и льет без устава два дни и три дни: снег весь смыло и в реку снесло, а на реке лед начал синеть да пучиться, и вдруг его в предпоследний день года всперло и понесло... Мчит его сверху и швыряет крыта на крыгу по мутной волне, у наших построек всю реку затерло: горой содит льдина на льдину, и прядают они и сами звенят, прости, Господи, точно демоны... Как стоят постройки и этакое несподиванное теснение терпят, даже удивительно. Страшные миллионы могло разрушить, но нам не до того; потому что у нас изограф Севастьян, видя, что дела ему никакого нет, вскромолился – складывает пожитки и хочет в иные страны идти, и никак удержать его не можем.

Да не до того было и англичанину, потому что с ним за эту непогоду что-то такое поделалось, что мало с ума не сошел: все, говорят, ходил да у всех спрашивал: «Куда деться? Куда деваться?» И потом вдруг преодолел себя как-то, призывает Луку и говорит:

– Знаешь что, мужик: пойдём вашего ангела красть?

Лука отвечает:

– Согласен.

По Луки замечанию было так, что англичанин точно будто жаждал испытать опасных деяний и положил так, что поедет он завтра в монастырь к епископу, возьмет с собою изографа под видом злотаря и попросит ему икону ангела показать, дабы он мог с нее обстоятельный перевод снять будто для ризы; а между тем как можно лучше в нее взглянется и дома напишет с нее подделок. Затем, когда у настоящего злотаря риза будет готова, ее привезут к нам за реку, а Яков Яковлевич поедет опять в монастырь и скажет, что хочет архиерейское праздничное служение видеть, и войдет в алтарь, и станет в шинели в темном алтаре у жертвенника, где наша икона на окне бережется, и скрадет ее под полу, и, отдав человеку шинель, якобы от жары, велит ее вынести. А на дворе за церковью наш человек чтобы сейчас из той шинели икону взял и летел с нею сюда, на сей бок, и здесь изограф должен в продолжение времени, пока идет всенощная, старую икону со старой доски снять, а подделок вставить, ризой одеть и назад прислать, таким манером, чтобы Яков Яковлевич мог ее опять на окно поставить, как будто ничего не бывало.

– Что же-с? Мы, – говорим, – на все согласны!

– Только смотрите же, – говорит, – помните, что я стану на месте вора и хочу вам верить, что вы меня не выдадите.

Лука Кирилов отвечает:

– Мы, Яков Яковлевич, не того духа люди, чтоб обманывать благодетелей. Я возьму икону и вам обе назад принесу, и настоящую и

подделок.

– Ну а если тебе что-нибудь помешает?

– Что же такое мне может помешать?

– Ну, а вдруг ты умрешь или утонешь.

Лука думает: отчего бы, кажется, быть такому препятствию, а, впрочем, соображает, что действительно трафляется иногда и кладязь копающему обретаать сокровище, а идущему на торг встречать пса беснуема, и отвечает:

– На такой случай я, сударь, при вас такого своего человека оставлю, который, в случае моей неустойки, всю вину на себя примет и смерть претерпит, а не выдаст вас.

– А кто это такой человек, на которого ты так полагаешься?

– Ковач Марой, – отвечает Лука.

– Это старик?

– Да, он не молод.

– Но он, кажется, глуп?

– Нам, мол, его ум не надобен, но зато сей человек достойный дух имеет.

– Какой же, – говорит, – может быть дух у глупого человека?

– Дух, сударь, – отвечает Лука, – бывает не по разуму: дух иде же хочет дышит, и все равно что волос растет у одного долгий и роскошный, а у другого скудный.

Англичанин подумал и говорит:

– Хорошо, хорошо; это все интересные ощущения. Ну, а как он меня выручит, если я попадусь?

– А вот как, – отвечает Лука, – вы будете в церкви у окна стоять, а Марой станет под окном снаружи, и если я к концу службы с иконами не явлюсь, то он стекло разобьет, и в окно полезет и всю вину на себя примет.

Это англичанину очень понравилось.

– Любопытно, – говорит, – любопытно! А почему я должен этому вашему глупому человеку с духом верить, что он сам не убежит?

– Ну уж это, мол, дело взаимоверия.

– Взаимоверия, – повторяет. – Гм, гм, взаимоверия! Я за глупого мужика в каторгу, или он за меня под кнут? Гм, гм! Если он сдержит слово... под кнут... Это интересно.

Послали за Мароем и объяснили ему, в чем дело, а он говорит:

– Ну так что же?

– А ты не убежишь? – говорит англичанин.

А Марой отвечает:

- Зачем?
 - А чтобы тебя плетьюми не били да в Сибирь не сослали.
- А Марой говорит:
- Экося! – да больше и разговаривать не стал.
- Англичанин так и радуется; весь ожил.
- Прелесть, – говорит, – как интересно.

14

Сейчас же за этим переговором началась и акция. Навеслили мы наутро большой хозяйский баркас и перевезли англичанина на городской берег; он там сел с изографом Севастьяном в коляску и покатил в монастырь, а через час с небольшим, смотрим, бежит наш изограф, и в руках у него листок с переводом иконы.

Спрашиваем:

- Видел ли, родной наш, и можешь ли теперь подделок потрафить?
- Видел, – отвечает, – и потрафлю, только разве как бы малость чем живее не сделал, но это не беда, когда икона сюда придет, я тогда в одну минуту яркость цвета усмирю.
- Батюшка, – молим его, – порадей!
- Ничего, – отвечает, – порадею!

И как мы его привезли, он сейчас сел за работу, и к сумеркам у него на холстике поспел ангел, две капли воды как наш запечатленный, только красками как будто немножко свежее.

К вечеру и злотарь новый оклад прислал, потому он еще прежде был по басме заказан.

Наступал самый опасный час нашего воровства.

Мы, разумеется, во всем изготавились и пред вечером помолились и ждем должного мгновения, и только что на том берегу в монастыре в первый колокол ко всенощной ударили, мы сели три человека в небольшую ладью: я, дед Марой да дядя Лука. Дед Марой захватил с собою топор, долото, лом и веревку, чтобы больше на вора походить, и поплыли прямо под монастырскую ограду.

А сумерки в эту пору, разумеется, ранние, и ночь, несмотря на вселуние, стояла претемная, настоящая воровская.

Переехавши, Марой и Лука оставили меня под бережком в лодке, а сами покрались в монастырь. Я же весла в лодку забрал, а сам концом веревки зацепился и нетерпеливо жду, чтобы чуть Лука ногой в лодку

ступит, сейчас плыть. Время мне ужасно долго казалось от томления, как все это выйдет и успеем ли мы все свое воровство покрыть, пока вечерняя и всю ночь пройдет? И кажется мне, что уже времени и невесть сколь много ушло; а темень страшная, ветер рвет, и вместо дождя мокрый снег повалил, и лодку ветром стало поколыхивать, и я, лукавый раб, все мало-помалу угреваясь в свитенке, начал дремать. Только вдруг в лодку толк, и закачало. Я встrepенулcя и вижу, в ней стоит дядя Лука и не своим, передавленным голосом говорит:

– Гребите!

Я беру весла, да никак со страха в уключины не попадаю. Насилу справился и отвалил от берега, да и спрашиваю:

– Добыли, дядя, ангела?

– Со мной он, гребите мощней!

– Расскажи же, – пытаю, – как вы его достали?

– Непорушно достали, как было сказано.

– А успеем ли назад взворотить?

– Должны успеть: еще только великий прокимен вскричали. Гребите!

Куда ты гребешь?

Я оглянулся: ах ты господи! и точно, я не туда гребу: все, кажись, как надлежит, впоперек течения держу, а нашей слободы нет, – это потому, что снег и ветер такой, что страх, и в глаза лепит, и вокруг ревет и качает, а сверху реки точно как льдом дышит.

Ну, однако, милостью Божию мы доставились; соскочили оба с лодки и бегом побежали. Изограф уже готов: действует хладнокровно, но твердо: взял прежде икону в руки, и как народ пред нею упал и поклонился, то он подпустил всех познаменоваться с запечатленным ликом, а сам смотрит и на нее и на свою подделку, и говорит:

– Хороша! только надо ее маленько грязной с шафраном усмирить! – А потом взял икону с ребер в тиски и налячил свою пилку, что приправил в крутой обруч, и... пошла эта пилка порхать. Мы все стоим и того и смотрим, что повредит! Страсть-с! Можете себе вообразить, что ведь спиливал он ее этими своими махиными ручищами с доски тониною не толще как листок самой тонкой писчей бумаги... Долго ли тут до греха: то есть вот на волос покриви пила, так лик и раздерет и насквозь выскочит! Но изограф Севастьян всю эту акцию совершал с такою холодностью и искусством, что, глядя на него, с каждой минутой делалось мирней на душе. И точно, спилил он изображение на тончайшем самом слое, потом в одну минуту этот спилок из краев вырезал, а края опять на ту же доску наклеил, а сам взял свою подделку скомкал, скомкал ее в кулаке и ну ее

трепать об край стола и терхать в долонях, как будто рвал и погубить ее хотел, и наконец глянул сквозь холст на свет, а весь этот новенький списочек как сито сделался в трещинах... Тут Севастьян сейчас взял его и клеил на старую доску в середину краев, а на долонь набрал какой знал темной красочной грязи, замесил ее пальцами со старою олифою и шафраном вроде замазки и ну все это долонью в тот потерханный списочек крепко-накрепко втирать... Живо он все это свершал, и вновь писанная иконка стала совсем старая и как раз такая, как настоящая. Тут этот подделок в минуту проолифили и другие наши люди стали окладом ее одевать, а изограф вправил в приготовленную досточку настоящий выпилок и требует себе скорее лохмот старой поярковой шляпы.

Это начиналась самая трудная акция распечатления.

Подали изографу шляпу, а он ее сейчас перервал пополам на колене и, покрыв ею запечатленную икону, кричит:

– Давай каленый утюг!

В печи, по его приказу, лежал в жару раскален тяжелый портняжий утюг.

Михайлица зацепила его и подает на ухвате, а Севастьян обернул ручку тряпкою, поплевал на утюг, да как дернет им по шляпному обрывку!.. От разу с этого войлока злой смрад повалил, а изограф еще раз, да еще им трет и враз отхватывает. Рука у него просто как молонья летает, и дым от поярка уже столбом валит, а Севастьян знай печет: одной рукой поярочек помалу поворачивает, а другою – утюгом действует, и все раз от разу неспешнее да сильнее налегает, и вдруг отбросил и утюг и поярк и поднял к свету икону, а печати как не бывало: крепкая строгановская олифа выдержала, и сургуч весь свелся, только чуть как будто красноогненная роса осталась на лице, но зато светлбожественный лик весь виден...

Тут кто молится, кто плачет, кто руки изографу лезет целовать, а Лука Кирилов своего дела не забывает и, минутою дорожа, подает изографу его поддельную икону и говорит:

– Ну, кончай же скорей!

А тот отвечает:

– Моя акция кончена, я все сделал, за что брался.

– А печать наложить.

– Куда?

– А вот сюда этому новому ангелу на лик, как у того было.

А Севастьян покачал головою и отвечает:

– Ну нет, я не чиновник, чтоб этакое дело дерзнул сделать.

– Так как же нам теперь быть?

– А уже я, – говорит, – этого не знаю. Надо было вам на это чиновника или немца припасти, а упустили сих деятелей получить, так теперь сами делайте.

Лука говорит:

– Что ты это! да мы ни за что не дерзнем!

А изограф отвечает:

– И я не дерзну.

И идет у нас в эти краткие минуты такая сумятица, как вдруг влетает в избу Якова Яковлевича жена, вся бледная как смерть, и говорит:

– Неужели вы еще не готовы?

Говорим: и готовы и не готовы: важнейшее сделали, но ничтожного не можем.

А она немует по-своему.

– Что же вы ждете? Разве вы не слышите, что на дворе?

Мы прислушались и сами еще хуже ее побледнели: в своих заботах мы на погоду внимания не обращали, а теперь слышим гул: лед идет!

Выскочил я и вижу, он уже сплошной во всю реку прет, как зверье какое бешеное, крыта на крыгу скачет, друг на дружку так и прядают, и шумят, и ломаются.

Я, себя не помня, кинулся к лодкам, их ни одной нет: все унесло... У меня во рту язык осметком стал, так что никак его не сомну, и ребро за ребро опустилось, точно я в землю ухожу... Стою, и не двигаюсь, и голоса не даю.

А пока мы тут во тьме мечемся, англичанка, оставшись там в избе одна с Михайлицей и узнав, в чем задержка, схватила икону и... выскакивает с нею через минуту на крыльцо с фонарем и кричит:

– Натэ, готово!

Мы глянули: у нового ангела на лице печать!

Лука сейчас обе иконы за пазуху и кричит:

– Лодку!

Я открываюсь, что нет лодок, унесло.

А лед, я вам говорю, так табуном и валит, ломится об ледорезы и трясет мост так, что индо слышно, как эти цепи, на что толсты, в добрую половицу, а и то погромыхивают.

Англичанка, как поняла это, всплеснула руками, да как взвизгнет нечеловеческим голосом: «Джемс!» и пала неживая.

А мы стоим и одно чувствуем:

– Где же наше слово? что теперь будет с англичанином? что будет с дедом Мароем?

А в это время в монастыре на колокольне зазвонили третий звон.

Дядя Лука вдруг встrepенулcя и воскликнул к англичанке:

– Очнись, государыня, муж твой цел будет, а разве только старого деда нашего Мароя ветхую кожу станет палач терзать и добродетельное лицо его клеймом обесчестит, но быть тому только разве после моей смерти! – и с этим словом перекрестился, выступил и пошел.

Я вскрикнул:

– Дядя Лука, куда ты? Левонтий погиб, и ты погибнешь! – да и кинулся за ним, чтоб удержатъ, но он поднял из-под ног весло, которое я, приехавши, наземь бросил, и, замахнувшись на меня, крикнул:

– Прочь! или насмерть ушибу!

Господа, довольно я пред вами в своем рассказе открыто себя малодушником признавал, как в то время, когда покойного отрока Левонтия на земле бросил, а сам на древо вскочил, но ей-право, говорю вам, что я бы тут не испугался весла и от дяди Луки бы не отступил, но... угодно вам – верьте, не угодно – нет, а только в это мгновение не успел я имя Левонтия вспомнить, как промежду им и мною во тьме обрисовался отрок Левонтий и рукой погрозил. Этого страха я не выдержал и возринулся назад, а Лука стоит уже на конце цепи и вдруг, утвердившись на ней ногою, молвит сквозь бурю:

– Заводи катавасию!

Головщик наш Арефа тут же стоял и сразу его послушал и ударил: «Отверзу уста», а другие подхватили, и мы катавасию кричим, бури вою сопротивляясь, а Лука смертного страха не боится и по мостовой цепи идет. В одну минуту он один первый пролет перешел и на другой спускается... А далее? далее объяла его тьма, и не видно: идет он или уже упал и крыгами проклятыми его в пучину забуровило, и не знаем мы: молить ли о его спасении или рыдать за упокой его твердой и любочестивой души?

15

Теперь что же-с происходило на том берегу? Преосвященный владыко архиерей своим правилом в главной церкви всеощную совершал, ничего не зная, что у него в это время в приделе крали; наш англичанин Яков Яковлевич с его соизволения стоял в соседнем приделе в алтаре и, скрав нашего ангела, выслал его, как намеревался, из церкви в шинели, и Лука с ним помчался; а дед же Марой, свое слово наблюдая, остался под тем самым окном на дворе и ждет последней минуты, чтобы, как Лука не

возвратится, сейчас англичанин отступит, а Марой разобьет окно и полезет в церковь с ломом и с долотом, как настоящий злодей. Англичанин глаз с него не спускает и видит, что дед Марой исправен стоит на своем послушании, и чуть заметит, что англичанин лицом к окну прилегает, чтобы его видеть, он сейчас кивает, что здесь, мол, я – ответный вор, здесь!

И оба таким образом друг другу свое благородство являют и не позволяют один другому себя во взаимоверии превозвысить, а к этим двум верам третья, еще сильнейшая двизает, но только не знают они, что та, третья, вера творит. Но вот как ударили в последний звон всеобщей, англичанин и приотворил тихонько оконную форточку, чтобы Марой лез, а сам уже готов отступать, но вдруг видит, что дед Марой от него отворотился и не смотрит, а напряженно за реку глядит и твердисловит:

– Перенеси Бог! перенеси Бог, перенеси Бог! – а потом вдруг как вспрыгнет и сам словно пьяный пляшет, а сам кричит:

– Перенес Бог, перенес Бог!

Яков Яковлевич в величайшее отчаяние пришел, думает:

«Ну, конец: глупый старик помешался, и я погиб», – ан смотрит, Марой с Лукою уже обнимаются.

Дед Марой шавчит:

– Я тебя назирал, как ты с фонарями по цепи шел.

А дядя Лука говорит:

– Со мною не было фонарей.

– Откуда же светение?

Лука отвечает:

– Я не знаю, я не видал светения, я только бегом бежал и не знаю, как перебег и не упал... точно меня кто под обе руки нес.

Марой говорит:

– Это ангелы, – я их видел, и зато я теперь не преполовлю дня и умру сегодня.

А Луке как некогда было много говорить, то деду он не отвечает, а скорее англичанину в форточку обе иконы подает. Но тот взял и кажет их назад.

– Что же, – говорит, – печати нет?

Лука говорит:

– Как нет?

– Да нет.

Ну, тут Лука перекрестился и говорит:

– Ну, конечно! Теперь некогда поправлять. Это чудо церковный ангел совершил, и я знаю, к чему оно.

И сразу бросился Лука в церковь, протеснился в алтарь, где владыку разоблачали, и, пав ему в ноги, говорит:

– Так и так, я святотатец, и вот что сейчас совершил: велите меня оковать и в тюрьму посадить.

А владыка в меру чести своя все то выслушал и отвечает:

– Это тебе должно быть внушительно теперь, где вера действеннее: вы, – говорит, – плутовством с своего ангела печать свели, а наш сам с себя ее снял и тебя сюда привел.

Дядя говорит:

– Вижу, владыко, и трепещу. Повели же отдать меня скорее на казнь.

А архиерей отвечает разрешительным словом:

– Властью, мне данною от Бога, прощаю и разрешаю тебя, чадо. Приготовься завтра принять пречистое тело Христово.

Ну, а дальше, господа, я думаю, нечего вам и рассказывать: Лука Кирилов и дед Марой утром ворочаются и говорят:

– Отцы и братие, мы видели славу ангела господствующей церкви и все божественное о ней смотрение в добротолубии ее иерарха и сами к оной освященным елеем примазались и тела и крови Спаса сегодня за обеднею приобщались.

А я как давно, еще с гостинок у старца Памвы, имел влечение воедино одушевиться со всею Русью, воскликнул за всех:

– И мы за тобой, дядя Лука! – да так все в одно стадо, под одного пастыря, как ягнятки, и подобрались, и едва лишь тут только поняли, к чему и куда всех нас наш запечатленный ангел вел, пролия сначала свои стопы и потом распечатлевшись ради любви людей к людям, явленной в сию страшную ночь.

16

Рассказчик кончил. Слушатели еще молчали, но наконец один из них откашлянулся и заметил, что в истории этой все объяснимо, и сны Михайлицы, и видение, которое ей примерещилось впросонье, и падение ангела, которого забегая кошка или собака на пол столкнула, и смерть Левонтия, который болел еще ранее встречи с Памвою, объяснимы и все случайные совпадения слов говорящего какими-то загадками Памвы.

– Понятно и то, – добавил слушатель, – что Лука по цепи перешел с веслом: каменщики известные мастера где угодно ходить и лазить, а весло тот же балансир; понятно, пожалуй, и то, что Марой мог видеть около Луки

светение, которое принял за ангелов. От большой напряженности сильно перезябшему человеку мало ли что могло зарядить в глазах? Я нашел бы понятным даже и то, если бы, например, Марой, по своему предсказанию, не преполовя дня умер...

– Да он и умер-с, – отозвался Марк.

– Прекрасно! И здесь ничего нет удивительного восьмидесятилетнему старику умереть после таких волнений и простуды; но вот что для меня действительно совершенно необъяснимо: как могла исчезнуть печать с нового ангела, которого англичанка запечатала?

– Ну, а это уже самое простое-с, – весело отозвался Марк и рассказал, что они после этого вскоре же нашли эту печать между образом и ризою.

– Как же это могло случиться?

– А так: англичанка тоже не дерзнула ангельский лик портить, а сделала печать на бумажке и подвела ее под края оклада... Оно это было очень умно и искусно ею устроено, но Лука как нес иконы, так они у него за пазухой шевелились, и оттого печать и спала.

– Ну, теперь, значит, и все дело просто и естественно.

– Да, так и многие располагают, что все это случилось самым обыкновенным манером, и даже не только образованные господа, которым об этом известно, но и наша братия, в раздоре остающиеся, над нами смеются, что будто нас англичанка на бумажке под церковь подсунула. Но мы против таковых доводов не спорим: всяк как верит, так и да судит, а для нас все равно, какими путями Господь человека взыщет и из какого сосуда напоит, лишь бы взыскал и жажду единокровия его с отечеством утолил. А вон мужички-вахлачки уже вылезают из-под снега. Отдохнули, видно, сердечные, и сейчас поедут. Авось они и меня подвезут. Васильева ночка прошла. Утрудил я вас и много кое-где с собою выводил. С Новым годом зато имею честь поздравить, и простите, Христа ради, меня, невежу!

Святочные рассказы

Жемчужное ожерелье

Глава первая

В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе – о вымысле, о фабуле. Сожалели, отчего все это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны.

«Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, – говорил Писемский, – и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, – все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому «на долгих», в общем тарантасе или «на сдаточных», – да и ямщик-то тебе попадет подлец, да и соседи нахалы, да и постоянный дворник шельма, а «куфарка» у него неопрятище, – так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит, – изловишь какую-нибудь гадость во щях да эту «куфарку» обругаешь, а она тебя на ответ – вдесятеро иссрамит, так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет, – ну, разумеется, густо и в сочинении выходило; а нынче все это по железнодорожному – бери тарелку, не спрашивай; ешь – пожевать некогда; динь-динь-динь и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда».

Один гость на это заметил, что Писемский оригинален, но неправ, и привел в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, однако же видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудостью содержания.

– Исключение составляют разве только одни его святочные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но в них есть однообразие; однако в этом винить автора нельзя, потому что это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником слишком тесной и правильно ограниченной формы. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы

он был приурочен к событиям святочного вечера – от Рождества до Крещения, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец – чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного, и потому автор неволит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к программе. А через это в святочных рассказах и замечается большая деланность и однообразие.

– Ну, я не совсем с вами согласен, – отвечал третий гость, почтенный человек, который часто умел сказать слово кстати. Потому нам всем и захотелось его слушать.

– Я думаю, – продолжал он, – что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время и нравы.

– Но чем же вы можете доказать ваше мнение? Чтобы оно было убедительно, надо, чтобы вы нам показали такое событие из современной жизни русского общества, где отразился бы и век и современный человек, и между тем все бы это отвечало форме и программе святочного рассказа, то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок, и имело бы не грустное, а веселое окончание.

– А что же? – я могу вам представить такой рассказ, если хотите.

– Сделайте одолжение! Но только помните, что он должен быть истинное происшествие!

– О, будьте уверены, – я расскажу вам происшествие самое истиннейшее, и притом о лицах мне очень дорогих и близких. Дело касается моего родного брата, который, как вам, вероятно, известно, хорошо служит и пользуется вполне им заслуженною доброю репутациею.

Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, что брат рассказчика действительно достойный и прекрасный человек.

– Да, – отвечал тот, – вот я и поведаю речь об этом, как вы говорите, прекрасном человеке.

Глава вторая

Назад тому три года брат приехал ко мне на Святки из провинции, где он тогда служил, и точно его какая муха укусила – приступил ко мне и к моей жене с неотступною просьбою: «Жените меня».

Мы сначала думали, что он шутит, но он серьезно и не с коротким пристаёт: «Жените, сделайте милость! Спасите меня от невыносимой скуки».

одинокости! Опостылела холостая жизнь, надоели сплетни и вздоры провинции, – хочу иметь свой очаг, хочу сидеть вечером с дорогою женою у своей лампы. Жените!»

– Ну да постой же, – говорим, – все это прекрасно и пусть будет по-твоему, – Господь тебя благослови, – женись, но ведь надобно же время, надо иметь в виду хорошую девушку, которая бы пришлась тебе по сердцу и чтобы ты тоже нашел у нее к себе расположение. На все это надо время.

А он отвечает:

– Что же – времени довольно: две недели Святки венчаться нельзя, – вы меня в это время сосватайте, а на Крещение вечером мы обвенчаемся и уедем.

– Э, – говорю, – да ты, любезный мой, должно быть, немножко с ума сошел от скуки. (Слова «психопат» тогда еще не было у нас в употреблении.) Мне, – говорю, – с тобой дурачиться некогда, я сейчас в суд на службу иду, а ты вот тут оставайся с моей женою и фантазируй.

Думал, что все это, разумеется, пустяки или, по крайней мере, что это затея очень далекая от исполнения, а между тем возвращаюсь к обеду домой и вижу, что у них уже дело созрело. Жена говорит мне:

– У нас была Машенька Васильева, просила меня съездить с нею выбрать ей платье, и пока я одевалась, они (то есть брат мой и эта девица) посидели за чаем, и брат говорит: «Вот прекрасная девушка! Что там еще много выбирать – жените меня на ней!»

Я отвечаю жене:

– Теперь я вижу, что брат в самом деле одурел.

– Нет, позволь, – отвечает жена, – отчего же это непременно «одурел»? Зачем же отрицать то, что ты сам всегда уважал?

– Что это такое я уважал?

– Безотчетные симпатии, влечения сердца.

– Ну, – говорю, – матушка, меня на это не подденешь. Все это хорошо вовремя и кстати, хорошо, когда эти влечения вытекают из чего-нибудь ясно сознанный, из признания видимых превосходств души и сердца, а это – что такое... в одну минуту увидел и готов обрешетиться на всю жизнь.

– Да, а ты что же имеешь против Машеньки? – она именно такая и есть, как ты говоришь, – девушка ясного ума, благородного характера и прекрасного и верного сердца. Притом и он ей очень понравился.

– Как! – воскликнул я, – так это ты уж и с ее стороны успела заручиться признанием?

– Признание, – отвечает, – не признание, а разве это не видно? Любовь ведь – это по нашему женскому ведомству, – мы ее замечаем и видим в

самом зародыше.

– Вы, – говорю, – все очень противные свахи: вам бы только кого-нибудь женить, а там что из этого выйдет – это до вас не касается. Побойся последствий твоего легкомыслия.

– А я ничего, – говорит, – не боюсь, потому что я их обоих знаю, и знаю, что брат твой – прекрасный человек и Маша – премилая девушка, и они как дали слово заботиться о счастье друг друга, так это и исполнят.

– Как! – закричал я, себя не помня, – они уже и слово друг другу дали?

– Да, – отвечает жена, – это было пока иносказательно, но понятно. Их вкусы и стремления сходятся, и я вечером поеду с твоим братом к ним, – он, наверно, понравится старикам, и потом...

– Что же, что потом?

– Потом – пускай как знают; ты только не мешайся.

– Хорошо, – говорю, – хорошо, – очень рад в подобную глупость не мешаться.

– Глупости никакой не будет.

– Прекрасно.

– А будет все очень хорошо: они будут счастливы!

– Очень рад! Только не мешает, – говорю, – моему братцу и тебе знать и помнить, что отец Машеньки всем известный богатый сквалыжник.

– Что же из этого? Я этого, к сожалению, и не могу оспаривать, но это нимало не мешает Машеньке быть прекрасною девушкой, из которой выйдет прекрасная жена. Ты, верно, забыл то, над чем мы с тобою не раз останавливались: вспомни, что у Тургенева – все его лучшие женщины, как на подбор, имели очень непочтенных родителей.

– Я совсем не о том говорю. Машенька действительно превосходная девушка, а отец ее, выдавая замуж двух старших ее сестер, обоих зятьев обманул и ничего не дал, – и Маше ничего не даст.

– Почем это знать? Он ее больше всех любит.

– Ну, матушка, держи карман шире: знаем мы, что такое их «особенная» любовь к девушке, которая на выходе. Всех обманет! Да ему и не обмануть нельзя – он на том стоит, и состоянию-то своему, говорят, тем начало положил, что деньги в большой рост под залоги давал. У такого-то человека вы захотели любви и великодушия доискаться. А я вам то скажу, что первые его два зятя оба сами пройды, и если он их надул и они теперь все во вражде с ним, то уж моего братца, который с детства страдал самую утрированную деликатностью, он и подавно оставит на бобах.

– То есть как это, – говорит, – на бобах?

– Ну, матушка, это ты дурачишься.

– Нет, не дурачусь.
– Да разве ты не знаешь, что такое значит «оставить на бобах»? Ничего не даст Машеньке, – вот и вся недолга.
– Ах, вот это-то!
– Ну, конечно.
– Конечно, конечно! Это быть может, но только я, – говорит, – никогда не думала, что по-твоему – получить путную жену, хотя бы и без приданого, – это называется «остаться на бобах».

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчас – в чужой огород, а вам по соседству шпильку в бок...

– Я говорю вовсе не о себе...
– Нет, отчего же?..
– Ну, это странно, та chere!
– Да отчего же странно?
– Оттого странно, что я этого на свой счет не говорил.
– Ну, думал.
– Нет – совсем и не думал.
– Ну, воображал.
– Да нет же, черт возьми, ничего я не воображал!
– Да чего же ты кричишь?!
– Я не кричу.
– И «черти»... «черт»... Что это такое?
– Да потому, что ты меня из терпения выводил.
– Ну вот то-то и есть! А если бы я была богата и принесла с собою тебе приданое...
– Э-ге-ге!..

Этого уже я не выдержал и, по выражению покойного поэта Толстого, «начав – как бог, окончил – как свинья». Я принял обиженный вид, – потому, что и в самом деле чувствовал себя несправедливо обиженным, – и, покачав головою, повернулся и пошел к себе в кабинет. Но, затворяя за собою дверь, почувствовал неодолимую жажду отмщения – снова отворил дверь и сказал:

– Это свинство!
А она отвечает:
– Mersi, мой милый муж.

Глава третья

Черт знает, что за сцена! И не забудьте – это после четырех лет самой счастливой и ничем ни на минуту не возмущенной супружеской жизни!.. Досадно, обидно – и непереносно! Что за вздор такой! И из-за чего!.. Все это набаламутил брат. И что мне такое, что я так кипячусь и волнуюсь! Ведь он в самом деле взрослый, и не вправе ли он сам обсудить, какая особа ему нравится и на ком ему жениться?.. Господи – в этом сыну родному нынче не укажешь, а то, чтобы еще брат брата должен был слушаться... Да и по какому, наконец, праву?.. И могу ли я, в самом деле, быть таким провидцем, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чем кончится?.. Машенька действительно превосходная девушка, а моя жена разве не прелестная женщина?.. Да и меня, слава богу, никто негодяем не называл, а между тем вот мы с него, после четырех лет счастливой, ни на минуту ничем не смущенной жизни, теперь разобрались, как портной с портнихой... И все из-за пустяков, из-за чужой шутовской прихоти...

Мне стало ужасно совестно перед собою и ужасно ее жалко, потому что я ее слова уже считал ни во что, а за все винил себя, и в таком грустном и недовольном настроении уснул у себя в кабинете на диване, закутавшись в мягкий ватный халат, выстеганный мне собственными руками моей милой жены...

Подкупающая это вещь – носильное удобное платье, сработанное мужу жениными руками! Так оно хорошо, так мило и так вовремя и не вовремя напоминает и наши вины и те драгоценные ручки, которые вдруг захочется расцеловать и просить в чем-то прощения.

– Прости меня, мой ангел, что ты меня, наконец, вывела из терпения. Я вперед не буду.

И мне, признаться, до того захотелось поскорее идти с этой просьбой, что я проснулся, встал и вышел из кабинета.

Смотрю – в доме везде темно и тихо.

Спрашиваю горничную:

– Где же барыня?

– А они, – отвечает, – уехали с вашим братцем к Марьи Николаевны отцу. Я вам сейчас чай приготовлю.

«Какова! – думаю, – значит, она своего упорства не оставляет, – она таки хочет женить брата на Машеньке... Ну пусть их делают, как знают, и пусть их Машенькин отец надует, как он надул своих старших зятьев. Да даже еще и более, потому что те сами жохи, а мой брат – воплощенная честность и деликатность. Тем лучше, – пусть он их надует – и брата и мою жену. Пусть она обожжется на первом уроке, как людей сватать!»

Я получил из рук горничной стакан чаю и уселся читать дело, которое завтра начиналось у нас в суде и представляло для меня немало трудностей.

Занятие это увлекло меня далеко за полночь, а жена моя с братом возвратились в два часа и оба превеселые. Жена говорит мне:

– Не хочешь ли холодного ростбифа и стакан воды с вином? а мы у Васильевых ужинали.

– Нет, – говорю, – покорно благодарю.

– Николай Иванович расщедрился и отлично нас покормил.

– Вот как!

– Да – мы превесело провели время и шампанское пили.

– Счастливыцы! – говорю, а сам думаю: «Значит, эта бестия, Николай Иванович, сразу раскусил, что за теленок мой брат, и дал ему пошла недаром. Теперь он его будет ласкать, пока там жениховский рученец кончится, а потом – быть бычку на обрывочку».

А чувства мои против жены снова озлобились, и я не стал просить у нее прощенья в своей невинности. И даже если бы я был свободен и имел досуг вникать во все перипетии затеянной ими любовной игры, то не удивительно было б, что я снова не вытерпел бы – во что-нибудь вмешался, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы; но, по счастью, мне было некогда. Дело, о котором я вам говорил, заняло нас на суде так, что мы с ним не чаяли освободиться и к празднику, а потому я домой являлся только поесть да выспаться, а все дни и часть ночей проводил пред алтарем Фемиды.

А дома у меня дела не ждали, и когда я под самый сочельник явился под свой кров, довольный тем, что освободился от судебных занятий, меня встретили тем, что пригласили осмотреть роскошную корзину с дорогими подарками, подносимыми Машеньке моим братом.

– Это что же такое?

– А это дары жениха невесте, – объяснила мне моя жена.

– Ага! так вот уже как! Поздравляю.

– Как же! Твой брат не хотел делать формального предложения, не переговорив еще раз с тобою, но он спешит со своей свадьбой, а ты, как назло, сидел все в своем противном суде. Ждать было невозможно, и они помолвлены.

– Да и прекрасно, – говорю, – незачем было меня и ждать.

– Ты, кажется, остришь?

– Нисколько я не острою.

– Или иронизируешь?

– И не иронизирую.

– Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря на все твое карканье, они будут пресчастливы.

– Конечно, – говорю, – уж если ты ручаешься, то будут... Есть такая поговорка: «Кто думает три дни, тот выберет злыдни». Не выбирать – вернее.

– А что же, – отвечает моя жена, закрывая корзинку с дарами, – ведь это вы думаете, будто вы нас выбираете, а в существе ведь все это вздор.

– Почему же это вздор? Надеюсь, не девушки выбирают женихов, а женихи к девушкам сватаются.

– Да, сватаются – это правда, но выбора, как осмотрительного или рассудительного дела, никогда не бывает.

Я покачал головою и говорю:

– Ты бы подумала о том, что ты такое говоришь. Я вот тебя, например, выбрал – именно из уважения к тебе и сознавая твои достоинства.

– И врешь.

– Как вру?!

– Врешь – потому что ты выбрал меня совсем не за достоинства.

– А за что же?

– За то, что я тебе понравилась.

– Как, ты даже отрицаешь в себе достоинства?

– Нимало – достоинства во мне есть, а ты все-таки на мне не женился бы, если бы я тебе не понравилась.

Я чувствовал, что она говорит правду.

– Однако же, – говорю, – я целый год ждал и ходил к вам в дом. Для чего же я это делал?

– Чтобы смотреть на меня.

– Неправда – я изучал твой характер.

Жена расхохоталась.

– Что за пустой смех!

– Нисколько не пустой. Ты ничего, мой друг, во мне не изучал, и изучать не мог.

– Это почему?

– Сказать?

– Сделай милость, скажи!

– Потому, что ты был в меня влюблен.

– Пусть так, но это мне не мешало видеть твои душевные свойства.

– Мешало.

– Нет, не мешало.

– Мешало, и всегда всякому будет мешать, а потому это долгое

изучение и бесполезно. Вы думаете, что, влюбившись в женщину, вы на нее смотрите с рассуждением, а на самом деле вы только глазете с воображением.

– Ну... однако, – говорю, – ты уж это как-то... очень реально.

А сам думаю: «Ведь это правда!»

А жена говорит:

– Полно думать, – худа не вышло, а теперь переодевайся скорее и поедем к Машеньке: мы сегодня у них встречаем Рождество, и ты должен принести ей и брату свое поздравление.

– Очень рад, – говорю. И поехали.

Глава четвертая

Там было подношение даров и принесение поздравлений, и все мы порядочно упились веселым нектаром Шампани.

Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда. Оставалось только поддерживать во всех веру в счастье, ожидающее обрученных, и пить шампанское. В этом и проходили дни и ночи то у нас, то у родителей невесты.

В таком настроении долго ли время тянется?

Не успели мы оглянуться, как уже налетел и канун Нового года. Ожидания радостей усиливаются. Свет целый желает радостей, – и мы от людей не отстали. Встретили мы Новый год опять у Машенькиных родных с таким, как деды наши говорили, «мочимордием», что оправдали дедовское речение: «Руси есть веселие пити». Одно было не в порядке. Машенькин отец о приданом молчал, но зато сделал дочери престранный и, как потом я понял, совершенно непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье... Мы, мужчины, взглянув на эту вещь, даже подумали очень хорошо.

«Ого-го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена с оных давних, благих дней, когда богатые люди из знати еще в ломбарды вещей не посылали, а при большой нужде в деньгах охотнее веряли свои ценности тайным ростовщикам вроде Машенькиного отца».

Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно живой. Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидью, ряснами, – назади начато небольшим, но самым скатным кафимским зерном, а потом все крупней и крупнее бурмицкое, и, наконец, что далее книзу, то пошли как бобы, и в самой середине три черные перла поражающей величины и самого

лучшего блеска. Прекрасный, ценный дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего брата. Словом сказать – мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке прекрасным, и нам понравилось также и слово, произнесенное стариком при подаче ожерелья. Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, сказал: «Вот тебе, доченька, штука с наговором: ее никогда ни тля не петлит, ни вор не украдет, а если и украдет, то не обрадуется. Это – вечное».

Но у женщин ведь на все свои точки зрения, и Машенька, получив ожерелье, заплакала, а жена моя не выдержала и, улучив удобную минуту, даже сделала Николаю Ивановичу у окна выговор, который он по праву родства выслушал. Выговор ему за подарок жемчуга следовал потому, что жемчуг знаменует и предвещает слезы. А потому жемчуг никогда для новогодних подарков не употребляется.

Николай Иванович, впрочем, ловко отшутился.

– Это, – говорит, – во-первых, пустые предрассудки, и если кто-нибудь может подарить мне жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я ее сейчас возьму. Я, сударыня, тоже в свое время эти тонкости проходил, и знаю, чего нельзя дарить. Девушке нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятиям персов, есть кости людей, умерших от любви, а замужним дамам нельзя дарить аметиста *avec fleches d'Amour*, но тем не менее я пробовал дарить такие аметисты, и дамы брали...

Моя жена улыбнулась. А он говорит:

– Я и вам попробую подарить. А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчуг жемчугу рознь. Не всякий жемчуг добывается со слезами. Есть жемчуг персидский, есть из Красного моря, а есть перлы из тихих вод – *d'eau douce*, тот без слезы берут. Сентиментальная Мария Стюарт только такой и носила *perle d'eau douce*, из шотландских рек, но он ей не принес счастья. Я знаю, что надо дарить, – то я и дарю моей дочери, а вы ее пугаете. За это я вам не подарю ничего *avec fleches d'Amour*, а подарю вам хладнокровный «лунный камень». Но ты, мое дитя, не плачь и выбрось из головы, что мой жемчуг приносит слезы. Это не такой. Я тебе на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебе никаких предрассудков бояться нечего...

Так это и успокоилось, и брата с Машенькой после Крещенья перевенчали, а на следующий день мы с женою поехали навестить молодых.

Глава пятая

Мы застали их вставшими и в необыкновенно веселом расположении духа. Брат сам открыл нам двери помещения, взятого им для себя, ко дню свадьбы, в гостинице, встретил нас весь сияя и покатываясь со смеху.

Мне это напомнило один старый роман, где новобрачный сошел с ума от счастья, и я это брату заметил, а он отвечает:

– А что ты думаешь, ведь со мною в самом деле произошел такой случай, что возможно своему уму не верить. Семейная жизнь моя, начавшаяся сегодняшним днем, принесла мне не только ожидаемые радости от моей милой жены, но также неожиданное благополучие от тестя.

– Что же такое еще с тобою случилось?

– А вот входите, я вам расскажу.

Жена мне шепчет:

– Верно, старый негодяй их надул.

Я отвечаю:

– Это не мое дело.

Входим, а брат подает нам открытое письмо, полученное на их имя рано по городской почте, и в письме читаем следующее:

«Предрассудок насчет жемчуга ничем вам угрожать не может: этот жемчуг фальшивый».

Жена моя так и села.

– Вот, – говорит, – негодяй!

Но брат ей показал головою в ту сторону, где Машенька делала в спальне свой туалет, и говорит:

– Ты неправ: старик поступил очень честно. Я получил это письмо, прочел его и рассмеялся... Что же мне тут печального? я ведь приданого не искал и не просил, я искал одну жену, стало быть, мне никакого огорчения в том нет, что жемчуг в ожерелье не настоящий, а фальшивый. Пусть это ожерелье стоит не тридцать тысяч, а просто триста рублей, – не все ли равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива... Одно только меня озабочивало, как это сообщить Маше? Над этим я задумался и сел, оборотясь лицом к окну, а того не заметил, что дверь забыл запереть. Через несколько минут оборачиваюсь и вдруг вижу, что у меня за спиной стоит тесть и держит что-то в руке в платочке.

«Здравствуй, – говорит, – зятюшка!»

Я вскочил, обнял его и говорю:

«Вот это мило! мы должны были к вам через час ехать, а вы сами... Это против всех обычаев... мило и дорого».

«Ну что, – отвечает, – за счеты! Мы свои. Я был у обедни, – помолился за вас и вот просвиру вам привез».

Я его опять обнял и поцеловал.

«А ты письмо мое получил?» – спрашивает.

«Как же, – говорю, – получил».

И я сам рассмеялся.

Он смотрит.

«Чего же, – говорит, – ты смеешься?»

«А что же мне делать? Это очень забавно».

«Забавно?»

«Да как же».

«А ты подай-ка мне жемчуг».

Ожерелье лежало тут же на столе в футляре, – я его и подал.

«Есть у тебя увеличительное стекло?»

Я говорю: «Нет».

«Если так, то у меня есть. Я по старой привычке всегда его при себе имею. Изволь посмотреть на замок под собачку».

«Для чего мне смотреть?»

«Нет, ты посмотри. Ты, может быть, думаешь, что я тебя обманул».

«Вовсе не думаю».

«Нет – смотри, смотри!»

Я взял стекло и вижу – на замке, на самом скрытном месте микроскопическая надпись французскими буквами: «Бургильон».

«Убедился, – говорит, – что это действительно жемчуг фальшивый?»

«Вижу».

«И что же ты мне теперь скажешь?»

«То же самое, что и прежде. То есть: это до меня не касается, и вас только буду об одном просить...»

«Проси, проси!»

«Позвольте не говорить об этом Маше».

«Это для чего?»

«Так...»

«Нет, в каких именно целях? Ты не хочешь ее огорчить?»

«Да – это между прочим».

«А еще что?»

«А еще то, что я не хочу, чтобы в ее сердце хоть что-нибудь шевельнулось против отца».

«Против отца?»

«Да».

«Ну, для отца она теперь уже отрезанный ломоть, который к караваяю не пристанет, а ей главное – муж...»

«Никогда, – говорю, – сердце не заезжий двор: в нем тесно не бывает. К отцу одна любовь, а к мужу – другая, и кроме того... муж, который желает быть счастливым, обязан заботиться, чтобы он мог уважать свою жену, а для этого он должен беречь ее любовь и почтение к родителям».

«Ага! Вот ты какой практик!»

И стал молча пальцами по табуретке барабанить, а потом встал и говорит:

«И, любезный зять, наживал состояние своими трудами, но очень разными средствами. С высокой точки зрения они, может быть, не все очень похвальны, но такое мое время было, да я и не умел наживать иначе. В людей я не очень верю, и про любовь только в романах слышал, как читают, а на деле я все видел, что все денег хотят. Двум зятьям я денег не дал, и вышло верно: они на меня злы и жен своих ко мне не пускают. Не знаю, кто из нас благороднее – они или я? Я денег им не даю, а они живые сердца портят. А я им денег не дам, а вот тебе возьму да и дам! Да! И вот, даже сейчас дам!»

И вот извольте смотреть!

Брат показал нам три билета по пятидесяти тысяч рублей.

– Неужели, – говорю, – все это твоей жене?

– Нет, – отвечает, – он Маше дал пятьдесят тысяч, а я ему говорю:

«Знаете, Николай Иванович, – это будет щекотливо... Маше будет неловко, что она получит от вас приданое, а сестры ее – нет... Это непременно вызовет у сестер к ней зависть и неприязнь... Нет, бог с ними, – оставьте у себя эти деньги и... когда-нибудь, когда благоприятный случай примирит вас с другими дочерьми, тогда вы дадите всем поровну. И вот тогда это принесет всем нам радость... А одним нам... не надо!»

Он опять встал, опять прошелся по комнате и, остановившись против двери спальни, крикнул:

«Марья!»

Маша уже была в пеньюаре и вышла.

«Поздравляю, – говорит, – тебя».

Она поцеловала его руку.

«А счастлива быть хочешь?»

«Конечно, хочу, папа, и... надеюсь».

«Хорошо... Ты себе, брат, хорошего мужа выбрала!»

«Я, папа, не выбирала. Мне его бог дал».

«Хорошо, хорошо. Бог дал, а я придам: я тебе хочу прибавить счастья. – Вот три билета, все равные. Один тебе, а два твоим сестрам. Раздай им сама – скажи, что ты даришь...»

«Папа!»

Маша бросилась ему сначала на шею, а потом вдруг опустилась на землю и обняла, радостно плача, его колена. Смотрю – и он заплакал.

«Встань, встань! – говорит. – Ты нынче, по народному слову, «княгиня» – тебе неприлично в землю мне кланяться».

«Но я так счастлива... за сестер!..»

«То-то и есть... И я счастлив!.. Теперь можешь видеть, что нечего тебе было бояться жемчужного ожерелья.

Я пришел тебе тайну открыть: подаренный мною тебе жемчуг – фальшивый, меня им давно сердечный приятель надул, да ведь какой, – не простой, а слитый из Рюриковичей и Гедиминовичей. А вот у тебя муж простой души, да истинной: такого надуть невозможно – душа не стерпит!»

– Вот вам весь мой рассказ, – заключил собеседник, – и я, право, думаю, что, несмотря на его современное происхождение и на его невывышленность, он отвечает и программе и форме традиционного святочного рассказа.

1885

Неразменный рубль

Глава первая

Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, т. е. такой рубль, который, сколько раз его ни выдавай, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную без единой отметины кошку и нести ее продавать рождественскою ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу.

Здесь надо стать, пожать кошку посильнее, так, чтобы она замяукала, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль, – ни больше, ни меньше как один

серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль, и когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный, – то есть сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь, – он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, сто рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль.

Конечно, это поверье пустое и недостаточное; но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил.

Глава вторая

Раз, во времена моего детства, няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе «неразменный рубль». Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку; но зато их ждут и самые большие радости... Сколько можно закупить прекрасных вещей за беспереводный рубль! Что бы я наделал, если бы мне попался такой рубль! Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.

Я знал, что на свете бывают пряники желтые, с патокою, и белые пряники – с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое лакомство, которое называется «резь», или лапша, или еще проще – «шмотья», бывают орехи простые и каленые; а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видал картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог купить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки и она решила подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что он имеет одно волшебное, очень капризное свойство.

– Какое? – спросил я.

– А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться.

Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно.

Глава третья

Няня не обманула: ночь пролетела как краткое мгновение, которого я и не заметил, и бабушка уже стояла над моею кроваткою в своем большом чепце с рюшевыми мармотками и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре.

– Ну, вот тебе беспереводный рубль, – сказала она. – Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке, отцу Василию, пить чай, а ты один, – совершенно один, – можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоём же кармане.

– Да, – говорю, – я уже все знаю.

А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает:

– Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство, – его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразменный рубль не переведется в твоём кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные, но раз, что ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность – твой рубль в то же мгновение исчезнет.

– О, – говорю, – бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали; но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно.

Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается; но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении.

– Прекрасно, – сказала бабушка, – но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала.

– Будьте покойны. Вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане.

– Очень рада, – посмотрим. Но ты все-таки не будь самонадеян:

помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь.

– В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?

Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом.

– О, моя милая бабушка, – отвечал я, – вам и не будет надобности давать мне советы, – я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно.

– В таком разе идем, – и бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придет к нему попозже, а пока мы отправились с нею на ярмарку.

Погода была хорошая, – умеренный морозец, с маленькой влажностью; в воздухе пахло крестьянской белой онучею, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что у кого есть лучшего. Мальчишки из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребяташки, которым грошей не давали, стояли под плетнем и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душою в общей гармонии, и... я посмотрел на бабушку...

Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение: я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек, да еще мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль целехонек и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребяташки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала:

– Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своею возможностью. И в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман попробуй, где твой неразменный

рубль?

Я опустил руку, и... мой неразменный рубль был в моем кармане.

– Ага, – подумал я, – теперь я уже понял, в чем дело, и могу действовать смелее.

Глава пятая

Я подошел к лавочке, где были ситцы и платки, и накупил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по малиновому головному платку; и каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, – мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочки, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, сробел; но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки благополучно оказался в моем кармане.

– Невесте идет принарядиться, – сказала бабушка, – это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы ее обрадовать, – от радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту.

Потом я купил и себе очень много сладостей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтирь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прийтись по вкусу племенному теленку, который жил в одной избе со скотницею. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени, и занялся тем, что в счастливый час досуга отжевал углы у всех листов «Псалтиря». Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение, и очень об этом скорбела.

Я был уверен, что купить для нее новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было: когда я опустил руку в карман, рубль был снова на своем месте.

Я стал покупать шире и больше, – я брал все, что, по моим соображениям, было нужно, и накупил даже вещи слишком рискованные, – так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке – гармонию. Рубль, однако, все был дома, а на лицо бабушки я уж не смотрел и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам был центр всего, – на меня все смотрели, за

мною все шли, обо мне говорили.

– Смотрите, каков наш барчук Миколаша! Он один может скупить целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль.

И я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мною ходили и все обо мне говорили – как я умен, богат и добр.

Мне стало беспокойно и скучно.

Глава шестая

А в это самое время, – откуда ни возьмись, – ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить:

– Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С ним не штука удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить.

– Да, если это будет вещь ненужная, – так я ее, разумеется, не куплю.

– Как это «ненужная»? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сладостей да орехов, а то вы все покупали полезные вещи для других, но вон как эти другие помнят ваши благодеяния: вас уж теперь все позабыли.

Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим, действительно, только вдвоем, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного, сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое, тусклое блистание.

Это было все, что длинный, сухой человек имел в себе привлекательного, и, однако, за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы.

– Я ничего не вижу в этом хорошего, – сказал я моему новому спутнику.

– Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, – за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новою книжкой. А о ребятишках с свистульками уже и

говорить нечего.

Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека с стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу.

Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось все это ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками.

– И вы думаете, что я не могу сделаться больше его?

– Да, я это думаю, – отвечал пузан.

– Ну, так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь! – воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал: – Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?

Глава седьмая

Человек со стекляшками повернулся перед солнцем так, что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал:

– Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит.

– Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет.

Он очень лукаво улыбнулся и молвил:

– Однако вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем возрасте, – вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я его отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блеснуть на минутку, и это всем очень нравится.

– Прекрасно, – отвечал я, – я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорей ваш жилет.

– Нет, прежде извольте отсчитать деньги.

– Хорошо.

Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль, потом снова опустил руку во второй раз, но... карман мой был пуст... Мой неразменный рубль уже не возвратился... он пропал... он исчез... его не было, и на меня все смотрели и смеялись.

Я горько заплакал и... проснулся...

Глава восьмая

Было утро; у моей кровати стояла бабушка, в ее большом белом чепце с рюшевыми мармотками, и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила.

Я понял, что все виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал.

– Что же, – сказала бабушка, – сон твой хорош, – особенно если ты захочешь понять его, как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаенный смысл. Неразменный рубль – по-моему, это талант, который Провидение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутиях четырех дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль – это есть сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу людям, в чем для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив – чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке сверх теплого полушубка – есть суета, потому что жилет сверх полушубка не нужен, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделавши кое-что – очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог еще сделать, владея безрасходным рублем, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоём сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что не нужные стеклышки, и – рубль твой растаял. Этому и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедem в церковь и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоём сновидении.

– Кроме одного, моя дорогая.

Бабушка улыбнулась и сказала:

– Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета со стекловидными пуговицами.

– Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупал во сне для самого себя.

Бабушка подумала и сказала:

– Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но... если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то... я тебя понимаю.

И вдруг мы с нею оба обнялись и, ничего более не говоря друг другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это мною было сделано, то сердце исполнилось такою радостью, какой я не испытывал до того еще ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом – полное счастье, при котором ничего больше не хочешь.

Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду.

1883

Зверь

И звери внимаху святое слово.

Житие старца Серафима

Глава первая

Отец мой был известный в свое время следователь. Ему поручали много важных дел, и потому он часто отлучался от семейства, а дома оставались мать, я и прислуга.

Матушка моя тогда была еще очень молода, а я – маленький мальчик.

При том случае, о котором я теперь хочу рассказать, мне было всего только пять лет.

Была зима, и очень жестокая. Стояли такие холода, что в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченелые. Отец мой находился об эту пору по служебным обязанностям в Ельце и не обещал приехать домой даже к Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов, мать не взяла с собою в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, у моей тетки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность и неумолимость, и он об этом нимало не сожалел, а, напротив, даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением мужественной

силы и непреклонной твердости духа.

Такое же мужество и твердость он стремился развить в своих детях, из которых один сын был мне ровесник.

Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел «развить мужество», и один раз, когда мне было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы.

Понятно, что я в доме такого хозяина гостил неохотно и с немалым страхом, но мне, повторяю, тогда было пять лет, и мои желания не принимались в расчет при соображении обстоятельств, которым приходилось подчиняться.

Глава вторая

В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башней, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным; но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, то есть была устроена так называемая «Эолова арфа». Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сонм, пораженных страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе... Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов.

В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения.

Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери.

Глава третья

Покойный дядя был страстный любитель псовой охоты. Он ездил с борзыми и травил волков, зайцев и лисиц. Кроме того, в его охоте были особенные собаки, которые брали медведей. Этим собак называли «пьявками». Они впивались в зверя так, что их нельзя было от него оторвать. Случалось, что медведь, в которого впивалась зубами пиявка, убивал ее ударом своей ужасной лапы или разрывал ее пополам, но никогда не бывало, чтобы пиявка отпала от зверя живая.

Теперь, когда на медведей охотятся только облавами или с рогатиной, порода собак-пьявок, кажется, совсем уже перевелась в России; но в то время, о котором я рассказываю, они были почти при всякой хорошо собранной, большой охоте. Медведей в нашей местности тогда тоже было очень много, и охота за ними составляла большое удовольствие.

Когда случалось овладевать целым медвежьим гнездом, то из берлоги брали и привозили маленьких медвежат. Их обыкновенно держали в большом каменном сарае с маленькими окнами, проделанными под самой крышей. Окна эти были без стекол, с одними толстыми, железными решетками. Медвежата, бывало, до них вскарабкивались друг по дружке и висели, держась за железо своими цепкими, когтистыми лапами. Только таким образом они и могли выглядывать из своего заключения на вольный свет божий.

Когда нас выводили гулять перед обедом, мы больше всего любили ходить к этому сараю и смотреть на выставившиеся из-за решеток смешные мордочки медвежат. Немецкий гувернер Кольберг умел подавать им на конце палки кусочки хлеба, которые мы припасали для этой цели за своим завтраком.

За медведями смотрел и кормил их молодой доезжачий, по имени Ферапонт; но, как это имя было трудно для простонародного выговора, то его произносили «Храпон», или еще чаще «Храпошка». Я его очень хорошо помню: Храпошка был среднего роста, очень ловкий, сильный и смелый парень лет двадцати пяти. Храпон считался красавцем – он был бел, румян, с черными кудрями и с черными же большими глазами навывкате. К тому же он был необычайно смел. У него была сестра Аннушка, которая состояла в

поднянях, и она рассказывала нам презанимательные вещи про смелость своего удалого брата и про его необыкновенную дружбу с медведями, с которыми он зимою и летом спал вместе в их сарае, так что они окружали его со всех сторон и клали на него свои головы, как на подушку.

Перед домом дяди, за широким круглым цветником, окруженным расписною решеткою, были широкие ворота, а против ворот посреди куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или, как его называли, «беседочка».

Из числа пленных медвежат всегда отбирали одного «умного», который представлялся наиболее смышленным и благонадежным по характеру. Такого отделяли от прочих собратий, и он жил на воле, то есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, но главным образом он должен был содержать караульный пост у столба перед воротами. Тут он и проводил большую часть своего времени, или лежа на соломе у самой мачты, или же взбирался по ней вверх до «беседки» и здесь сидел или тоже спал, чтобы к нему не приставали ни докучные люди, ни собаки.

Жить такую привольною жизнью могли не все медведи, а только некоторые, особенно умные и кроткие, и то не во всю их жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своих зверских, неудобных в общежитии наклонностей, то есть пока они вели себя смиренно и не трогали ни кур, ни гусей, ни телят, ни человека.

Медведь, который нарушал спокойствие жителей, немедленно же был осуждаем на смерть, и от этого приговора его ничто не могло избавить.

Глава четвертая

Отбирать «смышленного медведя» должен был Храпон. Так как он больше всех обращался с медвежатами и почитался большим знатоком их природы, то понятно, что он один и мог это делать. Храпон же и отвечал за то, если сделает неудачный выбор, – но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя, которому было дано необыкновенное имя: медведей в России вообще зовут «мишками», а этот носил испанскую кличку «Сганарель». Он уже пять лет прожил на свободе и не сделал еще ни одной «шалости». Когда о медведе говорили, что «он шалит», это значило, что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь нападением.

Тогда «шалуна» сажали на некоторое время в «яму», которая была

устроена на широкой поляне между гумном и лесом, а через некоторое время его выпускали (он сам вылезал по бревну) на поляну и тут его травили «молодыми пъявками» (то есть подростлыми щенками медвежьих собак). Если же щенки не умели его взять и была опасность, что зверь уйдет в лес, то тогда стоявшие в запасном «секрете» два лучших охотника бросались на него с отборными опытными сворами, и тут делу наставал конец.

Если же эти собаки были так неловки, что медведь мог прорваться «к острову» (то есть к лесу), который соединялся с обширным брянским полесьем, то выдвигался особый стрелок с длинным и тяжелым кухенрейтеровским штуцером и, прицелясь «с сошки», посылал медведю смертельную пулю.

Чтобы медведь когда-либо ушел от всех этих опасностей, такого случая еще никогда не было, да страшно было и подумать, если бы это могло случиться: тогда всех в том виноватых ждали бы смертоносные наказания.

Глава пятая

Ум и солидность Сганареля сделали то, что описанной потехи или медвежьей казни не было уж целые пять лет. В это время Сганарель успел вырасти и сделался большим, матерым медведем, необыкновенной силы, красоты и ловкости. Он отличался круглою, короткою мордою и довольно стройным сложением, благодаря которому напоминал более колоссального грифона или пуделя, чем медведя. Зад у него был суховат и покрыт невысокою лоснящеюся шерстью, но плечи и загорбок были сильно развиты и покрыты длинною и мохнатою растительностью. Умен Сганарель был тоже как пудель и знал некоторые замечательные для зверя его породы приемы: он, например, отлично и легко ходил на двух задних лапах, подвигаясь вперед передом и задом, умел бить в барабан, маршировал с большою палкою, раскрашенною в виде ружья, а также охотно и даже с большим удовольствием таскал с мужиками самые тяжелые кули на мельницу и с своеобразным шиком пресмешно надевал себе на голову высокую мужичью островерхую шляпу с павлиным пером или с соломенным пучком вроде султана.

Но пришла роковая пора – звериная натура взяла свое и над Сганарелем. Незадолго перед моим прибытием в дом дяди тихий Сганарель вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была

другой тяжче.

Программа преступных действий у Сганареля была та же самая, как и у всех прочих: для первоученки он взял и оторвал крыло гусю; потом положил лапу на спину бежавшему за маткою жеребенку и переломил ему спину; а наконец: ему не понравились слепой старик и его поводырь, и Сганарель принялся катать их по снегу, причем пооттоптал им руки и ноги.

Слепца с его поводырем взяли в больницу, а Сганареля велели Храпону отвести и посадить в яму, откуда был только один выход – на казнь...

Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе Сганареля в яму, в которой он должен был ожидать смертной казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу Сганареля «больнички», или кольца, и не употреблял против него ни малейшего насилия, а только сказал:

– Пойдем, зверь, со мною.

Медведь встал и пошел, да еще что было смешно – взял свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шел с Храпоном обнявшись, точно два друга.

Они таки и были друзья.

Глава шестая

Храпону было очень жаль Сганареля, но он ему ничем пособить не мог. Напоминаю, что там, где это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась, и скомпрометировавший себя Сганарель непременно должен был заплатить за свои увлечения лютой смертью.

Травля его назначалась как послеобеденное развлечение для гостей, которые обыкновенно съезжались к дяде на Рождество. Приказ об этом был уже отдан на охоте в то же самое время, когда Храпону было велено отвести виновного Сганареля и посадить его в яму.

Глава седьмая

В яму медведей сажали довольно просто. Люк, или творило ямы, обыкновенно закрывали легким хворостом, накиданным на хрупкие жерди, и посыпали эту покрывку снегом. Это было маскировано так, что медведь не мог заметить устроенной ему предательской ловушки. Покорного зверя

подводили к этому месту и заставляли идти вперед. Он делал шаг или два и неожиданно проваливался в глубокую яму, из которой не было никакой возможности выйти. Медведь сидел здесь до тех пор, пока наступало время его травить. Тогда в яму опускали в наклонном положении длинное, аршин семи, бревно, и медведь вылезал по этому бревну наружу. Затем начиналась травля. Если же случалось, что сметливый зверь, предчувствуя беду, не хотел выходить, то его понуждали выходить, беспокоя длинными шестами, на конце которых были острые железные наконечники, бросали зажженную солому или стреляли в него холостыми зарядами из ружей и пистолетов.

Храпон отвел Сганареля и заключил его под арест по этому же самому способу, но сам вернулся домой очень расстроенный и опечаленный. На свое несчастье, он рассказал своей сестре, как зверь шел с ним «ласково» и как он, провалившись сквозь хворост в яму, сел там на днище и, сложив передние лапы, как руки, застонал, точно заплакал.

Храпон открыл Анне, что он бежал от этой ямы бегом, чтобы не слышать жалостных стонов Сганареля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца.

– Слава богу, – добавил он, – что не мне, а другим людям велено в него стрелять, если он уходить станет. А если бы мне то было приказано, то я лучше бы сам всякие муки принял, но в него ни за что бы не выстрелил.

Глава восьмая

Анна рассказала это нам, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал ему. Тот это выслушал и сказал: «Молодец Храпошка», а потом хлопнул три раза в ладоши.

Это значило, что дядя требует к себе своего камердинера Устина Петровича, старичка из пленных французов двенадцатого года.

Устин Петрович, иначе Жюстин, явился в своем чистеньком лиловом франке с серебряными пуговицами, и дядя отдал ему приказание, чтобы к завтрашней «садке», или охоте на Сганареля, стрелками в секретах были посажены Флегонт – известнейший стрелок, который всегда бил без промаха, а другой Храпошка. Дядя, очевидно, хотел позабавиться над затруднительною борьбою чувств бедного парня. Если же он не выстрелит в Сганареля или нарочно промахнется, то ему, конечно, тяжело достанется, а Сганареля убьет вторым выстрелом Флегонт, который никогда не дает промаха.

Устин поклонился и ушел передавать приказание, а мы, дети,

сообразили, что мы наделали беды и что во всем этом есть что-то ужасно тяжелое, так что бог знает, как это и кончится. После этого нас не занимали по достоинству ни вкусный рождественский ужин, который справлялся «при звезде», за один раз с обедом, ни приехавшие на ночь гости, из коих с некоторыми дети.

Нам было жаль Сганареля, жаль и Ферापонта, и мы даже не могли себе решить, кого из них двух мы больше жалеем.

Оба мы, то есть я и мой ровесник – двоюродный брат, долго ворочались в своих кроватках. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что нам обоим представлялся медведь. А когда няня нас успокоила, что медведя бояться уже нечего, потому что он теперь сидит в яме, а завтра его убьют, то мною овладевала еще большая тревога.

Я даже просил у няни вразумления: нельзя ли молиться за Сганареля? Но такой вопрос был выше религиозных соображений старушки, и она, позевывая и крестя рот рукою, отвечала, что наверно она об этом ничего не знает, так как ни разу о том у священника не спрашивала, но что, однако, медведь – тоже божие создание, и он плавал с Ноем в ковчеге.

Мне показалось, что напоминание о плаванье в ковчеге вело как будто к тому, что беспредельное милосердие Божие может быть распространено не на одних людей, а также и на прочие божьи создания, и я с детской верою стал в моей кроватке на колени и, припав к подушке, просил величие божие не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля.

Глава девятая

Наступил день Рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и боннами к чаю. В зале, кроме множества родных и гостей, стояло духовенство: священник, дьякон и два дьячка.

Когда вошел дядя, причт запел «Христос рождается». Потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак и в два часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить Сганареля. Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля невозможна и медведь может легко скрыться из вида.

Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы везти на травлю Сганареля. Надели наши заячьи шубки и лохматые, с круглыми подошвами, сапоги, вязанные из козьей шерсти, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых

узорчатыми коврами, и тут же два стременных держали под уздцы дядину верховую английскую рыжую лошадь, по имени Щеголиха.

Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке, и как только он сел в седло, покрытое черною медвежьей шкурою с пахвами и паперсями, убранными бирюзой и «змеиными головками», весь наш огромный поезд тронулся, а через десять или пятнадцать минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Все сани были расположены полуоборотом к обширному, ровному, покрытому снегом полю, которое было окружено цепью верховых охотников и вдали замыкалось лесом.

У самого леса были сделаны секреты или тайники за кустами, и там должны были находиться Флегонт и Храпошка.

Тайников этих не было видно, и некоторые указывали только на едва заметные «сошки», с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить в Сганареля.

Яма, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы поневоле рассматривали красивых вершников, у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение: были шведские Штраубсы, немецкие Моргенраты, английские Мортимеры и варшавские Колеты.

Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в руки свору от двух сомкнутых злейших «пьявок», а перед ним положили у орчака на вальтрап белый платок.

Молодые собаки, для практики которых осужден был умереть провинившийся Сганарель, были в огромном числе и все вели себя крайне самонадеянно, обнаруживая пылкое нетерпение и недостаток выдержки. Они визжали, лаяли, прыгали и путались на сворах вокруг коней, на которых сидели доезжачие, а те беспрестанно хлопали арапниками, чтобы привести молодых, не помнивших себя от нетерпения псов к повиновению. Все это кипело желанием броситься на зверя, близкое присутствие которого собаки, конечно, открыли своим острым природным чутьем.

Настало время вынуть Сганареля из ямы и пустить его на растерзание!

Дядя махнул положенным на его вальтрап белым платком и сказал: «Делай!»

Глава десятая

Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди, выделилось человек десять и пошли вперед через поле.

Отойдя шагов двести, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры нам издалека нельзя было видеть.

Это происходило как раз у самой ямы, где сидел Сганарель, но она тоже с нашей далекой позиции была незаметна.

Дерево подняли и сейчас же спустили одним концом в яму. Оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь без затруднения мог выйти по нем, как по лестнице.

Другой конец бревна опирался на край ямы и торчал из нее на аршин.

Все глаза были устремлены на эту предварительную операцию, которая приближала к самому любопытному моменту. Ожидали, что Сганарель сейчас же должен был показаться наружу; но он, очевидно, понимал, в чем дело и ни за что не шел.

Началось гонянье его в яме снежными комьями и шестами с острыми наконечниками, слышался рев, но зверь не шел из ямы. Раздалось несколько холостых выстрелов, направленных прямо в яму, но Сганарель только сердитее зарычал, а все-таки по-прежнему не показывался.

Тогда откуда-то из-за цепи вскачь подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой ржавой соломы.

Лошадь была высокая, худая, из тех, которых употребляли на ворке для подвоза корма с гуменника, но, несмотря на свою старость и худобу, она летела, поднявши хвост и напорщив гриву. Трудно, однако, было определить: была ли ее теперешняя бодрость остатком прежней молодой удали, или это скорее было порождение страха и отчаяния, внушаемых старому коню близким присутствием медведя? По-видимому, последнее имело более вероятия, потому что лошадь была хорошо взнуздана, кроме железных удил, еще острою бечевкою, которою и были уже в кровь истерзаны ее посеревшие губы. Она и неслась и металась в стороны так отчаянно, что управлявший ею конюх в одно и то же время драл ей кверху голову бечевой, а другою рукою немилосердно стегал ее толстою нагайкою.

Но, как бы там ни было, солома была разделена на три кучи, разом зажжена и разом же с трех сторон скинута, зажженная, в яму. Вне пламени остался только один тот край, к которому было приставлено бревно.

Раздался оглушительный, бешеный рев, как бы смешанный вместе со стоном, но... медведь опять-таки не показывался...

До нашей цепи долетел слух, что Сганарель весь «опалился» и что он закрыл глаза лапами и лег вплотную в угол к земле, так что «его не стронуть».

Ворковая лошадь с разрезанными губами понеслась опять вскачь назад... Все думали, что это была посылка за новым привозом соломы. Между зрителями послышался укоризненный говор: зачем распорядители охоты не подумали ранее припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком. Дядя сердился и кричал что-то такое, чего я не мог разобрать за всею поднявшеюся в это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников.

Но во всем этом виднелось нестроение и был, однако, свой лад, и ворковая лошадь уже опять, метаясь и храпя, неслась назад к яме, где залег Сганарель, но не с соломою: на дровнях теперь сидел Ферапонт.

Гневное распоряжение дяди заключалось в том, чтобы Храпошку спустили в яму и чтобы он сам вывел оттуда своего друга на травлю...

Глава одиннадцатая

И вот Ферапонт был на месте. Он казался очень взволнованным, но действовал твердо и решительно. Ни мало не сопротивляясь барскому приказу, он взял с дровней веревку, которою была прихвачена привезенная минуту тому назад солома, и привязал эту веревку одним концом около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонт взял в руки и, держась за нее, стал спускаться по бревну, на ногах, в яму...

Страшный рев Сганареля утих и заменился глухим ворчанием.

Зверь как бы жаловался своему другу на жестокое обхождение с ним со стороны людей; но вот и это ворчание сменилось совершенной тишиной.

– Обнимает и лижет Храпошку, – крикнул один из людей, стоявших над ямой.

Из публики, размещавшейся в санях, несколько человек вздохнули, другие поморщились.

Многим становилось жалко медведя, и травля его, очевидно, не обещала им большого удовольствия. Но описанные мимолетные впечатления внезапно были прерваны новым событием, которое было еще неожиданнее и заключало в себе новую трогательность.

Из творила ямы, как бы из преисподней, показалась курчавая голова Храпошки в охотничьей круглой шапке. Он взбирался наверх опять тем же самым способом, как и спускался, то есть Ферапонт шел на ногах по бревну, притягивая себя кверху крепко завязанной концом снаружи веревки. Но Ферапонт выходил не один: рядом с ним, крепко с ним обнявшись и положив ему на плечо большую косматую лапу, выходил и

Сганарель... Медведь был не в духе и не в авантажном виде. Пострадавший и изнуренный, по-видимому не столько от телесного страдания, сколько от тяжкого морального потрясения, он сильно напоминал короля Лира. Он сверкал исподлобья налитыми кровью и полными гнева и негодования глазами. Так же, как Лир, он был и взъерошен, и местами опален, а местами к нему пристали будылья соломы. Вдобавок же, как тот несчастный венценосец, Сганарель, по удивительному случаю, сберег себе и нечто вроде венца.

Может быть, любя Ферапонта, а может быть, случайно, он зажал у себя под мышкой шляпу, которою Храпошка его снабдил и с которою он же поневоле столкнул Сганареля в яму. Медведь сберег этот дружеский дар, и... теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга, он, как только стал на землю, сейчас же вынул из-под мышки жестоко измятую шляпу и положил ее себе на макушку...

Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно было ее видеть. Иные даже поспешили отвернуться от зверя, которому сейчас же должна была последовать злая кончина.

Глава двенадцатая

Тем временем, как все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пьявки, увидя Сганареля, поднялись на задние лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сыромятных ошейниках; а в это же самое время Храпошка уже опять мчался на ворковом одре к своему секрету под лесом. Сганарель остался один и нетерпеливо дергал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная Храпошкой веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хоть и очень смышленного, ловкость все-таки была медвежья, и Сганарель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе.

Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, Сганарель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя в яме. Он на это оглянулся; а в то самое мгновение две пущенных из стаи со своры пьявки достигли его, и одна из них со всего налета впиалась ему острыми зубами в загорбок.

Сганарель был так занят с веревкой, что не ожидал этого и в первое

мгновение как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости; но потом, через полсекунды, когда пьявка хотела перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже, он рванул ее лапою и бросил от себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внутренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой... Но что было всего страшнее и всего неожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда Сганарель сделал усиленное движение лапою, чтобы отбросить от себя впившуюся в него пьявку, он тем же самым движением вырвал из ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно полетело пластом в воздухе. Натянув веревку, оно закружило вокруг Сганареля, как около своей оси, и, чертя одним концом по снегу, на первом же обороте размозжило и положило на месте не двух и не трех, а целую стаю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие как кувырнулись, так и вытянулись.

Глава тринадцатая

Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось в его обладании оружие, или веревка, охватившая его лапу, больно ее резала, но он только взревел и, сразу перехватив веревку в самую лапу, еще так наподдал бревно, что оно поднялось и вытянулось в одну горизонтальную линию с направлением лапы, державшей веревку, и загудело, как мог гудеть сильно пущенный колоссальный волчок. Все, что могло попасть под него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка где-нибудь, в каком-нибудь пункте своего протяжения оказалась бы недостаточно прочною и лопнула, то разлетевшееся в центробежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль, бог весть до каких далеких пределов, и на этом полете непременно сокрушит все живое, что оно может встретить.

Все мы, люди, все лошади и собаки, на всей линии и цепи, были в страшной опасности, и всякий, конечно, желал, чтобы для сохранения его жизни веревка, на которой вертел свою колоссальную пращу Сганарель, была крепка. Но какой, однако, все это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал дожидаться никто, кроме нескольких охотников и двух стрелков, посаженных в секретных ямах у самого леса. Вся остальная публика, то есть все гости и семейные дяди, приехавшие на эту потеху в качестве зрителей, не находили более в случившемся ни малейшей потехи. Все в перепуге велели кучерам как можно скорее скакать далее от опасного

места и в страшном беспорядке, тесня и перегоняя друг друга, помчались к дому.

В спешном и беспорядочном бегстве по дороге было несколько столкновений, несколько падений, немного смеха и немало перепугов. Выпавшим из саней казалось, что бревно оторвалось от веревки и свистит, пролетая над их головами, а за ними гонится расвирепевший зверь.

Но гости, достигши дома, могли прийти в покой и оправиться, а те немногие, которые остались на месте травли, видели нечто гораздо более страшное.

Глава четырнадцатая

Никаких собак нельзя было пускать на Сганареля. Ясно было, что при его страшном вооружении бревном он мог победить все великое множество псов без малейшего для себя вреда. А медведь, вертя свое бревно и сам за ним поворачиваясь, прямо подавался к лесу, и смерть его ожидала только здесь, у секрета, в котором сидели Ферапонт и без промаха стрелявший Флегонт.

Меткая пуля все могла кончить смело и верно.

Но рок удивительно покровительствовал Сганарелю и, раз вмешавшись в дело зверя, как будто хотел спасти его во что бы то ни стало.

В ту самую минуту, когда Сганарель сравнялся с привалами, из-за которых торчали на сошках наведенные на него дула кухенрейтеровских штуцеров Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и... как пущенная из лука стрела, стрекнуло в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую.

Перед оставшимися на поле вдруг сформировалась новая живая и страшная картина: бревно сшибло сошки и весь замет, за которым скрывался в секрете Флегонт, а потом, перескочив через него, оно ткнулось и закопалось другим концом в дальнем сугробе; Сганарель тоже не терял времени. Перекувыркнувшись три или четыре раза, он прямо попал за снежный валик Храпошки...

Сганарель его моментально узнал,дохнул на него своей горячей пастью, хотел лизнуть языком, но вдруг с другой стороны, от Флегонта, крякнул выстрел, и... медведь убежал в лес, а Храпошка... упал без чувств.

Его подняли и осмотрели: он был ранен пулею в руку навывлет, но в ране его было также несколько медвежьей шерсти.

Флегонт не потерял звания первого стрелка, но он стрелял впопыхах из тяжелого штуцера и без сошек, с которых мог бы прицелиться. Притом же на дворе уже было серо, и медведь с Храпошкой были слишком тесно скучены...

При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну линию должно было считать в своем роде замечательным.

Тем не менее – Сганарель ушел. Погоня за ним по лесу в этот же самый вечер была невозможна; а до следующего утра в уме того, чья воля была здесь для всех законом, просияло совсем иное настроение.

Глава пятнадцатая

Дядя вернулся после окончания описанной неудачной охоты. Он был гневен и суров более, чем обыкновенно. Перед тем как сойти у крыльца с лошади, он отдал приказ – завтра чем свет искать следов зверя и обложить его так, чтобы он не мог скрыться.

Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсем другие результаты.

Затем ждали распоряжения о раненом Храпошке. По мнению всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Он по меньшей мере был виноват в той оплошности, что не всадил охотничьего ножа в грудь Сганареля, когда тот очутился с ним вместе, и оставил его нимало не поврежденным в его объятиях. Но, кроме того, были сильные и, кажется, вполне основательные подозрения, что Храпошка схитрил, что он в роковую минуту умышленно не хотел поднять своей руки на своего косматого друга и пустил его на волю.

Всем известная взаимная дружба Храпошки с Сганарелем давала этому предположению много вероятности.

Так думали не только все участвовавшие в охоте, но так же точно толковали теперь и все гости.

Прислушиваясь к разговорам взрослых, которые собрались к вечеру в большой зале, где в это время для нас зажигали богато убранную елку, мы разделяли и общие подозрения и общий страх пред тем, что может ждать Ферапонта.

На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе «на половину», до залы достиг слух, что о Храпошке не было никакого приказания.

– К лучшему это, однако, или нет? – прошептал кто-то, и шепот этот

среди общей тяжелой унылости толкнулся в каждое сердце.

Его услышал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом двенадцатого года. Старик тоже вздохнул и таким же шепотом сказал:

– Молитесь рожденному Христу.

С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей, бар и холопей, все мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко растворились двери и вошел, с палочкой в руке, дядя. Его сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер Жюстин. Последний нес за ним на серебряной тарелке его белый фуляр и круглую табакерку с портретом Павла Первого.

Глава шестнадцатая

Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшом персидском ковре перед елкой, посреди комнаты. Он молча сел и молча же взял у Жюстина свой фуляр и свою табакерку. У ног его тотчас легли и вытянули свои длинные морды обе собаки.

Дядя был в синем шелковом архалуке с вышитыми гладью застежками, богато украшенными белыми филограневыми пряжками с крупной бирюзой. В руках у него была его тонкая, но крепкая палка из натуральной кавказской черешни.

Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садке, отменно выезжанная щеголиха тоже не сохранила бесстрашия – она метнулась в сторону и больно прижала к дереву ногу своего всадника.

Дядя чувствовал сильную боль в этой ноге и даже немножко похрамывал.

Это новое обстоятельство, разумеется, тоже не могло прибавить ничего доброго в его раздраженное и гневливое сердце. Притом было дурно и то, что при появлении дяди мы все замолчали. Как большинство подозрительных людей, он терпеть не мог этого; и хорошо его знавший отец Алексей поторопился, как умел, поправить дело, чтобы только нарушить эту зловещую тишину.

Имея наш детский круг близ себя, священник задал нам вопрос: понимаем ли мы смысл песни «Христос рождается»? Оказалось, что не только мы, но и старшие плохо ее разумели. Священник стал нам разъяснять слова: «славите», «рящите» и «возноситеся», и, дойдя до

значения этого последнего слова, сам тихо «вознесся» и умом и сердцем. Он заговорил о даре, который и нынче, как и «во время оно», всякий бедняк может поднести к яслям «рожденного отроча», смелее и достойнее, чем поднесли золото, смирену и ливан волхвы древности. Дар наш – наше сердце, исправленное по его учению. Старик говорил о любви, о прощении, о долге каждого утешить друга и недруга «во имя Христово»... И думается мне, что слово его в тот час было убедительно... Все мы понимали, к чему оно клонит, все его слушали с особенным чувством, как бы молясь, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слезы...

Вдруг что-то упало... Это была дядина палка... Ее ему подали, но он до нее не коснулся: он сидел, склонясь набок, с опущенною с кресла рукою, в которой, как позабытая, лежала большая бирюза от застёжки... Но вот он уронил и ее, и... ее никто не спешил поднимать.

Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное: он плакал!

Священник тихо раздвинул детей и, подойдя к дяде, молча благословил его рукою.

Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поцеловал ее перед всеми и тихо молвил:

– Спасибо.

В ту же минуту он взглянул на Жюстина и велел позвать сюда Ферапонта.

Тот предстал бледный, с подвязанной рукою.

– Стань здесь! – велел ему дядя и показал рукою на ковер.

Храпошка подошел и упал на колени.

– Встань... поднимись! – сказал дядя. – Я тебя прощаю.

Храпошка опять бросился ему в ноги. Дядя заговорил нервным, взволнованным голосом:

– Ты любил зверя, как не всякий умеет любить человека. Ты меня этим тронул и превзошел меня в великодушии. Объявляю тебе от меня милость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди куда хочешь.

– Благодарю и никуда не пойду, – воскликнул Храпошка.

– Что?

– Никуда не пойду, – повторил Ферапонт.

– Чего же ты хочешь?

– За вашу милость я хочу вам вольной волей служить честней, чем за страх поневоле.

Дядя моргнул глазами, приложил к ним одною рукою свой белый

фуляр, а другою, нагнувшись, обнял Ферапонта, и... все мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли глаза... Довольно было чувствовать, что здесь совершилась слава вышнему Богу и заблагоухал мир во имя Христово, на месте сурового страха.

Это отразилось и на деревне, куда были посланы котлы браги. Зажглись веселые костры, и было веселье во всех, и шутя говорили друг другу:

– У нас ноне так случилось, что и зверь пошел во святой тишине Христа славить.

Сганареля не отыскивали. Ферапонт, как ему сказано было, сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и был не только верным его слугою, но и верным его другом до самой его смерти. Он закрыл своими руками глаза дяди, и он же схоронил его в Москве на Ваганьковском кладбище, где и по сию пору цел его памятник. Там же, в ногах у него, лежит и Ферапонт.

Цветов им теперь приносить уже некому, но в московских норах и трущобах есть люди, которые помнят белоголового длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и умел попеть туда вовремя сам или посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого слугу.

Эти два добряка, о которых много бы можно сказать, были – мой дядя и его Ферапонт, которого старик в шутку называл: «укротитель зверя».

1883

Привидение в Инженерном замке (Из кадетских воспоминаний)

Глава первая

У домов, как у людей, есть своя репутация. Есть дома, где, по общему мнению, нечисто, то есть, где замечают те или другие проявления какой-то нечистой или по крайней мере непонятной силы. Спириты старались много сделать для разъяснения этого рода явлений, но так как теории их не пользуются большим доверием, то дело с страшными домами остается в прежнем положении.

В Петербурге во мнении многих подобною худою славою долго пользовалось характерное здание бывшего Павловского дворца, известное

нынче под названием Инженерного замка. Таинственные явления, приписываемые духам и привидениям, замечали здесь почти с самого основания замка. Еще при жизни императора Павла тут, говорят, слышали голос Петра Великого, и, наконец, даже сам император Павел видел тень своего прадеда. Последнее, без всяких опровержений, записано в заграничных сборниках, где нашли себе место описания внезапной кончины Павла Петровича, и в новейшей русской книге г. Кобеко. Прадед будто бы покидал могилу, чтобы предупредить своего правнука, что дни его малы и конец их близок. Предсказание сбылось.

Впрочем, тень Петрова была видима в стенах замка не одним императором Павлом, но и людьми к нему приближенными. Словом, дом был страшен потому, что там жили или по крайней мере являлись тени и привидения и говорили что-то такое страшное, и вдобавок еще сбывающееся. Неожиданная внезапность кончины императора Павла, по случаю которой в обществе тотчас вспомнили и заговорили о предвещательных тенях, встречавших покойного императора в замке, еще более увеличила мрачную и таинственную репутацию этого угрюмого дома. С тех пор дом утратил свое прежнее значение жилого дворца, а по народному выражению – «пошел под кадетов».

Нынче в этом упраздненном дворце помещаются юнкера инженерного ведомства, но начали его «обживать» прежние инженерные кадеты. Это был народ еще более молодой и совсем еще не освободившийся от детского суеверия, и притом резвый и шаловливый, любопытный и отважный. Всем им, разумеется, более или менее были известны страхи, которые рассказывали про их страшный замок. Дети очень интересовались подробностями страшных рассказов и напивались этими страхами, а те, которые успели с ними достаточно освоиться, очень любили пугать других. Это было в большом ходу между инженерными кадетами, и начальство никак не могло вывести этого дурного обычая, пока не произошел случай, который сразу отбил у всех охоту к пуганьям и шалостям.

Об этом случае и будет наступающий рассказ.

Глава вторая

Особенно было в моде пугать новичков или так называемых «малышей», которые, попадая в замок, вдруг узнавали такую массу страхов о замке, что становились суеверными и робкими до крайности. Более всего их пугало, что в одном конце коридоров замка есть комната, служившая

спальной покойному императору Павлу, в которой он лег почивать здоровым, а утром его оттуда вынесли мертвым. «Старики» уверяли, что дух императора живет в этой комнате и каждую ночь выходит оттуда и осматривает свой любимый замок, – а «малыши» этому верили. Комната эта была всегда крепко заперта, и притом не одним, а несколькими замками, но для духа, как известно, никакие замки и затворы не имеют значения. Да и, кроме того, говорили, будто в эту комнату можно было как-то проникать. Кажется, это так и было на самом деле. По крайней мере жило и до сих пор живет предание, будто это удавалось нескольким «старым кадетам» и продолжалось до тех пор, пока один из них не задумал отчаянную шалость, за которую ему пришлось жестоко поплатиться. Он открыл какой-то известный лаз в страшную спальню покойного императора, успел пронести туда простыню и там ее спрятал, а по вечерам забирался сюда, покрывался с ног до головы этой простыней и становился в темном окне, которое выходило на Садовую улицу и было хорошо видно всякому, кто, проходя или проезжая, поглядит в эту сторону.

Исполняя таким образом роль привидения, кадет действительно успел навести страх на многих суеверных людей, живших в замке, и на прохожих, которым случалось видеть его белую фигуру, всеми принимавшуюся за тень покойного императора.

Шалость эта продолжалась несколько месяцев и распространила упорный слух, что Павел Петрович по ночам ходит вокруг своей спальни и смотрит из окна на Петербург. Многим до несомненности живо и ясно представлялось, что стоявшая в окне белая тень им не раз кивала головой и кланялась; кадет действительно проделывал такие штуки. Все это вызывало в замке обширные разговоры с предвозвещательными истолкованиями и закончилось тем, что наделавший описанную тревогу кадет был пойман на месте преступления и, получив «примерное наказание на теле», исчез навсегда из заведения. Ходил слух, будто злополучный кадет имел несчастье испугать своим появлением в окне одно случайно проезжавшее мимо замка высокое лицо, за что и был наказан не по-детски. Проще сказать, кадеты говорили, будто несчастный шалун «умер под розгами», и так как в тогдaшнее время подобные вещи не представлялись невероятными, то и этому слуху поверили, а с этих пор сам этот кадет стал новым привидением. Товарищи начали его видеть «всего иссеченного» и с гробовым венчиком на лбу, а на венчике будто можно было читать надпись: «Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю».

Если вспомнить библейский рассказ, в котором эти слова находят себе место, то оно выходит очень трогательно.

Вскоре за погибелью кадета спальная комната, из которой исходили главнейшие страхи Инженерного замка, была открыта и получила такое приспособление, которое изменило ее жуткий характер, но предания о привидении долго еще жили, несмотря на последовавшее разоблачение тайны. Кадеты продолжали верить, что в их замке живет, а иногда ночами является призрак. Это было общее убеждение, которое равномерно держалось у кадетов младших и старших, с тою, впрочем, разницею, что младшие просто слепо верили в привидение, а старшие иногда сами устраивали его появление. Одно другому, однако, не мешало, и сами поддельватели привидения его тоже побаивались. Так, иные «ложные сказатели чудес» сами их воспроизводят и сами им поклоняются и даже верят в их действительность.

Кадеты младшего возраста не знали «всей истории», разговор о которой, после происшествия с получившим жестокое наказание на теле, строго преследовался, но они верили, что старшим кадетам, между которыми находились еще товарищи высеченного или засеченного, была известна вся тайна призрака. Это давало старшим большой престиж, и те им пользовались до 1859 или 1860 года, когда четверо из них сами подверглись очень страшному перепугу, о котором я расскажу со слов одного из участников неуместной шутки у гроба.

Глава третья

В том 1859 или 1860 году умер в Инженерном замке начальник этого заведения, генерал Ламновский. Он едва ли был любимым начальником у кадет и, как говорят, будто бы не пользовался лучшею репутациею у начальства. Причин к этому у них насчитывали много: находили, что генерал держал себя с детьми будто бы очень сурово и безучастливо; мало вникал в их нужды; не заботился об их содержании, – а главное, был докучлив, придиричив и мелочно суров. В корпусе же говорили, что сам по себе генерал был бы еще более зол, но что неодолимую его лютость укрощала тихая, как ангел, генеральша, которой ни один из кадет никогда не видал, потому что она была постоянно больна, но считали ее добрым гением, охраняющим всех от конечной лютости генерала.

Кроме такой славы по сердцу, генерал Ламновский имел очень неприятные манеры. В числе последних были и смешные, к которым дети придирались, и когда хотели «представить» нелюбимого начальника, то обыкновенно выдвигали одну из его смешных привычек на вид до

карикатурного преувеличения.

Самую смешною привычкою Ламновского было то, что, произнося какую-нибудь речь или делая внушение, он всегда гладил всеми пятью пальцами правой руки свой нос. Это, по кадетским определениям, выходило так, как будто он «доил слова из носа». Покойник не отличался красноречием, и у него, что называется, часто недоставало слов на выражение начальственных внушений детям, а потому при всякой такой запинке «доение» носа усиливалось, а кадеты тотчас же теряли серьезность и начинали пересмеиваться. Замечая это нарушение субординации, генерал начинал еще более сердиться и наказывал их. Таким образом, отношения между генералом и воспитанниками становились все хуже и хуже, а во всем этом, по мнению кадет, всего более был виноват «нос».

Не любя Ламновского, кадеты не упускали случая делать ему досаждения и мстить, портя так или иначе его репутацию в глазах своих новых товарищей. С этою целью они распускали в корпусе молву, что Ламновский знает с нечистою силою и заставляет демонов таскать для него мрамор, который Ламновский поставлял для какого-то здания, кажется для Исаакиевского собора. Но так как демонам эта работа надоела, то рассказывали, будто они нетерпеливо ждут кончины генерала, как события, которое возвратит им свободу. А чтобы это казалось еще достовернее, раз вечером, в день именин генерала, кадеты сделали ему большую неприятность, устроив «похороны». Устроено же это было так, что когда у Ламновского, в его квартире, пировали гости, то в коридорах кадетского помещения появилась печальная процессия: покрытые простынями кадеты, со свечами в руках, несли на одре чучело с длинноносою маскою и тихо пели погребальные песни. Устроители этой церемонии были открыты и наказаны, но в следующие именины Ламновского непростительная шутка с похоронами опять повторилась. Так шло до 1859 года или 1860 года, когда генерал Ламновский в самом деле умер и когда пришлось справлять настоящие его похороны. По обычаям, которые тогда существовали, кадетам надо было посменно дежурить у гроба, и вот тут-то и произошла страшная история, испугавшая тех самых героев, которые долго пугали других.

Глава четвертая

Генерал Ламновский умер поздною осенью, в ноябре месяце, когда Петербург имеет самый человеконенавистный вид: холод, пронизывающая

сырость и грязь; особенно мутное туманное освещение тяжело действует на нервы, а через них на мозг и фантазию. Все это производит болезненное душевное беспокойство и волнение. Мошотт для своих научных выводов о влиянии света на жизнь мог бы получить у нас в это время самые любопытные данные.

Дни, когда умер Ламновский, были особенно гадки. Покойника не вносили в церковь замка, потому что он был лютеранин: тело стояло в большой траурной зале генеральской квартиры, и здесь было учреждено кадетское дежурство, а в церкви служились, по православному установлению, панихиды. Одну панихиду служили днем, а другую вечером. Все чины замка, равно как кадеты и служители, должны были появляться на каждой панихиде, и это соблюдалось в точности. Следовательно, когда в православной церкви шли панихиды, – все население замка собиралось в эту церковь, а остальные обширные помещения и длиннейшие переходы совершенно пустели. В самой квартире усопшего не оставалось никого, кроме дежурной смены, состоявшей из четырех кадет, которые с ружьями и с касками на локте стояли вокруг гроба.

Тут и пошла заматываться какая-то беспокойная жуть: все начали чувствовать что-то беспокойное и стали чего-то побаиваться; а потом вдруг где-то проговорили, что опять кто-то «встает» и опять кто-то «ходит». Стало так неприятно, что все начали останавливать других, говоря: «Полно, довольно, оставьте это; ну вас к черту с такими рассказами! Вы только себе и людям нервы портите!» А потом и сами говорили то же самое, от чего унимали других, и к ночи уже становилось всем страшно. Особенно это обострилось, когда кадет пощунял «батя», то есть какой тогда был здесь священник.

Он постыдил их за радость по случаю кончины генерала и как-то коротко, но хорошо умел их тронуть и насторожить их чувства.

– «Ходит», – сказал он им, повторяя их же слова. – И разумеется, что ходит некто такой, кого вы не видите и видеть не можете, а в нем и есть сила, с которою не сладишь. Это серый человек, – он не в полночь встает, а в сумерки, когда серо делается, и каждому хочет сказать о том, что в мыслях есть нехорошего. Этот серый человек – совесть; советую вам не тревожить его дрянной радостью о чужой смерти. Всякого человека кто-нибудь любит, кто-нибудь жалеет, – смотрите, чтобы серый человек им не скинулся да не дал бы вам тяжелого урока!

Кадеты это как-то взяли глубоко к сердцу и, чуть только начало в тот день смеркаться, они так и оглядываются: нет ли серого человека и в каком

он виде? Известно, что в сумерках в душах обнаруживается какая-то особенная чувствительность – возникает новый мир, затмевающий тот, который был при свете: хорошо знакомые предметы обычных форм становятся чем-то прихотливым, непонятным и, наконец, даже страшным. Этой порою всякое чувство почему-то как будто ищет для себя какого-то неопределенного, но усиленного выражения: настроение чувств и мыслей постоянно колеблется, и в этой стремительной и густой дисгармонии всего внутреннего мира человека начинается свою работу фантазия: мир обращается в сон, а сон – в мир... Это заманчиво и страшно, и чем более страшно, тем более заманчиво и завлекательно...

В таком состоянии было большинство кадет, особенно перед ночными дежурствами у гроба. В последний вечер перед днем погребения к панихиде в церковь ожидалось посещение самых важных лиц, а потому, кроме людей, живших в замке, был большой съезд из города. Даже из самой квартиры Ламновского все ушли в русскую церковь, чтобы видеть собрание высоких особ; покойник оставался окруженный одним детским караулом. В карауле на этот раз стояли четыре кадета: Г-тон, В-нов, З-ский и К-дин, все до сих пор благополучно здравствующие и занимающие теперь солидные положения по службе и в обществе.

Глава пятая

Из четырех молодцов, составлявших караул, – один, именно К-дин, был самый отчаянный шалун, который докучал покойному Ламновскому более всех и потому, в свою очередь, чаще прочих подвергался со стороны умершего усиленным взысканиям. Покойник особенно не любил К-дина за то, что этот шалун умел его прекрасно передразнивать «по части доения носа» и принимал самое деятельное участие в устройстве погребальных процессий, которые делались в генеральские именины.

Когда такая процессия была совершена в последнее тезоименитство Ламновского, К-дин сам изображал покойника и даже произносил речь из гроба, с такими ужимками и таким голосом, что пересмешил всех, не исключая офицера, посланного разогнать кощунствующую процессию.

Было известно, что это происшествие привело покойного Ламновского в крайнюю гневность, и между кадетами прошел слух, будто рассерженный генерал «покаялся наказать К-дина на всю жизнь». Кадеты этому верили и, принимая в соображение известные им черты характера своего начальника, нимало не сомневались, что он свою клятву над К-диным исполнит. К-дин

в течение всего последнего года считался «висящим на волоске», а так как, по живости характера, этому кадету было очень трудно воздерживаться от резвых и рискованных шалостей, то положение его представлялось очень опасным, и в заведении того только и ожидали, что вот-вот К-дин в чем-нибудь попадет, и тогда Ламновский с ним не поцеремонится и все его дробы приведет к одному знаменателю, «даст себя помнить на всю жизнь».

Страх начальственной угрозы так сильно чувствовался К-диным, что он делал над собою отчаянные усилия и, как запойный пьяница от вина, он бежал от всяких проказ, покуда ему пришел случай проверить на себе поговорку, что «мужик год не пьет, а как черт прорвет, так он все пропьет».

Черт прорвал К-дина именно у гроба генерала, который опочил, не приведя в исполнение своей угрозы. Теперь генерал был кадету не страшен, и долго сдержанная резвость мальчика нашла случай отпрянуть, как долго скрученная пружина. Он просто обезумел.

Глава шестая

Последняя панихида, собравшая всех жителей замка в православную церковь, была назначена в восемь часов, но так как к ней ожидалось высшие лица, после которых неделикатно было входить в церковь, то все отправились туда гораздо ранее. В зале у покойника осталась одна кадетская смена: Г-тон, В-нов, З-ский и К-дин. Ни в одной из прилежавших огромных комнат не было ни души...

В половине восьмого дверь на мгновение приотворилась, и в ней на минуту показался плац-адъютант, с которым в эту же минуту случилось пустое происшествие, усилившее жуткое настроение: офицер, подходя к двери, или испугался своих собственных шагов, или ему казалось, что его кто-то обгоняет: он сначала приостановился, чтобы дать дорогу, а потом вдруг воскликнул: «Кто это! кто!» – и, торопливо просунув голову в дверь, другою половинкою этой же двери придавил самого себя и снова вскрикнул, как будто его кто-то схватил сзади.

Разумеется, вслед же за этим он оправился и, торопливо окинув беспокойным взглядом траурный зал, догадался по здешнему безлюдью, что все ушли уже в церковь; тогда он опять притворил двери и, сильно звеня саблею, бросился ускоренным шагом по коридорам, ведущим к замковому храму.

Стоявшие у гроба кадеты ясно замечали, что и большие чего-то пугались, а страх на всех действует заразительно.

Глава седьмая

Дежурные кадеты проводили слухом шаги удалявшегося офицера и замечали, как за каждым шагом их положение здесь становилось сиротливее – точно их привели сюда и замуровали с мертвецом за какое-то оскорбление, которого мертвый не позабыл и не простил, а, напротив, встанет и непременно отмстит за него. И отмстит страшно, по-мертвецки... К этому нужен только свой час – удобный час полночи,

...когда поет петух
И нежить мечется в потемках...

Но они же не достоят здесь до полуночи, – их сменят, да и притом им ведь страшна не «нежить», а серый человек, которого пора – в сумерках.

Теперь и были самые густые сумерки: мертвец в гробу, и вокруг самое жуткое безмолвие... На дворе с свирепым неистовством выл ветер, обдавая огромные окна целыми потоками мутного осеннего ливня, и гремел листьями кровельных загибов; печные трубы гудели с перерывами – точно они вздыхали или как будто в них что-то врывалось, задерживалось и снова еще сильнее напирало. Все это не располагало ни к трезвости чувств, ни к спокойствию рассудка. Тяжесть всего этого впечатления еще более усиливалась для ребят, которые должны были стоять, храня мертвое молчание: все как-то путается; кровь, приливая к голове, ударялась им в виски, и слышалось что-то вроде однообразной мельничной стукотни. Кто переживал подобные ощущения, тот знает эту странную и совершенно особенную стукотню крови – точно мельница мелет, но мелет не зерно, а перемалывает самое себя. Это скоро приводит человека в тягостное и раздражающее состояние, похожее на то, которое непривычные люди ощущают, опускаясь в темную шахту к рудокопам, где обычный для нас дневной свет вдруг заменяется дымящейся плоской... Выдерживать молчание становится невозможно, – хочется слышать хоть свой собственный голос, хочется куда-то сунуться – что-то сделать самое безрассудное.

Глава восьмая

Один из четырех стоявших у гроба генерала кадетов, именно К-дин,

переживая все эти ощущения, забыл дисциплину и, стоя под ружьем, прошептал:

– Духи лезут к нам за папкиным носом.

Ламновского в шутку называли иногда «папкою», но шутка на этот раз не смешила товарищей, а, напротив, увеличила жуть, и двое из дежурных, заметив это, отвечали К-дину:

– Молчи... и без того страшно, – и все тревожно воззрились в укутанное кисеею лицо покойника.

– Я оттого и говорю, что вам страшно, – отвечал К-дин, – а мне, напротив, не страшно, потому что мне он теперь уже ничего не сделает. Да: надо быть выше предрассудков и пустяков не бояться, а всякий мертвец – это уже настоящий пустяк, и я это вам сейчас докажу.

– Пожалуйста, ничего не доказывай.

– Нет, докажу. Я вам докажу, что папка теперь ничего не может мне сделать даже в том случае, если я его сейчас, сию минуту, возьму за нос.

И с этим, неожиданно для всех остальных, К-дин в ту же минуту, перехватив ружье на локоть, быстро взбежал по ступеням катафалка и, взяв мертвеца за нос, громко и весело вскрикнул:

– Ага, папка, ты умер, а я жив и трясу тебя за нос, и ты мне ничего не сделаешь!

Товарищи оторопели от этой шалости и не успели проронить слова, как вдруг всем им враз ясно и внятно послышался глубокий болезненный вздох – вздох, очень похожий на то, как бы кто сел на надутую воздухом резиновую подушку с неплотно завернутым клапаном... И этот вздох, – всем показалось, – по-видимому, шел прямо из гроба...

К-дин быстро отхватил руку и, споткнувшись, с громом полетел с своим ружьем со всех ступеней катафалка, трое же остальных, не отдавая себе отчета, что они делают, в страхе взяли свои ружья наперевес, чтобы защищаться от поднимавшегося мертвеца.

Но этого было мало: покойник не только вздохнул, а действительно гнался за оскорбившим его шалуном или придерживал его за руку: за К-диным ползла целая волна гробовой кисеи, от которой он не мог отбиться, – и, страшно вскрикнув, он упал на пол... Эта ползущая волна кисеи в самом деле представлялась явлением совершенно необъяснимым и, разумеется, страшным, тем более что закрытый ею мертвец теперь совсем открывался с его сложенными руками на впалой груди.

Шалун лежал, уронив свое ружье, и, закрыв от ужаса лицо руками, издавал ужасные стоны. Очевидно, он был в памяти и ждал, что покойник сейчас за него примется по-свойски.

Между тем вздох повторился, и, вдобавок к нему, послышался тихий шелест. Это был такой звук, который мог произойти как бы от движения одного суконного рукава по другому. Очевидно, покойник раздвигал руки, – и вдруг тихий шум; затем поток иной температуры пробежал струею по свечам, и в то же самое мгновение в шевелившихся портьерах, которыми были закрыты двери внутренних покоев, показалось привидение. Серый человек! Да, испуганным глазам детей предстало виол-не ясно сформированное привидение в виде человека... Явилась ли это сама душа покойника в новой оболочке, полученной ею в другом мире, из которого она вернулась на мгновение, чтобы наказать оскорбительную дерзость, или, быть может, это был еще более страшный гость, – сам дух замка, вышедший сквозь пол соседней комнаты из подземелья!..

Глава девятая

Привидение не было мечтою воображения – оно не исчезало и напоминало своим видом описание, сделанное поэтом Гейне для виденной им «таинственной женщины»: как то, так и это представляло «труп, в котором заключена душа». Перед испуганными детьми была в крайней степени изможденная фигура, вся в белом, но в тени она казалась серою. У нее было страшно худое, до синевы бледное и совсем угасшее лицо; на голове всклокоченные в беспорядке густые и длинные волосы. От сильной проседи они тоже казались серыми и, разбежавшись в беспорядке, закрывали грудь и плечи привидения!.. Глаза виделись яркие, воспаленные и блестящие болезненным огнем... Сверканье их из темных, глубоко впалых орбит было подобно сверканью горящих углей. У видения были тонкие худые руки, похожие на руки скелета, и обеими этими руками оно держалось за полы тяжелой дверной драпировки.

Судорожно сжимая материю в слабых пальцах, эти руки и производили тот сухой суконный шелест, который слышали кадеты.

Уста привидения были совершенно черны и открыты, и из них-то после коротких промежутков со свистом и хрипением вырывался тот напряженный полустон-полувздох, который впервые послышался, когда К-дин взял покойника за нос.

Глава десятая

Увидав это грозное привидение, три оставшиеся на ногах стража

окаменели и замерли в своих оборонительных позициях крепче К-дина, который лежал пластом с прицепленным к нему гробовым покрывалом.

Привидение не обращало никакого внимания на всю эту группу: его глаза были устремлены на один гроб, в котором теперь лежал совсем раскрытый покойник. Оно тихо покачивалось и, по-видимому, хотело двигаться. Наконец это ему удалось. Держась руками за стену, привидение медленно тронулось и прерывистыми шагами стало переступать ближе ко гробу. Движение это было ужасно. Судорожно вздрагивая при каждом шаге и с мучением лоя раскрытыми устами воздух, оно исторгало из своей пустой груди те ужасные вздохи, которые кадеты приняли за вздохи из гроба. И вот еще шаг, и еще шаг, и, наконец, оно близко, оно подошло к гробу, но прежде, чем подняться на ступени катафалка, оно остановилось, взяло К-дина за ту руку, у которой, отвечая лихорадочной дрожи его тела, трепетал край волновавшейся гробовой кисеи, и своими тонкими, сухими пальцами отцепило эту кисею от обшлажной пуговицы шалуна; потом посмотрело на него с неизъяснимой грустью, тихо ему погрозило и... перекрестило его...

Затем оно, едва держась на трясущихся ногах, поднялось по ступеням катафалка, ухватилось за край гроба и, обвив своими скелетными руками плечи покойника, зарыдало...

Казалось, в гробу целовались две смерти; но скоро это кончилось. С другого конца замка донесся слух жизни: панихида кончилась, и из церкви в квартиру мертвеца спешили передовые, которым надо было быть здесь, на случай посещения высоких особ.

Глава одиннадцатая

До слуха кадет долетели приближавшиеся по коридорам гулкие шаги и вырвавшиеся вслед за ними из отворенной церковной двери последние отзвуки зауспокойной песни.

Оживительная перемена впечатлений заставила кадет ободриться, а долг привычной дисциплины поставил их в надлежащей позиции на надлежащее место.

Тот адъютант, который был последним лицом, заглянувшим сюда перед панихидою, и теперь торопливо вбежал первый в траурную залу и воскликнул:

– Боже мой, как она сюда пришла!

Труп в белом, с распущенными седыми волосами, лежал, обнимая

покойника, и, кажется, сам не дышал уже. Дело пришло к разъяснению.

Напугавшее кадет привидение была вдова покойного генерала, которая сама была при смерти и, однако, имела несчастье пережить своего мужа. По крайней слабости, она уже давно не могла оставлять постель, но, когда все ушли к парадной панихиде в церковь, она сползла с своего смертного ложа и, опираясь руками об стены, явилась к гробу покойника. Сухой шелест, который кадеты приняли за шелест рукавов покойника, были ее прикосновения к стенам. Теперь она была в глубоком обмороке, в котором кадеты, по распоряжению адъютанта, и вынесли ее в кресле за драпировку.

Это был последний страх в Инженерном замке, который, по словам рассказчика, оставил в них навсегда глубокое впечатление.

– С этого случая, – говорил он, – всем нам стало возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы то ни было смерти. Мы всегда помнили нашу непростительную шалость и благословляющую руку последнего привидения Инженерного замка, которое одно имело власть простить нас по святому праву любви. С этих же пор прекратились в корпусе и страхи от привидений. То, которое мы видели, было последнее.

1882

Отборное зерно

Краткая трилогия в просонке

*Спящим человеком прииде враг
и всея плевелы посреди пшеницы.*

Мф. XII, 25

Желание видеть дорогих друзей заставляло меня спешить к ним, а недосуг позволял сделать нужный для этого переезд на самых праздниках. Благодаря таким условиям я встречал Новый год в вагоне. Настроение внутри себя я чувствовал невеселое и тяжелое. Учители благочестия внушают поверять свою совесть каждый вечер. Этого я не делаю, но при окончании прожитого года благочестивый совет наставников приходит на память, и я начинаю себя проверять. Делаю я это сразу за целый год, но зато аккуратно всякий раз остаюсь собою всесторонне недоволен. В нынешний раз мое обычное неудовольствие осложнилось еще и досадами на других – особенно на князя Бисмарка за его неуважительные отзывы о моих соотечественниках и за его недобрые на наш счет предсказания. Его

железная грубость позволила ему прямо и без застенчивости сказать, что России, по его мнению, только и остается «погибнуть». Как, за что «погибнуть»? И пошло думаться и выходить: будто как и есть за что, – будто как и не за что? А кругом меня все спит. Пять-шесть пассажиров, которых случай послал мне в попутчики, все друг от друга сторонились и все храпят в каком-то озлоблении.

И стало мне стыдно от моей унылости и моего пустомыслия. И зачем я не сплю, когда всем спится? И какое мне дело до того, что сказал о нас Бисмарк, и для чего я обязан верить его предсказаниям? Лучше ничего этого «внятием не тешить», а приспособиться да заснуть, яко же и прочие человецы, и пойдет дело веселее и занимательнее.

Так я и сделал: отвернулся от всех, ранее оборотившихся ко мне спинами, и начал усиленно звать сон, но мне плохо спалось с беспрестанными перерывами, пока судьба не послала мне неожиданного развлечения, которое разогнало на время мою дремоту и в то же время ободрило меня против невыгодных заключений о нашей дисгармонии.

С платформы у одного маленького городка вошли два человека – один легкий на ногу, должно быть молодой, а другой – грузнее и постарше. Я, впрочем, не мог их рассмотреть, потому что фонари в вагоне были затянуты темно-синей тафтой и не пропускали столько света, чтобы можно было хорошо рассмотреть незнакомые лица. Однако я сразу же расположен был думать, что новые пассажиры принадлежат не только к достаточному, но и к образованному классу. Они, входя, не шумели, не говорили очень громко и вообще старались, сколько можно, никого не беспокоить своим приходом, а расположились тихо и снисходительно там, где нашлось для них свободное сиденье. По случаю это пришлось очень близко от того места, где я дремал, забившись в темный угол дивана. Волей-неволей я должен был слышать всякое их слово, если бы оно было сказано даже полупшепотом. Это так и вышло, и я на то нимало не жалею, потому что разговор, который повели тихо вполголоса мои новые соседи, показался мне настолько интересным, что я его тогда же, по приезде домой, записал, а теперь решаюсь даже представить вниманию читателей.

По первым же словам, с которых здесь начали новые пассажиры, видно было, что они уже прежде, сидя в ожидании поезда на станции, беседовали на одну какую-то любопытную тему, а здесь они только продолжали иллюстрации к положениям, до которых раньше договорились.

Говорил из двух пассажиров один, у которого был старый подержанный баритон – голос, приличный, так сказать, большому акционеру или не меньше как тайному советнику, явно разрабатывающему

какие-нибудь естественные богатства страны. Другой только слушал и лишь изредка вставлял какое-нибудь слово или спрашивал каких-нибудь пояснений. Этот говорил немного звонким фальцетом, какой наичаще случается у прогрессирующих чиновников особых поручений, чувствующих тяготение к литературе.

Начинал баритон, и речь его была следующая:

– Я вам сейчас же представлю всю эту нашу социабельность в лицах, и притом как она выразилась зараз в одном самом недавнем и, на мой взгляд, прелюбопытном деле. Случай этот может вам показать, что наш самобытный русский гений, который вы отрицаете, – вовсе не вздор. Пускай там говорят, что мы и Рассея, и что у нас везде разлад да разлад, но на самом-то деле, кто умеет наблюдать явления беспристрастно, тот и в этом разладе должен усмотреть нечто чрезвычайно круговое, или, так сказать, по-вашему, «социабельное». Бисмарк где-то сказал раз, что России будто «остается только погибнуть», а газетные звонари это подхватили, и звонят, и звонят... А вы не слушайте этого звона, а вникайте в дела, как они на самом деле делаются, так вы и увидите, что мы умеем спастись от бед, как никто другой не умеет, и что нам действительно не страшны многие такие положения, которые и самому господину Бисмарку в голову, может быть, не приходили, а других людей, не имеющих нашего крепкого закала, просто раздавили бы.

– Прелюбопытно ставите вопрос, и я охотно вас слушаю, – заметил фальцет.

Баритон продолжал:

– Если бы я готовил к печати те три маленькие историйки, которые хочу рассказать вам о нашей социабельности, то я, вероятно, назвал бы это как-нибудь трилогию о том, как вор у вора дубинку украл и какое от того вышло для всех благополучие жизни. Впрочем, как нынче уже, можно сказать, всякий даже шиш литератора из себя корчит, то и я попробую излагать вам мою повесть литературно... Именно, разделю вам мой рассказ по рубрикам, вроде трилогии, и в первую статью пущу интеллигента, то есть барина, который, по мнению некоторых, будто бы более других «оторван от почвы». А вот вы сейчас же увидите, какие это пустяки и как у нас по родной пословице «всякая сосна своему бору шумит».

Глава первая

Барин

Поехал я летом странствовать и приехал на выставку. Обошел и осмотрел все отделы, попробовал было чем-нибудь отечественным полюбоваться, но, как и следовало ожидать, вижу, что это не выходит: полюбоваться нечем. Одно, что мне было приглянулось и даже, признаться сказать, показалось удивительно – это чья-то пшеница в одной витрине.

В жизнь мою я никогда еще такого крупного, чистого, полного зерна не видывал. Точно это и не пшеница, а отборный миндаль, как, бывало, в детстве видал у себя дома, когда матушка к Пасхе таким миндалем кулича украшала.

Посмотрел я на подпись и еще больше удивился: подписано, что это удивительное, роскошное зерно собрано с полей моей родной местности, из имения, принадлежащего соседу моих родственников, именитому барину, которого называть вам не стану. Скажу только, что он известный славянский деятель, и в Красном кресте ходил, и прочее, и прочее.

Я знал этого господина еще в гимназии, но, признаться, не питал к нему приязни. Впрочем, это еще по детским воспоминаниям – потому что он сначала в классе все ножички крал и продавал, а потом начал себе брови сурмить и еще чем-то худшим заниматься.

Думаю себе: пожалуй, и здесь тоже обман! Небось где-нибудь купил у немецких колонистов куль хорошей пшеницы и выставил будто с своих полей.

Рассуждал я таким образом, потому что наши поля ржаные, и если родят пшеничку, то очень неавантажную. Но чтобы не осуждать долго своего ближнего, пойду-ка, думаю, лучше в буфет, выпью глоток нашего доброго русского вина и кусок кулебяки съем. За сытостью критика исчезает.

Но только я занял в ресторане место, как замечаю, что совсем возле меня сидит господин, с виду мне как будто когда-то известный. Я на него взглянул и отвел глаза в сторону, но чувствую, что и он в меня всматривается, и вдруг наклонился ко мне и говорит:

– Извините меня, если я не ошибаюсь – вы такой-то?

Я отвечаю:

– Вы не ошиблись, – я действительно тот, кем вы меня назвали.

– А я, – говорит, – такой-то, – и отрекомендовался.

Надеюсь, вы можете догадаться, что это был как раз тот самый мой давний товарищ, который в гимназии ножички крал и брови сурмил, а теперь уже разводит и выставляет самую удивительную пшеницу.

Что же, и прекрасно: гора с горою не сходится, а человеку с человеком – очень возможно сойтись. Мы перекинулись несколькими вопросами: кто,

откуда и зачем? Я говорю, что так, просто, как Чичиков, ездю для собственного удовольствия. А он шутливо подсказывает: «Верно, обозреваете».

– Не обозреваю, – говорю, – а просто для своего удовольствия посмотреть хочу.

А он рекомендует себя экспонентом и объявляет, что пшеницу выставил.

Я ответил, что заметил уже его пшеничку, и полюбопытствовал, из каких это семян и на какой именно местности росло? Все объясняет речисто, – так режет со всеми подробностями. Я снова подивился, когда узнал, что и семена из нашего края, и поля, зародившие такое удивительное зерно, – смежны с полями моего брата.

Дивился, повторяю вам, потому, что край наш никогда прежде не родил очень хорошей пшеницы. А он отвечает:

– Ну, да то было прежде, а теперь и у нас совсем не то. Особенно у меня в хозяйстве. С старым этого равнять нельзя. Большая разница, большая, батюшка, во всем произошла перемена с тех пор, как вы отбыли из нашей губернии достигать чинов и знатности да легких капиталов смелыми оборотами. А мы, батюшка, как муромцы, – сидим на земле, сидели и кое-что высидели и дождались. Теперь опять наше дворянское время начинается, а ваше, чиновничье, проходит. Люди вспомнили дедовскую поговорку, что «земляной рубль тонок да долог, а торговый широк да короток». Мы, дворяне, обернулись к сохе и по сторонам не зеваем, – мы знаем, что не столица, а соха нас спасет.

– Да, – говорю, – все это прекрасно, но, однако же, там, в вашей местности, живет мой брат, и я его навещал, но никогда не слыхал, чтобы там родилось такое удивительное зерно.

– Что же из этого? Навещаю – это еще не значит хозяйничаю. У меня в селе теперь молодой поп, так я в его отсутствие, например, жену его навещаю, а все-таки я не могу сказать, что я у него хозяйничаю, хозяин-то все-таки поп. А брат ваш, извините, – рутинер.

– Да, – говорю, – мой брат не рискован.

– Куда ему! Нет! Таких, как я, покуда еще только несколько человек, но мы уже двинули свои хозяйства, и вот вам результаты: это моя пшеница. Вы не читали: я уже получил здесь за мое зерно золотую медаль. Мне это дорого, так же как упорядочение наших славянских княжеств, которое повредил берлинский трактат, – но в чем мы не виноваты, в том и не виноваты, а в нашем хозяйском деле нам никто не указ. Пройдемтесь еще раз к моей витринке.

Я был очень рад, чтобы только кончить про «княжества», потому что я в этом вопросе профан. Подошли к витрине. Он взял в руку серебряный совочек и начал с него у меня перед глазами зерно перепускать.

– Изумляюсь, – говорю, – вижу, но и глазам верить не могу, как этакое дивное, крупное зерно могло вырасти на нашей земельке!

– А вот читайте, – указывает на надпись на витрине. – Видите: мое имя. И притом, батюшка, здесь подлог невозможен: там у них в выставочном правлении все документы – все эти свидетельства и разные удостоверения. Все доказательства есть, что это действительно зерно из моих урожаев. Да вот будете у своего двоюродного брата, так жалуйте, сделайте милость, и ко мне – вам и все наши крестьяне подтвердят, что это зерно с моих полей. Способ, батюшка, способ отделки, – вот в чем дело.

Думаю себе: не смею верить, а впрочем – боже, благослови.

– Какая же, – спрашиваю, – такому редкостному зерну цена?

– Да цена хорошая: червивые французишки и англичане не отходят, все осаждают и дают цену как раз в два раза больше самой высокой, но я им, подлецам, разумеется, не продам.

– Отчего?

– Как это – иностранцам-то?.. Э, нет, батюшка, нет, – не продам! Нет, батюшка, и так у нас уже много этого несчастного разлада слова с делом. Что в самом деле баловаться? Зачем нам иностранцы? Если мы люди истинно русские, то мы и должны поддержать своих, истинно русских торговцев, а не чужих. Пусть у меня купит наш истинно русский купец, – я ему продам, и охотно продам. Даже своему, православному человеку уступлю против того, что предлагают иностранцы, – но пусть истинно русский наживает.

А в это самое время как мы разговариваем, смотрю, к нему действительно вдруг подлетают два иностранца.

...Мне показалось, что они как будто евреи, но, впрочем, оба прекрасно говорили по-французски и начали жарко убеждать его продать им пшеницу.

– Видите, как юлят, – сказал он мне по-русски, – а там вон, смотрите, рыжий черт смоленский лен рассматривает. Это только один отвод глаз. Ему лен ни на что не нужен, это англичанин, который тоже проходу мне не дает.

Что же, думаю, может быть, это все и правда. Тогда и иностранные агенты у нас приболтывались, а между своих именитых людей немало встречалось таковых, что гнилой запад под пятой задавить собирались. Вот, верно, и это один из таковых.

Прошло с этой встречи два или три дня, я было уже про этого господина и позабыл, но мне довелось опять его встретить и ближе с ним ознакомиться. Дело было в одной из лучших гостиниц за обедом; сел я обедать и вижу, неподалеку сидит мой образцовый хозяин с каким-то солидным человеком, несомненно русского и даже несомненно торгового телосложения. Оба едят хорошо, а еще лучше того запивают.

Заметил и он меня и сейчас же присылает с служившим им половым карточку и стакан шампанского на серебряном подносе.

Не принять было неловко – я взял бокал и издали послал ему воздушный поклон.

На карточке было начертано карандашом: «Поздравьте! продал зерно сему благополучному россиянину и тремтете пьем. Окончив обед, приближайтесь к нам».

«Ну, – думаю, – вот этого я уже не сделаю», а он точно проник мои мысли и сам подходит.

– Кончил, – говорит, – батюшка, расстался, продал, но своему, русскому. Вот этот купчина весь урожай закупил и сразу пять тысяч задатку дал за мою пшеничку. Дело не совсем пустое – всего вышло тысяч на сорок. Собственно говоря – и то продешевил, но по крайней мере пусть пойдет своему брату, русскому. Французы и англичанин из себя выходят – злятся, а я очень рад. Черт с ними, пусть не распускают вздоров, что у нас своего патриотизма нет. Пойдемте, я вас познакомлю с моим покупателем. Оригинальный в своем роде субъект: из настоящих простых, истинно русских людей в купцы вышел и теперь страшно богат и все на храмы жертвует, но при случае не прочь и покутить. Теперь он именно в таком ударе: не хотите ли отсюда вместе ударимся, «где оскорбленному есть чувству уголок»?

– Нет, – говорю, – куда же мне кутить?

– Отчего так? Здесь ведь чином и званием не стесняются, – мы люди простые и дурачимся все кто как может.

– То-то и горе, – говорю, – что я уже совсем не могу пить.

– Ну, нечего с вами делать, – будь по-вашему – оставайтесь. А пока вот пробежите наше условие – полюбуйтесь, как все обстоятельно. Я, батюшка, ведь иначе не иду, как нотариальным порядком. Да-а-с, с нашими русачками надо все крепко делать, и иначе нельзя, как хорошенько его «обовязать», а потом уж и тремтете с ним пить. Вот видите, у меня все обозначено: пять тысяч задатка, зерно принять у меня в имении – «весь урожай обмолоченный и хранимый в амбарах села Черитаева, и деньги по расчету уплатить немедленно, до погрузки кулей на барки». Как находите,

нет ли недосмотра? По-моему, кажется, довольно аккуратно?

– И я, – говорю, – того же самого мнения.

– Да, – отвечает, – я его немножко знаю: он на славян жертвовал, а ему пальца в рот не клади.

Барин был неподдельно весел, и купец тоже.

Вечером я их видел в театре в ложе с слишком красивою и щегольски одетою женщиною, которая наверно не могла быть ни одному из них ни женою, ни родственницею и, по-видимому, даже еще не совсем давно образовала с ними знакомство.

В антрактах купец появлялся в буфете и требовал «треттете».

Человек тотчас же уносил за ним персики и другие фрукты и бутылку *creme de the*.

При выходе из театра старый товарищ уловил меня и настоятельно звал ехать с ними вместе ужинать и притом сообщил, что их дама «субъект самой высшей школы».

– Настоящей *haut l'école*!

– Ну, тем вам лучше, – говорю, – а мне в мои лета, – и прочее, и прочее, – словом, отклонил от себя это соблазнительное предложение, которое для меня тем более неудобно, что я намеревался на другой день рано утром выехать из этого веселого города и продолжать мое путешествие. Земляк меня освободил, но зато взял с меня слово, что когда я буду в деревне у моих родных, то непременно приеду к нему посмотреть его образцовое хозяйство и в особенности его удивительную пшеницу.

Я дал требуемое слово, хотя с неудовольствием. Не умею уж вам сказать: мешали ли мне школьные воспоминания о ножичке и чем-то худшем из области *haut l'école* или отталкивала меня от него настоящая ноздревщина, но только мне все так и казалось, что он мне дома у себя всучит либо борзую собаку, либо шарманку.

Месяца через два, послонявшись здесь и там и немножко полечившись, я как раз попал в родные Палестины и после малого отдыха спрашиваю у моего двоюродного брата:

– Скажи, пожалуйста, где у вас такой-то? и что это за человек? мне надо у него побывать.

А кузен на меня посмотрел и говорит:

– Как, ты его знаешь?

Я говорю, что мы с ним вместе в школе были, а потом на выставке опять возобновили знакомство.

– Не поздравляю с этим знакомством.

– А что такое?

– Да ведь это отсветнейший лгунице и патентованный негодяй.

– Я, – говорю, – признаться, так и думал. – Тут я и рассказал, как мы встретились на выставке, как вспомнили однокашничество и какие вещи он мне рассказывал про свое хозяйство и про свою деятельность в пользу славянских братьев.

Кузен мой расхохотался.

– Что же тут смешного?

– Все смешно, кроме кой-чего гадкого. Впрочем, ты, надеюсь, в политические откровенности с ним не пускался.

– А что?

– Да у него есть одна престранная манера: он все наклоняет разговор по известному склону, а потом вдруг вспоминает, что он «дворянин», и начинает протестовать и угрожать. Его уже за это, случалось, били, а еще чаще шампанским отпаивали, пока пропьет память.

– Нет, – говорю, – я в политику не пускался, да хоть бы и пустился, ничего бы из того не вышло, потому что вся моя политика заключается в отвращении от политики.

– А это, – говорит, – ничего не значит.

– Однако же?

– Он соврет, наклеветает, что ты как-нибудь молчаливо пренебрегаешь...

– Ну, тогда, значит, от него все равно спасенья нет.

– Да и нет, если только не иметь отваги выгнать его от себя вон.

Мне это показалось уже слишком.

– Удивляюсь, – говорю, – как же это все другие на его счет так ошибаются.

– А кто, например?

– Да ведь вот, – говорю, – он от вас же приезжал во время славянской войны, и у нас про него в газетах писали, и солидные люди его принимали.

Брат рассмеялся и говорит, что этого господина никто не посылал и в пользу славян действовать не уполномочивал, а что он сам усматривал в этом хорошее средство к поправлению своих плохих денежных обстоятельств и еще более дрянной репутации.

– А что его у вас в столице возили и принимали, так этому виновато ваше модничанье; у вас ведь все так: как затеете возню в каком-нибудь особливом роде, то и возитесь с кем попало, без всякого разбора.

– Ну, вот видишь ли, – говорю, – мы же и виноваты. На вас взаправду не угодишь: то вам Петербург казался холоден и чопорен, а теперь вы готовы уверять, что он какой-то простофиля, которого каждый ваш нахал за

усы проводить может.

– И вообрази себе, что ведь действительно может.

– Пожалуйста!

– Истинно тебя уверяю. Только всей и мудрости, что надо прислушаться, что у вас в данную минуту в голове бурчит и какая глупость на дежурство назначается. Открываете ли вы славянских братьев, или пленяете умом заатлантических друзей, или собираетесь зазвонить вместо колокола в мужичьи лапти... Уловить это всегда нетрудно, чем вы бредите, а потом сейчас только пусти к вашей приме свою втору, и дело сделано. У вас так и заорут: «Вот она, наша провинция! вот она, наша свежая, непочатая сила! Она откликнулась не так, как мы, такие, сякие, ледащие, гадкие, скверные, безнатурные, заморенные на ингерманландских болотах». Вы себя черните да бьете при содействии какого-нибудь литературного лгунищи, а наши провинциалы читают да думают: «Эва мы, братцы, в гору пошли!» И вот, которые пошельмоватее, поначитавшись, как вы там сами собою тяготитесь и ждете от нас, провинциалов, обновления, – снаряжаются и едут в Петербург, чтобы уделить вам нечто от нашей деловитости, от наших «здравых и крепких национальных идей». Хорошие и смиренные люди, разумеется, глядят на это да удивляются, а ловкачи меж тем дело делают. Везут вам эти лгунищи как раз то, что вам хочется получить из провинции: они и славянам братья, и заатлантчикам – друзья, и впереди они вызывались бежать и назад рады спятиться до обров и дулебов. Словом, чего хотите, – тем они вам и скинутся. А вы думаете: «Это земля! Это провинция». Но мы, домоседы, знаем, что это и не земля, и не провинция, а просто наши лгунищи. И тот, к которому ты теперь собираешься, именно и есть из этого сорта. У вас его величали, а по-нашему он имени человеческого не стоит, и у нас с ним бог весть с коей поры никто никакого дела иметь не хотел.

– Но, однако, по крайней мере – он хороший хозяин.

– Нимало.

– Но он при деньгах – это теперь редкость.

– Да, с того времени, как ездил в Петербург учить вас национальным идеям, у него в мошне кое-что стало позвякивать, но нам известно, что он там купил и кого продал.

– Ну, в этом случае, – говорю, – я сведущее вас всех: я сам видел, как он продал свою превосходную пшеницу.

– Нет у него такой пшеницы.

– Как это – «нет»?

– Нет, да и только. Так нет, как и не было.

- Ну, уж это извини – я ее сам видел.
- В витрине?
- Да, в витрине.
- Ну, это не удивительно – это ему наши бабы руками отбирали.
- Полно, – говорю, – пожалуйста: разве это можно руками отбирать?
- Как! руками-то? А разумеется можно. Так – сидят, знаешь, бабы и девки весенним деньком в тени под амбарчиком, поют, как «Антон козу ведет», а сами на ладонях зернышко к зернышку отбирают. Это очень можно.
- Какие, – говорю, – пустяки!
- Совсем не пустяки. За пустяки такой скарעד, как мой сосед, денег платить не станет, а он сорока бабам целый месяц по пятиалтынному в день платил. Время только хорошо выбрал: у нас ведь весной бабы нипочем.
- А как же, – спрашиваю, – у него на выставке было свидетельство, что это зерно с его полей!
- Что же, это и правда. Выбранные зернышки тоже ведь на его поле выросли.
- Да; но, однако, это значит – голое и очень наглое мошенничество.
- И не забудь – не первое и не последнее.
- Да, но как же... этот купец, которого он «обовязал» такими безвыходными условиями... Он начал, разумеется, против этого барина судебное дело, или он разорился?
- Да, пожалуй, – он начал дело, но только совсем в особой инстанции.
- Где же это?
- У мужика. Выше этого ведь теперь, по вашему вразумлению, ничего быть не может.
- Да полно, – говорю, – тебе эти крючки загинать да шутовствовать. – Расскажи лучше просто, как следует, – что такое происходит в вашей самодеятельности?
- Изволь, – отвечает приятель, – я тебе расскажу. – Да, батюшка, и рассказал такое, что в самом деле может и даже должно превышать всякие узкие, чужеземные понятия об оживлении дел в крае... Не знаю, как вам это покажется, но по-моему – оригинально и дух истинного, самобытного человека не может не радовать.
- Тут фальцет перебил рассказчика и начал его упрашивать довести начатую трилогию до конца, то есть рассказать, как купец сделался с пройдохой-барином, и как всех их помирил и выручил мужик, к которому теперь якобы идет какая-то апелляция во всех случаях жизни.
- Баритон согласился продолжать и заметил:

– Это довольно любопытно. Представьте вы себе, что как ни смел и находчив был сейчас мною вам описанный дворянин, с которым никому не дай бог в делах встретиться, но купец, которого он так беспощадно надул и запутал, оказался еще его находчивее и смелее. Какой-нибудь вертопрах-чужеземец увидал бы тут всего два выхода: или обратиться к суду, или сделать из этого – черт возьми – вопрос крови. Но наш простой, ясный русский ум нашел еще одно измерение и такой выход, при котором и до суда не доходили, и не ссорились, и даже ничего не потеряли, а напротив – все свою невинность соблюли, и все себе капиталы приобрели.

– Прелюбопытно!

– Да как же-с! Из такой возмутительной, предательской и вообще гадкой истории, которая какого хотите, любого западника вконец бы разорила, – наш православный пузатый купчина вышел молодцом и даже нажил этим большие деньги и, что всего важнее, – он, сударь, общественное дело сделал: он многих истинно несчастных людей поддержал, поправил и, так сказать, устроил для многих благоденствие.

– Прелюбопытно, – снова вставил фальцет.

– Ну уж одним словом – слушайте: купец, который сейчас перед вами является, уверяю вас, барина лучше.

Глава вторая

Купец

Купец, которому было продано отборное зерно, разумеется, был обманут беспощадно. Все эти французы жидовского типа и англичане, равно как и дама *haut l'école*, у помещика были подставные лица, так сказать, его агенты, которые действовали, как известный Утешительный в гоголевских «Игроках». Иностранцам такое отборное зерно нельзя было продавать, потому что, во-первых, они не нашли бы способа, как с покупкою справиться, и завели бы судебный скандал, а во-вторых, у них у всех водятся консулы и посольства, которые не соблюдают правила невмешательства наших дипломатов и готовы вступать за своего во всякие мелочи. С иностранцами могла бы выйти прескверная история, и барин, стоя на почве, понимал, что русское изобретение только один русский же национальный гений и может преодолеть. Потому отборное зерно и было продано своему единоверцу.

Прислал этот купец к барину приказчика принимать пшеницу. Приказчик вошел в амбары, взглянул в закромы, ворохнул лопатой и видит,

разумеется, что над его хозяином совершено страшное надувательство. А между тем купец уже запродавал зерно по образцам за границу. Первая мысль у растерявшегося приказчика явилась такая, что лучше бы всего отказаться и получить назад задаток, но условие так написано, что спасенья нет: и урожай, и годы, и амбары – все обозначено, и задаток ни в каком случае не возвращается. У нас известно: «что взято, то свято». Сунулся приказчик туда-сюда, к юристам, – те говорят, – ничего не поделаешь: надо принимать зерно, какое есть, и остальные деньги выплачивать. Спор, разумеется, завести можно, да неизвестно, чем он кончится, а десять тысяч задатку гулять будут, да и с заграничными покупателями шутить нельзя. Подавай им, что за продано.

Приказчик посылает хозяину телеграмму, чтобы тот скорее сам приехал. Купец приехал, выслушал приказчика, посмотрел хлеб и говорит своему молодцу:

– Ты, братец, дурак и очень глупо дело повел. Зерно хорошее, и никакой тут ссоры и огласки не надо; коммерция любит тайность: товар надо принять, а деньги заплатить.

А с барином он повел объяснение в другом роде.

Приходит, – помолился на образ и говорит:

– Здравствуй, барин!

А тот отвечает:

– И ты здравствуй!

– А ты, барин, плут, – говорит купец, – ты ведь меня надул как нельзя лучше.

– Что делать, приятель! а вы сами ведь тоже никому спуска не даете и нашего брата тоже объегориваете? Дело обоюдное.

– Так-то оно так, – отвечает купец, – дело это действительно обоюдное; но надо ему свою развязку сделать.

Барин очень согласен, только говорит:

– Желая знать: в каких смыслах развязаться?

– А в таких, мол, смыслах, что если ты меня в свое время надул, то ты же должен мне теперь по-христиански помогать, а я тебе все деньги отдам и еще, пожалуй, немножко накину.

Дворянин говорит, что он на этих условиях всякое добро очень рад сделать, только говори, мол, мне прямо; что вашей чести, какая новая механика требуется?

Купец вкратце отвечает:

– Мне немного от тебя нужно, только поступи ты со мною, как поступил благоразумный домоправитель, о котором в Евангелии

повествуется.

Барин говорит:

– Я всегда после Евангелия в церковь хожу: не знаю, что там читается.

Купец ему довел на память: «Призвав коегожда от должников господина своего глаголаше: колицем должен еси? Приими писание твое и напиши другое. И похвали господь домоправителя неправедного».

Дворянин выслушал и говорит:

– Понимаю. Это ты, верно, хочешь еще у меня купить такой же редкой пшеницы.

– Да, – отвечал купец, – теперь уж надо продолжать, потому что никаким другим манером нам себя соблюсти невозможно. А к тому, нельзя все только о себе думать, – надо тоже дать и бедному народишку что-нибудь заработать.

Барин это о народишке пустил мимо ушей и спрашивает:

– А какое количество зерна ты у меня еще купить желаешь?

– Да я теперь много куплю... Мне так надо, чтобы целую барку одним этим добрым зерном нагрузить.

– Гм! Так, так! Ты, верно, хочешь ее особенно бережно везти?

– Вот это и есть.

– Ага! понимаю. Я очень рад, очень рад и могу служить.

– Документальное удостоверение нужно, что на целую барку зерна нагружаю.

– Само собою разумеется. Разве можно в нашем краю без документа?

– А какая цена? сколько возьмешь за эту добавочную покупку?

– Возьму не дороже, как за мертвые души.

Купец не понял, в чем дело, и перекрестился.

– Какие такие мертвые души? Что тебе про них вздумалось! Им гнить, а нам жить. Мы про живое говорим: сказывай, сколько возьмешь, чтобы несуществующее продать?

– В одно слово?

– В одно слово.

– По два рубля за куль.

– Вот те и раз!

– Это недорого.

– Нет, ты по-божьему – получи по полтине за куль.

Дворянин сделал удивленное лицо.

– Как это – по полтине за куль пшеницы-то!

А тот его обрезаживает:

– Ну какая, – говорит, – это пшеница!

– Да уж об этом не будем спорить – такая она или сякая, однако ты за нее с кого-нибудь настоящие деньги слупишь.

– Это еще как бог даст.

– Да уж тебе-то бог непременно даст. К вам, к купцам, я ведь и не знаю за что, – бог ужасно милостив. Даже, ей-богу, завидно.

– А ты не завидуй, – зависть грех.

– Нет, да зачем это все деньги должны к вам плыть? Вам с деньгами-то хорошо.

– Да, мы припадаем и молимся, – и ты молись: кто молится, тому бог дает хорошо.

– Конечно, так, но вам тоже и есть чем – вы много жертвуете на храмы.

– И это.

– Ну, вот то-то и есть. А ты мне дай цену подороже, так тогда и я от себя пожертвую.

Купец рассмеялся.

– Ты, – говорит, – плут.

А тот отвечает:

– Да и ты тут.

– Нет, взаправду, вот что: так как я вижу, что ты знаешь Писание и хочешь сам к вере придержаться, то я тебе дам по гривеннику на куль больше, чем располагал. Получай по шесть гривен, и о том, что мы сделали, никто знать не будет.

А барин отвечает:

– Хорошо, но еще лучше, ты мне дай по рублю за куль и потом, если хочешь, всем об этом рассказывай.

Купец посмотрел на него, и оба враз рассмеялись.

– Ну, – говорит купец, – скажу я тебе, барин, что плутее тебя даже в самом нижнем звании редко подыскать.

А тот, не смутясь, отвечает:

– Нельзя, братец, в нашем веке иначе: теперь у нас благородство есть, а нет крестьян, которые наше благородство оберегали, а во-вторых, нынче и мода такая, чтобы русской простонародности подражать.

Купец не стал больше торговаться.

– Нечего, видно, с тобою говорить – ты чищенный, – крестись перед образом и по рукам.

Барин согласен молиться, но только деньги вперед требует и местечко на столе ударяет, где их перед ним положить желательно.

Купец о то самое место деньги и выклат.

– Ладно, мол, вели, только скорее, чем попало новое кулье набивать, –

я хочу, чтобы при мне вся погрузка была готова и караван отплыл.

Нагрузили барку кулями, в которых черт знает какой дряни набили под видом драгоценной пшеницы; застраховал все это купец в самой дорогой цене, отслужили молебен с водосвятием, покормили православный народушко пирогами с легким и с сердцем и отправили судно в ход. Барки поплыли своим путем, а купец, время не тратя, с барином подвел окончательные счета по-божьему, взял бумаги и полетел своим путем в Питер и прямо на Аглицкую набережную к толстому англичанину, которому раньше запродажу совершил по тому дивному образцу, который на выставке был.

«Зерно, – говорит, – отправлено в ход, и вот документы и страховка; прошу теперь мне отдать, что следует, на такое-то количество, вторую часть получения».

Англичанин посмотрел документы и сдал их в контору, а из несгораемого шкафа вынул деньги и заплатил.

Купец завязал их в платок и ушел.

Тут фальцет перебил рассказчика словами:

– Вы какие-то страсти говорите.

– Я говорю вам то, что в действительности было.

– Ну так значит, этот купец, взявши у англичанина деньги, бежал, что ли, с ними за границу?

– Вовсе не бежал. Чего истинный русский человек побежит за границу? Это не в его правилах, да он и никакого другого языка, кроме русского, не знает. Никуда он не бежал.

– Так как же он ни аглицкого консула, ни посла не боялся? Почему дворянин их боялся, а купец не стал бояться?

– Вероятно, потому, что купец опытнее был и лучше знал народные средства.

– Ну полноте, пожалуйста, какие могут быть народные средства против англичан!.. Эти всесветные торгаши сами кого угодно облупят.

– Да кто вам сказал, что он хотел англичан обманывать? Он знал, что с ними шутить не годится, и всему дальнейшему благополучному течению дела усмотрел иной проспект, а на том проспекте предвидел уже для себя полезного деятеля, в руках которого были все средства все это дело ограничить и в рамку вставить. Тот и дал всему такой оборот, что ни Ротшильд, ни Томсон Бойер и никакой другой коммерческий гений не выдумает.

– И кто же был этот великий делец: адвокат или маклер?

– Нет, мужик.

- Как мужик?
- Да все дело обделал он – наш простой, наш находчивый и умный мужик! Да я и не понимаю – отчего вас это удивляет? Ведь читали же вы небось у Щедрина, как мужик трех генералов прокормил?
- Конечно, читал.
- Ну так отчего же вам кажется странным, что мужик умел плутню распутать?
- Будь по-вашему: спрячу пока мои недоразумения.
- А я вам кончу про мужика, и притом про такого, который не трех генералов, а целую деревню один прокормил.

Глава третья

Мужик

Мужик, к помощи которого обратился купец, был, как всякий русский мужик, «с вида сер, но ум у него не черт съел». Родился он при матушке широкой реке-кормилице, а звали его, скажем так, – Иваном Петровым. Был этот раб божий Иван в свое время молод, а теперь достигал почтенной старости, но хлеба даром, лежа на печи, не кушал, а служил лоцманом при Толмачевских порогах, на Куриной переправе. Лоцманская должность, как вам, вероятно, известно, состоит в том, чтобы провожать суда, идущие через опасные для прохода места. За это провожатому лоцману платят известную плату, и та плата идет в артель, а потом разделяется между всеми лоцманами данной местности.

Всякий хозяин может повести свое судно и на собственную ответственность, без лоцмана, но тогда уже, если с «посудкой» случится какое-нибудь несчастье, – лоцманская артель не отвечает. А потому, если судно идет с застрахованным грузом, то условиями страховки требуется, чтобы лоцман был непременно. Взято это, конечно, с иностранных примеров, без надлежащего внимания к нашей беспримерной оригинальности и непосредственности. Заводили у нас страховые операции господа иностранцы и думали, что их Рейн или Дунай – это все равно что наши Свирь или Волга, и что их лоцман и наш – это опять одно и то же. Ну нет, брат, – извини!

Наши речные лоцманы – люди простые, не ученые, водят они суда, сами водимые единым богом. Есть какой-то навык и сноровка. Говорят, что будто они после половодья дно реки исследуют и проверяют, но, полагать надо, все это относится более к области успокоительных всероссийских

иллюзий; но в своем роде лоцманы – очень большие дельцы и наживают порою кругленькие капиталы. И все это в простоте и в смирении – бога почитая и не огорчая мир, то есть своих людей не позабывая.

Мужик Иван Петров был из зажиточных; ел не только щи с мясом, а еще, пожалуй, в жирную масляную кашу ложку сметаны клал, не столько уже «для скусу», сколько для степенства – чтобы по бороде текло, а ко всему этому выпивал для сварения желудка стакан-два нашего простого, доброго русского вина, от которого никогда подагры не бывает. По субботам он ходил в баню, а по воскресениям молился усердно и вежливо, то есть прямо от своего лица ни о чем просить не дерзал, а искал посредства просиявших угодников; но и тем не докучал с пустыми руками, а приносил во храм дары и жертвы: пелены, ризы, свечи и курения. Словом, был христианин самого заправского московского письма.

Купцу, которого дворянин отборным зерном обидел, благочестивый мужик Иван Петров был знаем по верным слухам как раз с той стороны, с какой он ему нынче самому понадобился. Он-то и был тот, который мог все дело поправить, чтобы никому решительно убытка не было, а всем польза.

«Он выручал других – должен выручить и меня», – рассудил купец и позвал к себе в кабинет того приказчика, который один знал, с чем у них застрахованные кули на барки нагружены, и говорит:

– Ты веди караван, а я вас где надо встречу.

А сам поехал налегке простым, богомольным человеком прямо к Тихвинской, а заместо того попал к Толмачевым порогам на Куриный переход. «Где сокровище, там и сердце». Пристал наш купец здесь на постоялом дворе и пошел узнавать: где большой человек Иван Петров и как с ним свидеться.

Ходит купец по бережку и не знает: как за дело взяться. А просто взяться – невозможно: дело затеяно воровское.

К счастью своему, видит купец на бережке, на обернутой кверху дном лодке сидит весь белый, матерой старик, в плисовом ватном картузе, борода празелень, и корсунский медный крест из-за пазухи касандринской рубахи наружу висит.

Понравился старец купцу своим правильным видом. Прошел мимо этого старика купец раз и два, а тот его спрашивает:

– Чего ты здесь, хозяин, ищешь и что обрести желаешь: то ли, чего не имел, или то, что потерял?

Купец отвечает, что он так себе «прохаживается», но старик умный – улыбнулся и отвечает:

– Что это еще за прохаживание! В проходку ходить – это господское, а

не христианское дело, а степенный человек за делом ходит и дела смотрит – дела пытается, а не от дела лытает. Неужели же ты в таких твоих годах даром время провождаешь?

Купец видит, что обрел человека большого ума и проницательности – сейчас перед ним и открылся, что он действительно дела пытается, а не от дела лытает.

- А к какому месту касающемуся?
- Касающее этого самого места.
- И в чем оно содержащее?
- Содержащее в том, что я обижен весьма несправедливым человеком.
- Так; нынче, друг, мало уже кто по правде живет, а все по обиде. А кого ты на нашем берегу ищешь?
- Ищу себе человека поможительного.
- Так; а в какой силе?
- В самой большой силе – грех и обиду отнимающей.
- И-и, брат! Где весь грех омыть. В Писании у апостолов сказано: «Весь мир во грехе положен», – всего не омоешь, а разве хоть по малости.
- Ну хоть по малости.
- То-то и есть: господь грех потопом омыл, а он вновь настал.
- Научи меня, дедушка, – где для меня здесь полезный человек?
- А как ему имя от бога дано?
- Имя ему Иоанн.
- «Бысть человек послан от бога, имя ему Иоанн», – проговорил старик. – А как по изотчеству?
- Петрович.
- Ну, сам перед тобою я – Иван Петрович. Сказывай, какая твоя нужда?

Тот ему рассказал, впрочем только одну первую половину, то есть о том, какой плут был барин, который ему отборное зерно продал, а о том, какое он сам плутовство сделал, – про то умолчал, да и надобности рассказывать не было, потому что старец все в молчании постиг и мягко оформил ответное слово:

- Товар, значит, страховой?
- Да.
- И подконтрачен?
- Да, подконтрачен.
- Иностранцам?
- Англичанам.
- Ух! Это жохи!

Старик зевнул, перекрестил рот, потом встал и добавил:

– Приходи-ко ты ко мне, кручинная голова, на двор: о таком деле надо говорить – подумавши.

Через некоторое время, как там было у них условлено, приходит купец, «кручинная голова», к Ивану Петрову, а тот его на огород, – сел с ним на банное крылечко и говорит:

– Я твое дело все обдумал. Пособить тебе от твоих обязательств – действительно надо, потому что своего русского человека грешно чужанам выдать, и как тебя избавить – это есть в наших руках, но только есть у нас одна своя мирская причина, которая здесь к тому не позволяет.

Купец стал упрашивать.

– Сделай милость, – говорит, – я тысяч не пожалею и деньги сейчас вперед хоть Николе, хоть Спасу за образник положу.

– Знаю, да взять нельзя.

– Отчего?

– Очень опасно.

– С коих же пор ты так опаслив стал?

Старик на него поглядел и с солидным достоинством заметил, что он всегда был опаслив.

– Однако другим помогал.

– Разумеется, помогал, когда в своем правиле и весь мир за тебя стоять будет.

– А ныне разве мир против тебя стоит?

– Я так думаю.

– А почему?

– Потому что у нас, на Куриной переправе, в прошлом году страховое судно затонуло и наши сельские на том разгрузе вволю и заработали, а если нынче опять у нас этому статься, то на Поросячем броде люди осерчают и в донос пойдут. Там ноне пожар был, почитай все село сгорело, и им строиться надо и храм поправить. Нельзя все одним нашим предоставить благостыню, а надо и тем. А поезжай-ко ты нынче ночью туда, на Поросячий брод, да вызови из третьего двора в селе человека, Петра Иванова – вот той раб тебе все яже ко спасению твоему учредит. Да денег не пожалей – им строиться нужно.

– Не пожалею.

Купец в ту же ночь поехал, куда благословил дедушка Иоанн, нашел там без труда в третьем дворе указанного ему помогательного Петра и очень скоро с ним сделался. Дал, может быть, и дорого, но вышло так честно и аккуратно, что одно только утешение.

– То есть какое же это утешение? – спросил фальцет.

– А такое утешение, что как подоспел сюда купцов караван, где плыла и та барка с сором вместо дорогой пшеницы, то все пристали против часовенки на бережку, помолбствовали, а потом лоцман Петр Иванов стал на буксир и повел, и все вел благополучно, да вдруг самую малость рулевому оборот дал и так похибил, что все суда прошли, а эта барка зацепилась, повернулась, как лягушка, пузом вверх и потонула.

Народу стояло на обоих берегах множество, и все видели, и все восклицали: «ишь ты! поди ж ты!» Словом, «случилось несчастье» невесть отчего. Ребята во всю мочь веслами били, дядя Петр на руле весь в поту, умаялся, а купец на берегу весь бледный, как смерть, стоял да молился, а все не помогло. Барка потонула, а хозяин только покорностью взял: перекрестился, вздохнул да молвил: «Бог дал, бог и взял – буди его святая воля».

Всех искреннее и оживленнее был народ: из народа к купцу уже сейчас же начали приставать люди с просьбами: «теперь нас не обессудь, – это на сиротскую долю бог дал». И после этого пошли веселые дела: с одной стороны, исполнялись формы и обряды законных удостоверений и выдача купцу страховой премии за погибший сор, как за драгоценную пшеницу; а с другой – закипело народное оживление и пошла поправка всей местности.

– Как это?

– Очень просто; немцы ведут все по правилам заграничного сочинения: приехал страховой агент и стал нанимать людей, чтобы затонувший груз из воды доставать. Заботились, чтобы не все пропало. Труд немалый и долгий. Погорелые мужички сумели воспользоваться обстоятельствами; на мужчину брали в день полтора рубля, а на бабенку рубль. А работали потихонечку – все лето так с божией помощью и проработали. Зато на берегу точно гулянье стало – погорелые слезы высохли, все поют песни да приплясывают, а на горе у наемных плотников весело топоры стучат и домики, как грибки, растут на погорелом месте. И так, сударь мой, все село отстроилось, и вся беднота и голытьба поприкрылась и понаелась, и божий храм поправили. Всем хорошо стало, и все зажили, хваляще и благодаряще господу, и никто, ни один человек не остался в убытке – и никто не в огорчении. Никто не пострадал!

– Как никто?

– А кто же пострадал? Барин, купец, народ, то есть мужички, – все только нажились.

– А страховое общество?

– Страховое общество?

– Да.

– Батюшка мой, о чем вы заговорили!

– А что же – разве оно не заплатило?

– Ну, как же можно не заплатить – разумеется, заплатило.

– Так это по-вашему – не гадость, а социабельность?!

– Да разумеется же социабельность! Столько русских людей поправилося, и целое село год прокормилось, и великолепные постройки отстроились, и это, изволите видеть, по-вашему, называется «гадость».

– А страховое-то общество – это что уже, стало быть, не социабельное учреждение?

– Разумеется, нет.

– А что же это такое?

– Немецкая затея.

– Там есть акционеры и русские.

– Да, которые с немцами знаются да всему заграничному удивляются и Бисмарка хвалят.

– А вы его не хвалите.

– Боже меня сохрани! Он уже стал проповедовать, что мы, русские, будто «через меру своюю глупостию злоупотреблять начали», – так пусть его и знает, как мы глупы – то; а я его и знать не хочу.

– Это черт знает что такое!

– А что именно?

– Вот то, что вы мне рассказывали.

Фальцет расхохотался и добавил:

– Нет, я вас решительно не понимаю.

– Представьте, а я вас тоже не понимаю.

– Да если бы нас слушал кто-нибудь сторонний человек, который бы нас не знал, то он бы непременно вправе был о нас подумать, что мы или плуты, или дураки.

– Очень может быть, но только он этим доказал бы свое собственное легкомыслие, потому что мы и не плуты и не дураки.

– Да, если это так, то, пожалуй, мы и сами не знаем, кто мы такие.

– Ну отчего же не знать. Что до меня касается, то я отлично знаю, что мы просто благополучные россияне, возвращающиеся с ингерманландских болот к себе домой, – на теплые полати, ко щам, да к бабам... А кстати, вот и наша станция.

Поезд начал убавлять ход, послышался визг тормозов, звонок, – и собеседники вышли.

Я приподнялся было, чтобы их рассмотреть, но в густом полумраке мне это не удалось. Видел только, что оба люди окладистые и рослые.
1884

Обман

*Смоковница отмечает пупы
своя от ветра велика.*

Анк. VI, 13

Глава первая

Под самое Рождество мы ехали на юг и, сидя в вагоне, рассуждали о тех современных вопросах, которые дают много материала для разговора и в то же время требуют скорого решения. Говорили о слабости русских характеров, о недостатке твердости в некоторых органах власти, о классицизме и о евреях. Более всего прилагали забот к тому, чтобы усилить власть и вывести в расход евреев, если невозможно их исправить и довести, по крайней мере, хотя до известной высоты нашего собственного нравственного уровня. Дело, однако, выходило не радостно: никто из нас не видел никаких средств распорядиться властью, или достигнуть того, чтобы все, рожденные в еврействе, опять вошли в утробы и снова родились совсем с иными натурами.

– А в самой вещи, – как это сделать?

– Да никак не сделаешь.

И мы безотрадно поникли головами.

Компания у нас была хорошая, – люди скромные и несомненно основательные.

Самым замечательным лицом в числе пассажиров, по всей справедливости, надо было считать одного отставного военного. Это был старик атлетического сложения. Чин его был неизвестен, потому что из всей боевой амуниции у него уцелела одна фуражка, а все прочее было заменено вещами статского издания. Старик был беловолос, как Нестор, и крепок мышцами, как Сампсон, которого еще не остригла Далила. В крупных чертах его смуглого лица преобладало твердое и определительное выражение и решимость. Без всякого сомнения, это был характер

положительный и притом – убежденный практик. Такие люди не вздор в наше время, да и ни в какое иное время они не бывают вздором.

Старец все делал умно, отчетливо и с соображением; он вошел в вагон раньше всех других и потому выбрал себе наилучшее место, к которому искусно присоединил еще два соседние места и твердо удержал их за собою посредством мастерской, очевидно заранее обдуманной, раскладки своих дорожных вещей. Он имел при себе целые три подушки очень больших размеров. Эти подушки сами по себе уже составляли добрый багаж на одно лицо, но они были так хорошо гарнированы, как будто каждая из них принадлежала отдельному пассажиру: одна из подушек была в синем кубовом ситце с желтыми незабудками, – такие чаще всего бывают у путников из сельского духовенства; другая – в красном кумаче, что в большом употреблении по купечеству, а третья – в толстом полосатом тике – это уже настоящая штабс-капитанская. Пассажир, очевидно, не искал ансамбля, а искал чего-то более существенного, – именно приспособительности к другим гораздо более серьезным и существенным целям.

Три разношерстные подушки могли кого угодно ввести в обман, что занятые ими места принадлежат трем разным лицам, а предусмотрительному путешественнику этого только и требовалось.

Кроме того, мастерски заделанные подушки имели не совсем одно то простое название, какое можно было придать им по первому на них взгляду. Подушка в полосатом была собственно чемодан и погребец и на этом основании она пользовалась преимущественным перед другими вниманием своего владельца. Он поместил ее vis-a-vis перед собою, и как только поезд отвалил от амбаркадера – тотчас же облегчил и поослабил ее, расстегнув для того у ее наволочки белые костяные пуговицы. Из пространного отверстия, которое теперь образовалось, он начал вынимать разнокалиберные, чисто и ловко завернутые сверточки, в которых оказались сыр, икра, колбаса, сайки, антоновские яблоки и ржевская пастила. Всего веселее выглянула на свет хрустальная фляжка, в которой находилась удивительно приятного фиолетового цвета жидкость с известною старинною надписью: «Ея же и монаси приемлят». Густой аметистовый цвет жидкости был превосходный, и вкус, вероятно, соответствовал чистоте и приятности цвета. Знатоки дела уверяют, будто это никогда одно с другим не расходится.

Во все время, пока прочие пассажиры спорили о жидах, об отечестве, об измельчании характеров и о том, как мы «во всем сами себе напортили», и, – вообще занимались «оздоровлением корней» – беловласый богатырь

сохранял величавое спокойствие. Он держал себя, как человек, который знает, когда ему придет время сказать свое слово, а пока – он просто кушал разложенную им на полосатой подушке провизию и выпил три или четыре рюмки той аппетитной влаги «Ея же и монаси приемлят». Во все это время он не проронил ни одного звука. Но зато, когда у него все это важнейшее дело было окончено как следует и когда весь буфет был им снова тщательно убран, – он щелкнул складным ножом и закурил с собственной спички невероятно толстую, самодельную папиросу, потом вдруг заговорил и сразу завладел всеобщим вниманием.

Говорил он громко, внушительно и смело, так что никто не думал ему возражать или противоречить, а, главное, он ввел в беседу живой общезанимательный любовный элемент, к которому политика и цензура нравов примешивалась только слегка, левою стороною, не докучая и не портя живых приключений мимо протекшей жизни.

Глава вторая

Он начал речь свою очень деликатно, – каким-то чрезвычайно приятным и в своем роде даже красивым обращением к пребывающему здесь «обществу», а потом и перешел прямо к предмету давних и ныне столь обыденных суждений.

– Видите ли, – сказал он, – мне все это, о чем вы говорили, не только не чуждо, но даже, вернее сказать, очень знакомо. Мне, как видите, уже не мало лет, – я много жил и могу сказать – много видел. Все, что вы говорите про жидов и поляков, – это все правда, но все это идет от нашей собственной русской, глупой деликатности; все хотим всех деликатней быть. Чужим мирволим, а своих давим. Мне это, к сожалению, очень известно и даже больше того, чем известно: я это испытал на самом себе-с, но вы напрасно думаете, что это только теперь настало: это давно завелось и напоминает мне одну роковую историю. Я, положим, не принадлежу к прекрасному полу, к которому принадлежала Шехеразада, однако я тоже очень бы мог позанять иного султана не пустыми рассказами. Жидов я очень знаю, потому что живу в этих краях и здесь постоянно их вижу, да и в прежнее время, когда еще в военной службе служил, и когда по роковому случаю городничим был, так не мало с ними повозился. Случалось у них и деньги занимать, случалось и за пейсы их трепать и в шею выталкивать, всего приводил бог, – особенно когда жид придет за процентами, а заплатить нечем. Но бывало, что я и хлеб-соль с ними водил, и на свадьбах

у них бывал, и мацу, и гугель, и аманово ухо у них ел, а к чаю их булки с чернушкой и теперь предпочитаю непеченной сайке, но того, что с ними теперь хотят сделать, – этого я не понимаю. Нынче о них везде говорят и даже в газетах пишут... Из-за чего это? У нас, бывало, простохватишь его чубуком по спине, а если он очень дерзкий, то клюквой в него выстрелишь, – он и бежит. И жид большего не стоит, а выводить его совсем в расход не надо, потому что при случае жид бывает человек полезный.

Что же касается в рассуждении всех подлостей, которые евреям приписывают, так я вам скажу, это ничего не значит перед молдаванами и еще валахами, и что я с своей стороны предложил бы, так это не вводить жидов в утробы, ибо это и невозможно, а помнить, что есть люди хуже жидов.

– Кто же, например?

– А, например, румыны-с!

– Да, про них тоже нехорошо говорят, – отозвался солидный пассажир с табакеркой в руках.

– О-о, батюшка мой, – воскликнул, весь оживившись, наш старец: – Поверьте мне, что это самые худшие люди на свете. Вы о них только слышали, но по чужим словам, как по лестнице, можно черт знает куда залезть, а я все сам на себе испытал и, как православный христианин, свидетельствую, что хотя они и одной с нами православной веры, так что, может быть, нам за них когда-нибудь еще и воевать придется, но это такие подлецы, каких других еще и свет не видал.

И он нам рассказал несколько плутовских приемов, практикующихся или некогда практиковавшихся в тех местах Молдавии, которые он посещал в свое боевое время, но все это выходило не ново и мало эффектно, так что бывший среди прочих слушателей пожилой лысый купец даже зевнул и сказал:

– Это и у нас музыка известная!

Такой отзыв оскорбил богатыря, и он, слегка сдвинув брови, молвил:

– Да, разумеется, русского торгового человека плутом не удивишь!

Но вот рассказчик оборотился к тем, которые ему казались просвещеннее, и сказал:

– Я вам, господа, если на то пошло, расскажу анекдотик из ихнего привилегированного-то класса; расскажу про их помещичьи нравы. Тут вам кстати будет и про эту нашу дымку очес, через которую мы на все смотрим, и про деликатность, которую только своим и себе вредим.

Его, разумеется, попросили, и он начал, пояснив, что это составляет и один из очень достопримечательных случаев его боевой жизни.

Глава третья

Рассказчик начал так.

Человек, знаете, всего лучше познается в деньгах, картах и в любви. Говорят, будто еще в опасности на море, но я этому не верю, – в опасности иной трус развоюется, а смельчак спасует. Карты и любовь... Любовь даже может быть важней карт, потому что всегда и везде в моде: поэт это очень правильно говорит: «любовь царит во всех сердцах», без любви не живут даже у диких народов, – а мы, военные люди, ею «все **движимой** и есьми». Положим, что это сказано в рассуждении другой любви, однако, что попы ни сочиняй, – всякая любовь есть «влечение к предмету». Это у Курганова сказано. А вот предмет предмету рознь, – это правда. Впрочем, в молодости, а для других даже еще и под старость, самый общеупотребительный предмет для любви все-таки составляет женщина. Никакие проповедники этого не могут отменить, потому что бог их всех старше и как он сказал: «не благо быть человеку единому», так и остается.

В наше время у женщин не было нынешних мечтаний о независимости, – чего я, впрочем, не осуждаю, потому что есть мужья совершенно невозможные, так что верность им даже можно в грех поставить. Не было тогда и этих гражданских браков, как нынче завелось. Тогда на этот счет холостежь была осторожнее и дорожила свободой. Браки были тогда только обыкновенные, настоящие, в церкви петые, при которых обычаем не возбранялась свободная любовь к военным. Этого греха, как и в романах Лермонтова, видно было действительно очень много, но только происходило все это по-раскольнички, то есть «без доказательств». Особенно с военными: народ перехожий, нигде корней не пускали: нынче здесь, а завтра затрубим и на другом месте очутимся – следовательно, что шито, что вито, – все позабыто. Стесненья никакого. Зато нас и любили, и ждали. Куда, бывало, в какой городишко полк ни вступит, – как на званый пир, сейчас и закипели шуры-муры. Как только офицеры почистятся, поправятся и выйдут гулять, так уже в прелестных маленьких домиках окна у барышень открыты и оттуда летит звук фортепиано и пение. Любимый романс был:

Как хорош, – не правда ль, мама,
Постоялец наш удалый,
Мундир золотом весь шитый,
И как жар горят ланиты,
Боже мой,

Боже мой,
Ах, когда бы он был мой.

Ну уж, разумеется, из какого окна услышал это пение – туда глазом и мечешь – и никогда не даром. В тот же день к вечеру, бывало, уже полетят через денщиков и записочки, а потом пойдут порхать к господам офицерам горничные... Тоже не нынешние субретки, но крепостные, и это были самые бескорыстные создания. Да мы, разумеется, им часто и платить ничем иным не могли, кроме как поцелуями. Так и начинаются, бывало, любовные утехы с посланниц, а кончаются с пославшими. Это даже в водевиле у актера Григорьева на театрах в куплете пели:

Чтоб с барышней слюбиться,
За девкой волочись.

При крепостном звании горничною не называли, а просто – девка.

Ну, понятно, что при таком лестном внимании все мы военные люди были чертовски женщинами избалованы! Тронулись из Великой России в Малороссию – и там то же самое; пришли в Польшу – а тут этого добра еще больше. Только польки ловкие – скоро женить наших начали. Нам командир сказал: «Смотрите, господа, осторожно», и действительно у нас бог спасал – женитьбы не было. Один был влюблен таким образом, что побежал предложение делать, но застал свою будущую тещу наедине и, к счастью, ею самую так увлекся, что уже не сделал дочери предложения. И удивляться нечему, что были успехи, – потому что народ молодой и везде встречали пыл страсти. Нынешнего житья ведь тогда в образованных классах не было... Внизу там, конечно, пищали, но в образованных людях просто зуд любовный одолевал, и притом внешность много значила. Девицы и замужние признавались, что чувствуют этакое, можно сказать, какое-то безотчетное замирание при одной военной форме... Ну, а мы знали, что на то селезню дано в крылья зеркальце, чтобы утице в него поглядеться хотелось. Не мешали им собой любоваться...

Из военных не много было женатых, потому что бедность содержания, и скучно. Женившись: тащись сам на лошадке, жена на коровке, дети на телятках, а слуги на собачках. Да и к чему, когда и одинокие тоски жизни одинокой, по милости божией, никогда нимало не испытывали. А уж о тех, которые собой поавантажнее, или могли петь, или рисовать, или по-

французски говорить, то эти часто даже не знали, куда им деваться от рога изобилия. Случалось даже, в придачу к ласкам и очень ценные безделушки получали, и то так, понимаете, что отбиться от них нельзя... Просто даже бывали случаи, что от одного случая вся, бедняжка, вскрыется, как клад от аминя, и тогда непременно забирай у нее что отдает, а то сначала на коленях просит, а потом обидится и заплачет. Вот у меня и посейчас одна такая заветная балаболка на руке застряла.

Рассказчик показал нам руку, на которой на одном толстом, одеревяневшем пальце заплыл старинной работы золотой эмальированный перстень с довольно крупным алмазом. Затем он продолжил рассказ:

– Но такой нынешней гнусности, чтобы с мужчин чем-нибудь пользоваться, этого тогда даже и в намеках не было. Да и куда, и на что? Тогда ведь были достатки от имений, и притом еще и простота. Особенно в уездных городках ведь чрезвычайно просто жили. Ни этих нынешних клубов, ни букетов, за которые надо деньги заплатить и потом бросить, не было. Одевались со вкусом, – мило, но простенько: или этакий шелковый марсельинец, или цветная кисейка, а очень часто не пренебрегали и ситчиком или даже какую-нибудь дешевенькою цветною холстинкою. Многие барышни еще для экономии и фартучки и бретельки носили с разными такими бахромочками и городками, и часто это очень красиво и нарядно было, и многим шло. А прогулки и все эти рандевушки совершались совсем не по-нынешнему. Никогда не приглашали дам куда-нибудь в загородные кабаки, где только за все дерут вдесятеро, да в щелки подсматривают. Боже сохрани! Тогда девушка или дама со стыда бы сгорела от такой мысли и ни за что бы не поехала в подобные места, где мимо одной лакузы-то пройти – все равно как сквозь строй! И вы сами ведете свою даму под руку, видите, как те подлецы за вашими плечами зубы скалят, потому что в их холопских глазах что честная девица, что женщина, увлекаемая любовною страстию, что какая-нибудь дама из Амстердама – это все равно. Даже если честная женщина скромнее себя держит, так они о ней еще ниже судят: «Тут, дескать, много поживы не будет: по барыньке и говядинка».

Нынче этим манкируют, но тогдашняя дама обиделась бы, если бы ей предложить хотя бы самое приятное уединение в таком месте.

Тогда был вкус и все искали, как все это облагородить, и облагородить не каким-нибудь фанфаронством, а именно изящной простотою, – чтобы даже ничто не подавало воспоминаний о презренном металле. Влюбленные всего чаще шли, например, гулять за город, рвать в цветущих полях васильки или где-нибудь над речечкой под лозою рыбу удить или вообще,

что-нибудь другое этакое невинное и простосердечное. Она выйдет с своею крепостною, а ты сидишь на рубежечке, поджидаешь. Девушку, разумеется, оставишь где-нибудь на меже, а с барышней углубишься в чистую зреющую рожь... Это колосья, небо, букашки разные по стебелькам и по земле ползают... А с вами молодое существо, часто еще со всей институтской невинностью, которое не знает, что говорить с военным, и точно у естественного учителя спрашивает у вас: «Как вы думаете: это букан или букашка?..» Ну, что тут думать: букашка это или букан, когда с вами наедине и на вашу руку опирается этаким живой, чистейший ангел! Закружатся головы, и, кажется, никто не виноват и никто ни за что отвечать не может, потому что не ноги тебя несут, а самое поле в лес уплывает, где этакое дубы и клены, и в их тени задумчивы дриады!.. Ни с чем, ни с чем в мире не сравнимое состояние блаженства! Святое и безмятежное счастье!..

Рассказчик так увлекся воспоминаниями высоких минут, что на минуту умолк. А в это время кто-то тихо заметил, что для дриад это начиналось хорошо, но кончалось не без хлопот.

– Ну да, – отозвался повествователь, – после, разумеется, ищи что на орле, на левом крыле. Но я о себе-то, о кавалерах только говорю: мы привыкли принимать себе такое женское внимание и сакрифисы в простоте, без рассуждений, как дар Венеры Марсу следующий, и ничего продолжительного ни для себя не требовали, ни сами не обещали, а пришли да взяли – и поминай как звали. Но вдруг крутой перелом! Вдруг прямо из Польши нам пришло неожиданное назначение в Молдавию. Поляки мужчины страсть как нам этот румынский край расхваливали: «Там, говорят, куконы, то есть эти молдаванские дамы, – такая краса природы, совершенство, как в целом мире нет. И любовь у них, будто, получить ничего не стоит, потому что они ужасно пламенные».

Что же, – мы очень рады такому кладу.

Наши ребята и расхорохорились. Из последнего тянуться, перед выходом всяких перчаток, помад и духов себе в Варшаве понакупили и идут с этим запасом, чтобы куконы сразу поняли, что мы на руку лапоть не обуваем.

Затрубили, в бубны застучали и вышли с веселою песнею:

Мы любовниц оставляем,
Оставляем и друзей.
В шумном виде представляем
Пулей свист и звук мечей.

Ждали себе невесть каких благодатей, а вышло дело с такой развязкою, какой никаким образом невозможно было представить.

Глава четвертая

Вступали мы к ним со всем русским радушием, потому что молдаване все православные, но страна их нам с первого же впечатления не понравилась: низменность, кукуруза, арбузы и земляные груши прекрасные, но климат нездоровый. Очень многие у нас еще на походе переболели, а к тому же ни приветливости, ни благодарности нигде не встречаем.

Что ни понадобится – за все давай деньги, а если что-нибудь, хоть пустяки, без денег у молдава возьмут, так он, чумазый, заголосит, будто у него дитя родное отняли. Воротишь ему – бери свои костыли, – только не голоси, так он спрячет и сам уйдет, так что его, черта лохматого, нигде и не отыщешь. Иной раз даже проводить или дорогу показать станет и некому – все разбегутся. Трусишки единственные в мире, и в низшем классе у них мы ни одной красивой женщины не заметили. Одни девчонки чумазые, да пребезобразнейшие старухи.

Ну, думаем себе, может быть, у них это так только в хуторах придорожных: тут всегда народ бывает похуже; а вот придем в город, там изменится. Не могли же поляки совсем без основания нас уверять, что здесь хороши и купоны! Где они, эти купоны? Посмотрим.

Пришли в город, ан и здесь то же самое: за все решительно извольте платить.

В рассуждении женской красоты поляки сказали правду. Купоны и купоницы нам очень понравились – очень томны и так гибки, что даже полек превосходят, а ведь уж польки, знаете, славятся, хотя они на мой вкус немножко большероты, и притом в характере капризов у них много. Пока дойдет до того, что ей по Мицкевичу скажешь: «Коханка моя! на цо нам размова», – вволю ей накланяешься. Но в Молдавии совсем другое – тут во всем жид действует. Да-с, простой жид, и без него никакой поэзии нет. Жид является к вам в гостиницу и спрашивает: не тяготитесь ли вы одиночеством и не причуяли ли какую-нибудь купону?

Вы ему говорите, что его услуги вам не годятся, потому что сердце ваше уязвлено, например, такую-то или такую-то дамою, которую вы видели, например скажете, в таком-то или таком-то доме под шелковым шатром на балконе. А жид вам отвечает: «можно».

Поневоле окрик дашь:

– Что такое «мозно»?!

Отвечает, что с этою дамою можно иметь компанию, и сейчас же предлагает, куда надо выехать за город, в какую кофейню, куда и она приедет туда с вами кофе пить. Сначала думали – это вранье, но нет-с, не вранье. Ну, с нашей мужской стороны, разумеется, препятствий нет, все мы уже что-нибудь присмотрели и причуяли и все готовы вместе с какою-нибудь куконою за город кофе пить.

Я тоже сказал про одну купону, которую видел на балконе. Очень красивая. Жид сказал, что она богатая и всего один год замужем.

Что-то уж, знаете, очень хорошо показалось, так что даже и плохо верится. Переспросил еще раз, и опять то же самое слышу: богатая, год замужем и кофе с нею пить можно.

– Не врешь ли ты? – говорю жиду.

– Зачем врать? – отвечает, – я все честно сделаю: вы сидите сегодня вечером дома, а как только смеркнется, к вам придет ее няня.

– А мне на какой черт нужна ее няня?

– Иначе нельзя. Это здесь такой порядок.

– Ну, если такой порядок, то делать нечего, в чужой монастырь с своим уставом не ходят. Хорошо; скажи ее няне, что я буду сидеть дома и буду ее дожидаться.

– И огня, – говорит, – у себя не зажигайте.

– Это зачем?

– А чтобы думали, что вас дома нет.

Пожал плечами и на это согласился.

– Хорошо, – говорю, – не зажгу.

В заключение жид с меня за свои услуги червонец потребовал.

– Как, – говорю, – червонец! Ничего еще не видя, да уж и червонец! Это жирно будет.

Но он, шельма этакий, должно быть, травленный. Улыбается и говорит:

– Нет; уж после того как увидите – поздно будет получать. Военные, говорят, тогда не того...

– Ну, – говорю, – про военных ты не смей рассуждать, – это не твое дело, а то я разобью тебе морду и рыло и скажу, что оно так и было.

А впрочем, дал ему злата и проклял его и верного позвал раба своего.

Дал денщику двугривенный и говорю:

– Ступай куда знаешь и нарежься как сапожник, только чтобы вечером тебя дома не было.

Все, замечайте, прибавляется расход к расходу. Совсем не то, что

васильки рвать. Да, может быть, еще и няньку надо позолотить.

Наступил вечер; товарищи все разошлись по кофейням. Там тоже девицы служат и есть довольно любопытные, – а я притворился, солгал товарищам, будто зубы болят и будто мне надо пойти в лазарет к фельдшеру каких-нибудь зубных капель взять, или совсем пускай зуб выдернет. Обежал поскорей квартал да к себе в квартиру, – нырнул незаметно; двери отпер и сел без огня при окошечке. Сижу как дурак, дожидаясь: пульс колотится и в ушах стучит. А у самого уже и сомнение закралось, думаю: не обманул ли меня жид, не наговорил ли он мне про эту няньку, чтобы только червонец себе схватить... И теперь где-нибудь другим жидам хвалится, как он офицера надул, и все помирают, хохочут. И в самом деле, с какой стати тут няня и что ей у меня делать?.. Преглупое положение, так что я уже решил: еще подожду, пока сто сосчитаю, и уйду к товарищам.

Глава пятая

Вдруг, я и полсотни не сосчитал, раздался тихонечко стук в двери и что-то такое вползает, – шуршит таким чем-то твердым. Тогда у них шалоновые мантоны носили, длинные, а шалон шуршит.

Без свечи-то темно у меня так, что ничего ясно не рассмотришь, что это за кукуруза.

Только от уличного фонаря чуть-чуть видно, что гостя моя, должно быть, уже очень большая старушенция. И однако, и эта с предосторожностями, так что на лице у нее вуаль.

Вошла и шепчет:

– Где ты?

Я отвечаю:

– Не бойся, говори громко: никого нет, а я дожидаясь, как сказано. Говори, когда же твоя куконя поедет кофе пить?

– Это, – говорит, – от тебя зависит.

И все шепотом.

– Да я, – говорю, – всегда готов.

– Хорошо. Что же ты мне велишь ей передать?

– Передай, мол, что я ею поражен, влюблен, страдаю, и когда ей угодно, я тогда и явлюсь, хотя, например, завтра вечером.

– Хорошо, завтра она может приехать.

Кажется, ведь надо бы ей после этого уходить, – не так ли? Но она стоит-с!

– Чего-с!

Надо, видно, проститься еще с одним червонцем. Себе бы он очень пригодился, но уж нечего делать – хочу ей червонец подать, как она вдруг спрашивает:

– Согласен ли я сейчас с нею послать куконе триста червонцев?

– Что-о-о тако-о-ое?

Она преспокойно повторяет «триста червонцев», и начинает мне шептать, что муж ее куконы хотя и очень богат, но что он ей не верен и проживает деньги с итальянской графиней, а кукона совсем им оставлена и даже должна на свой счет весь гардероб из Парижа выписывать, потому что не хочет хуже других быть...

То есть вы понимаете меня, – это черт знает что такое! Триста золотых червонцев – ни больше, ни меньше!.. А ведь это-с тысяча рублей! Полковницкое жалованье за целый год службы... Миллион карточек! Как это выговорить и предъявить такое требование к офицеру? Но, однако, я нашелся: червонцев у меня, думаю, столько нет, но честь свою я поддержать должен.

– Деньги, – говорю, – для нас, русских, пустяки. – Мы о деньгах не говорим, но кто же мне поручится, что ты ей передашь, а не себе возьмешь мои триста червонцев?

– Разумеется, – отвечает, – я ей передам.

– Нет, – говорю, – деньги дело не важное, но я не желаю быть тобою одурачен. Пусть мы с нею увидимся, и я ей самой, может быть, еще больше дам.

А кукуруза вломила в амбицию и начала наставление мне читать.

– Что ты это, – говорит, – разве можно, чтобы купона сама брала.

– А я не верю.

– Ну, так иначе, – говорит, – ничего не будет.

– И не надобно.

Такими она меня впечатлениями исполнила, что я даже физическую усталость почувствовал, и очень рад был, когда ее черт от меня унес.

Пошел в кофейню к товарищам, напился вина до чрезвычайности и проводил время, как и прочие, по-кавалерски; а на другой день пошел гулять мимо дома, где жила моя пригляженная купона, и вижу, она как святая сидит у окна в зеленом бархатном спенсере, на груди яркий махровый розан, ворот низко вырезан, голая рука в широком распашном рукаве, шитом золотом, и тело... этакое удивительное розовое... из зеленого бархата, совершенно как арбуз из кожи, выглядывает.

Я не стерпел, подскочил к окну и заговорил:

– Вы меня так измучили, как женщина с сердцем не должна; я томился и ожидал минуты счастья, чтобы где-нибудь видеться, но вместо вас пришла какая-то жадная и для меня подозрительная старуха, насчет которой я, как честный человек, долгом считаю вас предупредить: она ваше имя мараает.

Купона не сердится; я ей брякнул, что старуха деньги просила, – она и на это только улыбается. Ах ты черт возьми! зубки открыла – просто перлы среди кораллов, – все очаровательно, но как будто дурочкой от нее немножко пахло.

– Хорошо, – говорит, – я няню опять пришло.

– Кого? эту же самую старуху?

– Да; она нынче вечером опять придет.

– Помилуйте, – говорю, – да вы, верно, не знаете, что эта алчная старуха какую не стоящую уважения особю вас представляет!

А купона вдруг уронила за окно платок, и когда я нагнулся его поднять, она тоже слегка перевесилась так, что вырез-то этот проклятый в ее лифе весь передо мною, как детский бумажный кораблик, вывернулся, а сама шепчет:

– Я ей скажу... она будет добрее. – И с этим окно тюк на крюк.

«Я ее вечером опять пришло». «Я велю быть добрее». Ведь тут уже не все глупость, а есть и смелая деловитость... И это в такой молоденькой и в такой хорошенькой женщине!

Любопытно, и кого это не заинтересует? Ребенок, а несомненно, что она все знает и все сама ведет и сама эту чертовку ко мне присылала и опять ее пришлет.

Я взял терпение, думаю: делать нечего, буду опять дожидаться, чем это кончится.

Дождлся сумерек и опять притаился, и жду в потемках. Входит опять тот же самый шалонный сверток под вуалем.

– Что, – спрашиваю, – скажешь?

Она мне шепотом отвечает:

– Купона в тебя влюблена и с своей груди розу тебе прислала.

– Очень, – говорю, – ее благодарю и ценю, – взял розу и поцеловал.

– Ей от тебя не надо трехсот червонцев, а только полтораста.

Хорошо сожаление... Сбавка большая, а все-таки полтораста червонцев пожалуйста. Шутка сказать! Да у нас решительно ни у кого тогда таких денег не было, потому что мы, выходя из Польши, совсем не так были обнадужены и закупили себе что нужно и чего не нужно, – всякого платья себешили, чтобы здесь лучше себя показать, а о том, какие здесь

порядки, даже и не думали.

– Поблагодари, – говорю, – твою кукону, а ехать с нею на свидание не хочу.

– Отчего?

– Ну вот еще: отчего? не хочу да и баста.

– Разве ты бедный? Ведь у вас все богатые. Или купона не красавица?

– И я, – говорю, – не бедный, у нас нет бедных, – и твоя купона большая красавица, а мы к такому обращению с нами не привыкли!

– А вы как же привыкли?

Я говорю: «Это не твое дело».

– Нет, – говорит, – ты мне скажи: как вы привыкли, может быть, и это можно.

А я тогда встал, приосанился и говорю:

– Мы вот как привыкли, что на то у селезня в крыльях зеркальце, чтобы уточка сама за ним бежала глядеться.

Она вдруг расхохоталась.

– Тут, – говорю, – ничего нет смешного.

– Нет, нет, нет, – говорит, – это смешное!

И убежала так скоро, словно улетела.

Я опять расстроился, пошел в кофейню и опять напился.

Молдавское вино у них дешево. Кислит немножко, но пить очень можно.

Глава шестая

На другое утро, государи мои, еще лежу я в постели, как приходит ко мне жид, который сам собственно и ввел меня во всю эту дурацкую историю, и вдруг пришел просить себе за что-то еще червонец.

Я говорю: «За что же это ты, мой любезный, стоишь еще червонца?»

– Вы, – говорит, – мне сами обещали.

Я припоминаю, что, действительно, я ему обещал другой червонец, но не иначе, как после того, как я буду уже иметь свидание с куконной.

Так ему и говорю. А он мне отвечает:

– А вы же с нею уже два раза виделись.

– Да, мол, – у окошка. Но это недостаточно.

– Нет, – отвечает, – она два раза у вас была.

– У меня какой-то черт старый был, а не кукона.

– Нет, – говорит, – у вас была кукона.

– Не ври, жид, – за это вашего брата бьют!

– Нет, я, – говорит, – не вру: это она сама у вас была, а не старуха.

Я свое достоинство сохранил, но это меня просто ошпарило. Так мне стало досадно и так горько, что я вцепился в жида и исколотил его ужасно, а сам пошел и нарезался молдавским вином до беспамятства. Но и в этом-то положении никак не забуду, что кукона у меня была и я ее не узнал и как ворона ее из рук выпустил. Недаром мне этот шалоновый сверток как-то был подозрителен... Словом, и больно, и досадно, но стыдно так, что хоть сквозь землю провалиться... Был в руках клад, да не умел брать, – теперь сиди дураком.

Но, к утешению моему, в то же самое время, в подобных же родах произошла история и с другими моими боевыми товарищами, и все мы с досады только пили да арбузы ели с кофейницами, а настоящих куконов уже порешили наказать презрением.

Васильковое наше время невинных успехов кончилось. Скучно было без женщин порядочного образованного круга в сообществе одних кофейниц, но старые отцы капитаны нас куражили.

– Неужели, – говорили, – если в одном саду яблоки не зародились, так и Спасова дня не будет? Кураж, братцы! Сбой поправкой красен.

Куражились мы тем, что нас скоро выведут из города и расквартируют по хуторам. Там помещичьи барышни и вообще все общество, должно быть, не такое, как городское, и подобной скаредности, как здесь, быть не может. Так мы думали и не воображали того, что там нас ожидало еще худшее и гораздо больше досадное. Впрочем, и предвидеть невозможно было, чем нас одолжат в их деревенской простоте. Пришел вождеденный день, мы затрубили, забубнили, «Черную галку» запели и вышли на вольный воздух. – Авось, мол, тут опять заголубеют для нас васильки.

Глава седьмая

Распределение, где кому стоять, нам вышло самое разнобывуачное, потому что в Молдавии на заграничный манер, – таких больших деревень, как у нас, нет, а все хутора или мызы. Офицеры бились все ближе к мызе Холуян, потому что там жил сам бояр или бан, тоже по прозванью Холуян. Он был женатый, и жена, говорили, будто красавица, а о нем говорили, что он большой торгаш, – у него можно иметь все, только за деньги – и стол, и вино. Прежде нас там поблизости другие наши войска стояли, и мы встретили на дороге квартирмейстера, который у Холуяна квитанцию

выправлял. Обратились к нему с расспросами: что и как? Но он был из полковых стихотворцев и все любил рифмами отвечать.

– Ничего, – говорит, – мыза хорошая, как придете, увидите:

Между гор, между ям
Сидит птица Холуян.

Предурацкая эта манера стихами о деле говорить. У таких людей ничего путного никогда не добьешься.

– А куконы, – спрашиваем, – есть?

– Как же, – отвечает, – есть и куконы, есть и препоны.

– Хороши? то есть красивые?

– Да, – говорит, – красивые и не очень спесивые.

Спрашиваем: находили ли там их офицеры благорасположение?

– Как же, там, – отвечает, – на тонце, на древе наши животы скончались.

– Черт его знает, что за язык такой! – все загадки загадывает.

Однако все мы поняли, что этот шельма из хитрых и ничего нам открыть не хотел.

А только вот, хотите верьте, хотите вы не верьте в предчувствие... Нынче ведь неверие в моде, а я предчувствиям верю, потому что в бурной жизни моей имел много тому доказательств, но на душе у меня, когда мы к этой мызе шли, стало так уныло, так скверно, что просто как будто на свою казнь шел.

Ну, а пути и времени, разумеется, все убывает, и вот пока я иду на своем месте в раздумчивости, сапогами по грязи шлепаю, кто-то из передних увидал и крикнул:

– Холуян!

Прокатило это по рядам, а я отчего-то вдруг вздрогнул, но перекрестился и стал всматриваться, где этот чертовский Холуян.

Однако и крест не отогнал от меня тоски. В сердце такое томление, как описывается, что было на походе с молодым Ионафаном, когда он увидал сладкий мед на поле. Лучше бы его не было, – не пришлось бы тогда бедному юноше сказать: «Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю».

А мыза Холуян действительно стояла совсем перед нами и взаправду была она между гор и между ям, то есть между таких-то ледащих холмушков и плюгавеньких озерцов.

Первое впечатление она на меня произвела самое отвратительное.

Были уже и какие-то настоящие пустые ямы, как могилы. Черт их знает, когда и какими чертями и для кого они выкопаны, но преглубокие. Глину ли из них когда-нибудь доставали, или, как некоторые говорили, будто бы тут есть целебная грязь и будто ею еще римляне пачкались. Но вообще местность прегрустная и престранная.

Виднеются кой-где и перелесочки, но точно маленькие кладбища. Грунт, что называется, мочажинный и, надо полагать, пропитан нездоровой сыростью. Настоящее гнездо злой молдаванской лихорадки, от которой люди дохнут в молдавском поту.

Когда мы подходили вечером, небо зарилось, этакое ражее, красное, а над зеленью сине, как будто синяя тюль раскинута – такой туман. Цветков и васильков нет, а торчат только какие-то точно пухом осыпанные будылья, на которых сидят тяжелые желтые кувшины вроде лилий, но преядовитые: как чуть его понюхаешь, – сейчас нос распухнет. И что еще удивило нас, как тут много цапель, точно со всего света собраны, которая летит, которая в воде на одной ножке стоит. Терпеть не могу, где множится эта фараонская птица: она имеет что-то такое, что о всех египетских казнях напоминает. Мыза Холуян довольно большая, но, черт ее знает, как ее следовало назвать, – дрянная она или хорошая. Очень много разных хозяйственных построек, но все как-то будто нарочно раскидано «между гор и между ям». Ничего почти одного от другого не разглядишь: это в ямке и то в ямке, а посреди бугорок. Точно как будто имели в виду делать здесь что-нибудь тайное под большим секретом. Всего вероятнее, пожалуй, наши русские деньги подделывали. Дом помещичий, низенький и очень некрасивый... Облупленный, труба высокая, и снаружи небольшой, но просторный, – говорили, – будто есть комнат шестнадцать. Снаружи совсем похоже на те наши станционные дома, что покойный Клейнмихель по московскому шоссе настроил. И буфеты, и конторы, и проезжающие, и смотритель с семьей, и все это черт знает куда влезало, и еще просторно. Строено прямо без всякого фасона, как фабрика, крыльцо посередине, в передней буфет, прямо в зале бильярд, а жилые комнаты где-то так особенно спрятаны, как будто их и нет. Словом, все как на станции или в дорожном трактире. И в довершение этого сходства напоминаю вам, что в передней был учрежден буфет. Это, пожалуй, и хорошо было «для удобства господ офицеров», но вид-то все-таки странный, а устройство этого буфета сделано тоже с подлостью, – чтобы ничем нашего брата бесплатно не попотчевать, а вот как: все, что у нас есть, мы все предоставляем к вашим услугам, только не угодно ли получить «за чистые денежки». Кредит, положим, был открыт свободный, но все, что получали, водку ли, или их местное вино, все

этакий особый хлап, в синем жупане с красным гарусом, – до самой мелочи писал в книгу живота. Даже и за еду деньги брали; мы сначала к этому долго никак не могли себя приучить, чтобы в помещичьем доме и деньги платить. И надо вам знать, как они это ловко подвели, чтобы деньги брать. Тоже прекуръезно. У нас в России или в Польше у хлебосольного помещика стыда бы одного не взяли завести такую коммерцию. С первого же дня является этот жупан, обходит офицеров и спрашивает: не угодно ли будет всем с помещиком кушать?

Наши ребята, разумеется, простые, добрые и очень благодарят:

– Очень хорошо, – говорят, – мы очень рады.

– А где, – продолжает жупан, – прикажете накрывать на стол: в зале или на веранде? У нас, – говорит, – есть и зала большая, и веранда большая.

– Нам, – говорим, – голубчик, это все равно, где хотите.

Нет-таки, добивается, говорит: «бояр велел вас спросить и накрывать стол непременно по вашему желанию».

«Вот, – думаем, – какая предупредительность! – Накрывай, брат, где лучше».

– Лучше, – отвечает, – на веранде.

– Пожалуй, там, должно быть, воздух свежее.

– Да, и там пол глиняный.

– В этом какое же удобство?

– А если красное вино прольется или что-нибудь другое, то удобнее вытереть и пятна не останется.

– Правда, правда!

Замышляется, видим, что-то вроде разливного моря.

Вино у них, положим, дешевое, правда, с привкусом, но ничего: есть сорта очень изрядные.

Настает время обеда. Являемся, садимся за стол – все честь честью, – и хозяева с нами: сам Холуян, мужчина, этакий худой, черный, с лицом выжженной глины, весь, можно сказать, жилистый да глиняный и говорит с передущинкой, как будто больной.

– Вот, – говорит, – господа, у меня вина такого-то года урожая хорошего; не хотите ли попробовать?

– Очень рады.

Он сейчас же кричит слуге:

– Поддай господину поручику такого-то вина.

Тот подает и непременно непочатую бутылку, а пред последним блюдом вдруг является жупан с пустым блюдом и всех обходит.

– Это что, мол, такое?!

– Деньги за обед и за вино.

Мы переконфузились, – особенно те, с которыми и денег не случилось. Те под столом друг у друга потихоньку перехватывали.

Вот ведь какая черномазая рвань!

Но дело, которым до злого горя нас донял Холуян, разумеется, было не в этом, а в куконице, из-за которой на тонце, на древце все наши животы измотались, а я, можно сказать, навсегда потерял то, что мне было всего дороже и милее, – можно сказать даже, священнее.

Глава восьмая

Семья у наших хозяев была такая: сам бан Холуян, которого я уж вам слегка изобразил: худой, жилистый, а ножки глиняные, еще не старый, а все палочкой подпирается и ни на минуту ее из рук не выпускает. Сядет, а палочка у него на коленях. Говорили, будто он когда-то был на дуэли ранен, а я думаю, что где-нибудь почту хотел остановить, да почтальон его подстрелил. После это объяснилось еще совсем иначе, и понятно стало, да поздно. А поначалу казалось, что он человек светский и образованный, – ногти длинные, белые и всегда батистовый платок в руках. Для дамы он, впрочем, кроме образования не мог обещать ни малейшего интереса, потому что вид у него был ужасно холодного человека. А у него куконица просто как сказочная царица: было ей лет не более как двадцать два, двадцать три, – вся в полном расцвете, бровь тонкая, черная, кость легкая, а на плечиках уже первый молодой жирок ямочками пупится и одета всегда чудо как к лицу, чаще в палевом или в белом, с расшивными узорами, и ножки в цветных башмаках с золотом.

Разумеется, началось смятение сердец. У нас был офицер, которого мы звали Фоблаз, потому что он удивительно как скоро умел обворожать женщин, – пройдет, бывало, мимо дома, где какая-нибудь мещаночка хорошенькая сидит, – скажет всего три слова: «милые глазки ангелочки», – смотришь, уже и знакомство завязывается.

Я сам был тоже предан красоте до сумасшествия. К концу обеда я вижу – у него уже все рыльце огнивецом, а глаза буравцом.

Я его даже остановил:

– Ты, – говорю, – неприличен.

– Не могу, – отвечает, – и не мешай, я ее раздеваю в моем воображении.

После обеда Холуян предложил метнуть банк.

Я ему говорю, – какая глупость! А сам вдруг о том же замечтал, и вдруг замечаю, что и у других у всех стало рыльце огнивецем, а глаза буравцом.

Вот она, мол, с какого симптома началась проклятая молдавская лихорадка! Все согласились, кроме одного Фоблаза. Он остался при куконе и до самого вечера с ней говорил.

Вечером спрашиваем:

– Что она, как – занимательна?

А он расхохотался.

– По-моему, – отвечает, – у нее, должно быть, матушка или отец с дуринкой были, а она по природе в них пошла. Решимости мало: никуда от дома не отходит. Надо сообразить – каков за нею здесь присмотр и кого она боится? Женщины часто бывают нерешительны да ненаходчивы. Надо за них думать.

А насчет досмотра в нас возбуждал подозрения не столько сам Холуян, как его брат, который назывался Антоний.

Он совсем был не похож на брата: такой мужиковатый, полного сложения, но на смешных тонких ножках.

Мы его так и прозвали «Антошка на тонкой ножке». Лицо тоже было совершенно не такое, как у брата. Простой этакой, – ни скоблен, ни тесан, а слеплен да брошен, но нам сдавалось, что, несмотря на его баранью простоту, в нем клок серой волчьей шерсти есть... Однако вышло такое удивление, что все наши подозрения были напрасны: за куконою совсем никакого присмотра не оказалось.

Образ жизни домашней у Холуянов был самый удивительный, – точно нарочно на нашу руку приспособлено.

Тонкого Холуяна Леонарда до самого обеда ни за что и нигде нельзя было увидеть. Черт его знает, где он скрывался! Говорили, будто безвыходно сидел в отдаленных, внутренних комнатах и что-то там делал – литературой будто какой-то занимался. А Антошка на тонких ножках, как вставал, так уходил куда-то в поле с маленькою бесчеревной собачкою, и его также целый день не видно. Все по хозяйству ходит. Лучших, то есть, условий даже и пожелать нельзя.

Оставалось только расположить к себе кукону разговором и другими приемами. Думалось, что это недолго и что Фоблаз это сделает, но неожиданно замечаем, что наш Фоблаз не в авантаже обретается. Все он имеет вид человека, который держит волка за уши, – ни к себе его ни оборотит, ни выпустит, а между тем уже видно, что руки набрякли и вот-вот сами отвалятся...

Видно, что мальчик ужасно сконфужен, потому что он к неудачам не привык, и не только нам, а самому себе этого объяснить не может.

– В чем же дело?

– Пароль донер, – говорит, – ничего не понимаю, кроме того, что она очень странная.

– Ну, богатая женщина, избалованная, капризничает, – весьма естественно.

Порядок жизни у нашей куконы был такой, что она не могла не скучать. С утра до обеда ее почти постоянно можно было видеть, как она мотается, и всегда одна-одинешенька или возится с самой глупейшей в мире птицей – с курицей: странное занятие для молодой, изящной, богатой дамы, но что сделать, если такова фантазия? Делать ей, видно, было совершенно нечего: выйдет она вся в белом или в палевом неглиже, сядет на широких плитах края веранды под зеленым хмелем, – в черных волосах тюльпан или махровый мак, и гляди на нее хоть целый день. Все ее занятие в том состояло, что, бывало, какую-то любимую свою маленькую курочку с сережками у себя на коленях лущеной кукурузой кормит. Ясное дело, что образования должно быть немного, а досуга некуда деть. Если с курицей возится, то, стало быть, ей очень скучно, а где женщине скучно, там кавалерское дело даму развлекать. Но ничего не выходит, – даже и разговор с нею вести трудно, потому что все только слышишь: «шти, эшти, молдованешти, кернешти» – десятого слова и того понять нельзя. А к мимике страстей она была ужасно беспонятна. Фоблаз совсем руки опустил, только конфузился, когда ему смеялись, что он с курицею не может соперничать. Пошли мы увиваться вокруг куконы все – кому больше счастье послужит, но ни одному из нас ничего не фортунило. Открываешься ей в любви, а она глядит на тебя своими черными волооками, или заговорит вроде: «шти, эшти, молдованешти», и ничего более.

Омерзело всем себя видеть в таком глупом положении, и даже ссоры пошли, друг к другу зависть и ревность, – придираемся, колкости говорим... Словом, все в беспокойнейшем состоянии, то о ней мечтаем, то друг за другом в секрете смотрим за нею. А она сидит себе с этой курочкой, и кончено. Так весь день глядим, всю ночь зеваем, а время мчится и строит нам еще другую беду. Я вам сказал, что с первого же дня, как обед кончился, Холуян предложил, что он нам банк заложит. С тех пор пошла ежедневно игра: с обеда режемся до полночи, и от того ли, что все мы стали рассеянные, или карты неверные, но многие из нас уже успели себя хорошо охолостить даже до последней копейки. А Холуян чистит да чистит нас

ежедневно, как баранов стрижет.

Разорились, оскудели и умом, и спокойствием, и неведомо до чего бы мы дошли, если бы вдруг не появилось среди нас новое лицо, которое, может быть, еще худшие беспокойства наделало, но, однако, дало толчок к развязке.

Приехал к нам с деньгами чиновник комиссариатский. Из поляков, и пожилой, но шельма ужасная: где взлетает, где хвостом повилает, – и ото всех все узнал, как мы не живем, а зеваем. Пошел он тоже с нами к Холуяну обедать, а потом остался в карты играть, – а на кукону, подлец, и не смотрит. Но на другой день-с вдруг говорит: «я заболел». Молдавская лихорадка, видите ли, схватила. И что же выдумал: не лекаря позвал, а попа, – молебен о здравии отслужить. Пришел поп – настоящий тараканный лоб: весь черный и запел ни на что похоже, – хуже армянского. У армянов хоть поймешь два слова: «Григориос Армениос», а у этого ничего не разобрать, что он лопочет.

Поляк же, шельма, по-ихнему знал немножко и такую с попом конституцию развел, что приятелями сделались и оба друг другом довольны: поп рад, что комиссионер ему хорошо заплатил, а тот сразу же от его молебна выздоровел и такую штуку удрал, что мы и рты разинули.

Вечером, когда уже при свечах мы все в зале банк метали, – входит наш комиссионер и играть не стал, но говорит: «я болен еще», и прямо прошел на веранду, где в сумраке небес, на плитах, сидела кукона – и вдруг оба с нею за густым хмелем скрылись и исчезли в темной тени. Фоблаз не утерпел, выскочил, а они уже преавантажнo вдвоем на плотике через заливчик плывут к островку... На его же глазах переплыли и скрылись...

А Холуян хоть бы, подлец, глазом моргнул. Тасует карты и записи смотрит на тех, которые уже в долг промотались...

Глава девятая

Но надо вам сказать, что это был за островок, куда они отплывали.

Когда я говорил про мызу, я забыл вам сказать, что там при усадьбе было самого лучшего, – это вот и есть маленький островок перед верандой. Перед верандой прямо был цветник, а за цветником сейчас заливчик, а за ним островок, небольшой, так сказать, величины с хороший двор помещичьего дома. Весь он зарос густою жимолостью и разными цветущими кустами, в которых было много соловьев. Соловей у них хороший, – не такой крепкий, как курский, но на манер бердичевского.

Площадь острова была вся в бугорках или в холмиках, и на одном холмике была устроена беседочка, а под нею в плитах грот, где было очень прохладно. Тут стоял старинный диван, на котором можно было отдохнуть, и большая золоченая арфа, на которой кукона играла и пела. По острову были расчищены дорожки и в одном месте по другую сторону дерновая скамья, откуда был широкий вид на луга. Сообщение через проливчик к островку было устроено посредством маленького прекрасного плотика. Перильца и все это на нем раскрашено в восточном вкусе, а посередине золоченое кресло. Садится кукона на это кресло, берет пестрое весло с двумя лопастями и переплывает. Другой человек мог стоять только сзади за ее креслом.

Остров этот и грот мы звали: «грот Калипсы», но сами там не бывали, потому что плотик у куконы был на цепочке заперт. Комиссионер нашел ключи к этой цепи...

Мы, по правде сказать, просто хотели его избить, но он смел был, каналья, и всех успокоил.

– Господа! – говорит, – из-за чего нам ссориться. Я вам весь путь покажу. Это мне поп сказал. Я его спросил: какая кукона? А он говорит: «очень хорошая – о бедных заботится». Я взял пятьдесят червонцев и ей подал молча, для ее бедных, а она, также молча, мне руку подала и повезла с собою на остров. Головой вам отвечаю, – берите прямо в руки сверточек червонцев и, ни слова не разговаривая, тем же счастьем можете пользоваться. Вид лунный прекрасен, арфа сладкозвучна, но я ничем этим более наслаждаться не могу, потому что долг службы моей меня призывает, и я завтра еду от вас, а вы остаетесь.

Вот так развязка!

Он уехал, а мы смотрим друг на друга: кто может жертвовать в пользу бедных здешнего прихода по пятидесяти червонцев? Некоторые храбрились, – «я вот-вот из дома жду», – и другой тоже из дома ждет, а дома-то, верно, и в своих приходах случились бедные. Что-то никому не присылают.

И вдруг среди этого – неожиданнейшее приключение: Фоблаз оторвал цепь, которою был прикован плотик, переплыл туда один и в гроте застрелился.

Черт знает, что за происшествие! И товарища жаль, и глупо это как-то... совсем глупо, а однако, печальный факт совершился, и одного из храбрых не стало.

Застрелился Фоблаз, конечно, от любви, а любовь разгорелась от раздражения самолюбия, так как он у всех женщин на своей родине был

счастлив. Похоронили его честь честью, – с музыкой, а за упокой его души все, у одного собравшись, выпили и заговорили, что это так невозможно оставить, – что мы тут с нашей всегдашней простотою совсем пропадаем. А батальонный майор, который у нас был женатый и человек обстоятельный, говорит:

– Да вы и не беспокойтесь, я уже донес по начальству, что не ручаюсь, будет ли в чем вас из этой мызы вывести, и жду завтра же нового распоряжения. Пусть тут черт стоит у этого Холуяна! Проклятая мыза и проклятый хозяин!

И все мы то же самое чувствовали и радовались возможности уйти отсюда, но всем господам офицерам досадно было уйти отсюда так, – не наказавши подлецов.

Придумывали разные штуки устроить над Холуянами; думали его высечь или как-нибудь смешно обрить, но майор сказал:

– Боже спаси, господа: прошу вас, чтобы ничего похожего на малейшее насилие не было, и кто ему должен – извольте, где хотите, занять денег и с ним рассчитаться. А если что-нибудь невинненькое, для отыграния своей чести придумаете, – это можете.

Лиха беда, отыграния чести-то не было на что этого произвести.

Майор сказал, наконец, что он от нас только скрывает, а что, собственно, у него уже есть в кармане предписание выступить и что завтра здесь последний день нашей красоты, а послезавтра на заре и выступим в другие места.

Тут мне и взбрыкнула на ум какая-то кобылка:

– Если, – говорю, – мы послезавтра выходим, так что завтра здесь наш последний вечер, то, сделайте милость, Холуян будет хорошо проучен, и никому не похвалится, что ему довелось русских офицеров надуть.

Некоторые похвалили, говорили, – «молодец», а другие не верили и смеялись: «ну, где тебе! лучше не трогай».

А я говорю:

– Это, господа, мое дело: я все беру за свой пай.

– Но что же такое ты сделаешь?

– Это мой секрет.

– Но Холуян будет наказан?

– Ужасно!

– И честь наша будет отомщена?

– Непременно.

– Поклянись.

Я поклялся тенью несчастного друга нашего Фоблаза, которая сама

себя осудила одиноко блуждать в этом проклятом месте, и разбил свой стакан об пол.

Все товарищи меня подхватили, одобрили, расцеловали и запили нашу клятву, но только майор удержал, чтобы стаканов не бить.

– Это, – говорит, – один театральный фарс и больше ничего...

Разошлись прекрасно. Я был в себе крепко уверен, потому что план мой был очень хорош. Холуян в своих проделках должен быть совершенно одурачен.

Глава десятая

Настало завтра и последний день нашей красы. Получили мы свое жалованье, отдали все сполна, кто сколько был должен Холуяну, и осталось у каждого столько денег, что и кошель не надо. У меня было с чем-нибудь сто рублей, то есть на ихние, по-тогдашнему, это составляло с небольшим десять червонцев. А для меня, по плану затеи моей, еще требовалось, по крайней мере, сорок червонцев. Где же их взять? У товарищей и не было, да я и не хотел, потому что у меня другой план имелся. Я его и привел в исполнение.

Приходим на последнюю вечерю к Холуяну – он очень радушен и приглашает меня играть.

Я говорю:

– Рад бы играть, да игрушек нет.

Он просит не стесняться, – взять займы у него из банка.

– Хорошо, – говорю, – позвольте мне пятьдесят червонцев.

– Сделайте милость, – говорит, – и подвигает кучку.

Я взял и опустил их в карман.

Верил нам, шельма, будто мы все Шереметьевы.

Я говорю:

– Позвольте, я не буду пока ставить, а минуточку погуляю на воздухе, – и вышел на веранду.

За мною выбегают два товарища и говорят:

– Что ты это делаешь: чем отдать?

Я отвечаю:

– Не ваше дело, – не беспокойтесь.

– Ведь это нельзя, – пристают, – мы завтра выходим, – непременно надо отдать.

– И отдам.

– А если проиграешь?

– Во всяком случае отдам.

И соврал им, будто у меня есть на руках казенные.

Они отстали, а я прямо подлетаю к куконе, ногой шаркнул и подаю ей горсть червонцев.

– Прошу, – говорю, – вас принять от меня для бедных вашего прихода.

Не знаю, как она это поняла, но сейчас же встала, дала мне свою ручку; мы обошли клумбу, да на плотике и поплыли.

Глава одиннадцатая

Об игре ее на арфе отменного сказать нечего: вошли в грот: она села и какой-то экосез заиграла. Тогда не было еще таких воспалительных романсов, как «мой тигренок», или «затигри меня до смерти», – а экосезки-с, все простые экосезки, под которые можно только одни па танцевать, а тогда, бывало, невесть что под это готов сделать. Так и в настоящий раз, – сначала экосез, а потом «гули, да люли пошли ходули, – эшти, да молдаванешти», – кок да и дело в мешок... И благополучным образом назад оба переплыли.

Глава двенадцатая

Откровенно признаться – я не утаю, что был в очень мечтательном настроении, которое совсем не отвечало задуманному мною плану. Но, знаете, к тридцати годам уже подходило, а в это время всегда начинаются первые оглядки. Вспомнилось все – как это начиналась «жизнь сердца» – все эти скромные васильки во ржи на далекой родине, потом эти хохлушечки и польки в их скромных будиночках, и вдруг – черт возьми, – грот Калипсы... и сама эта богиня... Как хотите, есть о чем привести воспоминания... И вдруг сделалось мне так грустно, что я оставил кукону в уединении приковывать цепочкою ее плотик, а сам единолично вхожу в залу, которую оставил, как банк метали, а теперь вместо того застаю ссору, да еще какую! Холуян сидит, а наши офицеры все встали и некоторые даже нарочно фуражки надели, и все шумят, спорят о справедливости его игры. Он их опять всех обыграл.

Офицеры говорят:

– Мы вам заплатим, но, по справедливости говоря, мы вам ничего не должны.

Я как раз на эти слова вхожу и говорю:

– И я тоже не должен – пятьдесят червонцев, которые я у вас занял, – я вашей жене отдал.

Офицеры ужасно смутились, а он как полотно побледнел с досады, что я его перехитрил. Схватил в руку карты, затрясся и закричал:

– Вы врете! вы плут!

И прямо, подлец, бросил в меня картами. Но я не потерялся и говорю:

– Ну, нет, брат, – я выше плута на два фута, – да бац ему пощечину... А он тряхнул свою палку, а из нее выскочила толедская шпага, и он с нею, каналья, на безоружного лезет!

Товарищи кинулись и не допустили. Одни его держали за руки, другие – меня. А он кричит:

– Вы подлец! никто из вас никогда моей жены не видал!

– Ну, мол, батюшка, – уж это ты оставь нам доказывать, – очень мы ее видали!

– Где? Какую?

Ему говорят:

– Оставьте, об этом-то уже нечего спорить. Разумеется, мы знаем вашу супругу.

А он, в ответ на это, как черт расхохотался, плюнул и ушел за двери, и ключом заперся.

Глава тринадцатая

И что же вы думаете? – ведь он был прав!

Вы себе даже и вообразить не можете, что тут такое над нами было проделано. Какая хитрость над хитростью и подлость над подлостью! Представьте, оказалось ведь, что мы его жены, действительно, никогда ни одного разу в глаза не видали! Он нас считал как бы недостойными, что ли, этой чести, чтобы познакомить нас с его настоящим семейством, и оно на все время нашей стоянки укрывалось в тех дальних комнатах, где мы не были. А эта кукона, по которой мы все с ума сходили и за счастье считали ручки да ножки ее целовать, а один даже умер за нее, – была черт знает что такое... просто арфистка из кофейни, которую за один червонец можно нанять танцевать в костюме Евы... Она была взята из профита к нашему приходу из кофейни, и он с нее доход имел... И сам этот Холуян-то, с которым мы играли, совсем был не Холуяном, а тоже наемный шулер, а настоящий Холуян только был Антошка на тонких ножках, который все с

бесчеревной собакой на охоту ходил... Он и был всему этому делу антрепренер! Вот это плуты, так уж плуты! теперь посудите же, каково было нам, офицерам, чувствовать, в каком мы были дурацком положении, и по чьей милости? По милости такой, можно сказать, наипрезреннейшей дряни!

А узнал об этом прежде всех я, но только тоже уж слишком поздно, – когда вся моя военная карьера через эту гадость была испорчена, благодаря глупости моих товарищей. Господа же офицеры наши еще и обиделись моим поступком, нашли, что я будто поступил нечестно, – выдал, извольте видеть, тайну дамы ее мужу... Вот ведь какая глупость! Однако потребовали, чтобы я из полка вышел. Нечего было делать – я вышел. Но при проезде через город жид мне все и открыл.

Я говорю:

– Да как же, их поп-то зачем же он про свою кукону говорил, что ей будто можно под предлогом на бедных давать?

– А это, – говорит, – справедливо, только поп это про настоящую кукону говорил, которая в комнатах сидела, а не про ту свинью, которую вы за бобра приняли.

Словом сказать – кругом одурачены. Я человек очень сильной комплекции, но был этим так потрясен, что у меня даже молдавская лихорадка сделалась. Насилу на родину дотащился к своим простым сердцам, и рад был, что городническое местишко себе в жидовском городке достал... Не хочу отрицать, – ссорился с ними немало и, признаться сказать, из своих рук учил, но... слава богу – жизнь прожита и кусок хлеба даже с маслом есть, а вот когда вспомнишь про эту молдавскую лихорадку, так опять в озноб бросит.

И от такого неприятного ощущения рассказчик опять распаковал свою вместительную подушку, налил стакан аметистовой влаги с надписью «Ея же и монаси приемлят», и молвил:

– Выпьемте, господа, за жидов и на погибель злым плутам – румынам.

– Что же, это будет преоригинально.

– Да, – отозвался другой собеседник, – но не будет ли еще лучше, если мы в эту ночь, когда родился «Друг грешников», пожелаем «всем добра и никому зла».

– Прекрасно, прекрасно!

И воин согласился, сказал: «абгемахт», и выпил чарку.

1883

Штопальщик

Глава первая

Преглупое это пожелание сулить каждому в новом году новое счастье, а ведь иногда что-то подобное приходит. Позвольте мне рассказать вам на эту тему небольшое событие, имеющее совсем святочный характер.

В одну из очень давних моих побывок в Москве я задержался там долее, чем думал, и мне надоело жить в гостинице. Псаломщик одной из придворных церквей услышал, как я жаловался на претерпеваемые неудобства приятелю моему, той церкви священнику, и говорит:

– Вот бы им, батюшка, к куму моему, – у него нынче комната свободная на улицу.

– К какому куму? – спрашивает священник.

– К Василью Коньчу.

– Ах, это «метр тальер Лепутан»!

– Так точно-с.

– Что же – это действительно очень хорошо. – И священник мне пояснил, что он и людей этих знает, и комната отличная, и псаломщик добавил еще про одну выгоду:

– Если, – говорит, – что прорвется или низки в брюках обобьются – все опять у вас будет исправно, так что глазом не заметить.

Я всякие дальнейшие осведомления почел излишними и даже комнаты не пошел смотреть, а дал псаломщику ключ от моего номера с доверительною надписью на карточке и поручил ему рассчитаться в гостинице, взять оттуда мои вещи и перевезти все к его куму. Потом я просил его зайти за мною сюда и проводить меня на мое новое жилище.

Глава вторая

Псаломщик очень скоро обделал мое поручение и с небольшим через час зашел за мною к священнику.

– Пойдемте, – говорит, – все уже ваше там разложили и расставили, и окошечки вам открыли, и дверку в сад на балкончик отворили, и даже сами с кумом там же, на балкончике, чайку выпили. Хорошо там, – рассказывает, – цветки вокруг, в крыжовнике птички гнездятся, и в клетке под окном соловей свищет. Лучше как на даче, потому – зелено, а меж тем все домашнее в порядке, и если какая пуговица ослабела или низки

обились, – сейчас исправят.

Псаломщик был парень аккуратный и большой фронт, а потому он очень напирал на эту сторону выгоды моей новой квартиры. Да и священник его поддерживал.

– Да, – говорит, – *tailleur Leroutant* такой артист по этой части, что другого ни в Москве, ни в Петербурге не найдете.

– Специалист, – серьезно подсказал, подавая мне пальто, псаломщик.

Кто это *Leroutant* – я не разобрал, да притом это до меня и не касалось.

Глава третья

Мы пошли пешком.

Псаломщик уверял, что извозчика брать не стоит, потому что это будто бы «два шага проминажи».

На самом деле это, однако, оказалось около получаса ходьбы, но псаломщику хотелось сделать «проминажу», может быть, не без умысла, чтобы показать бывшую у него в руках тросточку с лиловой шелковой кистью.

Местность, где находился дом Лепутана, была за Москвой-рекою к Яузе, где-то на берегу. Теперь я уже не припомню, в каком это приходе и как переулок называется. Впрочем, это, собственно, не был и переулок, а скорее какой-то непроезжий закоулок, вроде старинного погоста. Стояла церковка, а вокруг нее угольничком объезд, и вот в этом-то объезде шесть или семь домиков, все очень небольшие, серенькие, деревянные, один на каменном полуэтаже. Этот был всех показнее и всех больше, и на нем во весь фронтон была прибита большая железная вывеска, на которой по черному полю золотыми буквами крупно и четко выведено:

«*Maitr tailleur Leroutant*».

Очевидно, здесь и было мое жилье, но мне странно показалось: зачем же мой хозяин, по имени Василий Коныч, называется «*Maitr tailleur Leroutant*»? Когда его называл таким образом священник, я думал, что это не более как шутка, и не придавал этому никакого значения, но теперь, видя вывеску, я должен был переменить свое заключение. Очевидно, что дело шло всерьез, и потому я спросил моего провожатого:

– Василий Коныч – русский или француз?

Псаломщик даже удивился и как будто не сразу понял вопрос, а потом отвечал:

– Что вы это? Как можно француз, – чистый русский! Он и платье

делает на рынок только самое русское: поддевки и тому подобное, но больше он по всей Москве знаменит починкою: страсть сколько старого платья через его руки на рынке за новое идет.

– Но все-таки, – любопытствую я, – он, верно, от французов происходит?

Псаломщик опять удивился.

– Нет, – говорит, – зачем же от французов? Он самой правильной здешней природы, русской, и детей у меня воспринимает, а ведь мы, духовного звания, все числимся православные. Да и почему вы так воображаете, что он приближен к французской нации?

– У него на вывеске написана французская фамилия.

– Ах, это, – говорит, – совершенные пустяки – одна лаферма. Да и то на главной вывеске по-французски, а вот у самых ворот, видите, есть другая, русская вывеска, эта вернее.

Смотрю, и точно, у ворот есть другая вывеска, на которой нарисованы армяк и поддевка и два черные жилета с серебряными пуговицами, сияющими, как звезды во мраке, а внизу подпись:

«Делают кустумы русского и духовного платья, со специальностью ворса, выверта и починки».

Под эту вторую вывескою фамилия производителя «кустумов, выверта и починки» не обозначена, а стояли только два инициала «В. Л.».

Глава четвертая

Помещение и хозяин оказались в действительности выше всех сделанных им похвал и описаний, так что я сразу почувствовал себя здесь как дома и скоро полюбил моего доброго хозяина Василья Коныча. Скоро мы с ним стали сходитья пить чай, начали благо беседовать о разнообразных предметах. Таким образом, раз, сидя за чаем на балкончике, мы завели речи на царственные темы Когелета о суете всего, что есть под солнцем, и о нашей неустанной склонности работать всякой суете. Тут и договорились до Лепутана.

Не помню, как именно это случилось, но только дошло до того, что Василий Коныч пожелал рассказать мне странную историю: как и по какой причине он явился «под французским заглавием».

Это имеет маленькое отношение к общественным нравам и к литературе, хотя писано на вывеске.

Коныч начал просто, но очень интересно.

– Моя фамилия, сударь, – сказал он, – вовсе не Лепутан, а иначе, – а под французское заглавие меня поместила сама судьба.

Глава пятая

– Я природный, коренной москвич, из беднейшего звания. Дедушка наш у Рогожской заставы стелечки для древлестепенных староверов продавал. Отличный был старичок, как святой, – весь седенький, будто подлинный зайчик, а все до самой смерти своими трудами питался: купит, бывало, войлочек, нарежет его на кусочки по подошвке, смечет парочками на нитку и ходит «по христианам», а сам поет ласково: «Стелечки, стелечки, кому надо стелечки?» Так, бывало, по всей Москве ходит и на один грош у него всего товару, а кормится. Отец мой был портной по древнему фасону. Для самых законных староверов рабские кафташки шил с тремя оборочками и меня своему мастерству выучил. Но у меня с детства особенное дарование было – штопать. Крою не фасонисто, но штопать у меня первая охота. Так я к этому приспособился, что, бывало, где угодно на самом видном месте подштопаю и очень трудно заметить.

Старики отцу говорили:

– Это мальцу от Бога талант дан, а где талант, там и счастье будет.

Так и вышло; но до всякого счастья надо, знаете, покорное терпение, и мне тоже даны были два немалые испытания: во-первых, родители мои померли, оставив меня в очень молодых годах, а во-вторых, квартирка, где я жил, сгорела ночью на самое Рождество, когда я был в божьем храме у заутрени, – и там погорело все мое заведение, – и уют, и колодка, и чужие вещи, которые были взяты для штопки. Очутился я тогда в большом злострадании, но отсюда же и начался первый шаг к моему счастью.

Глава шестая

Один давалец, у которого при моем разорении сгорела у меня крытая шуба, пришел и говорит:

– Потеря моя большая, и к самому празднику неприятно остаться без шубы, но я вижу, что взять с тебя нечего, а надо бы еще тебе помочь. Если ты путный парень, так я тебя на хороший путь выведу, с тем, однако, что ты мне со временем долг отдашь.

Я отвечаю:

– Если бы только Бог позволил, то с большим моим удовольствием –

отдать долг почитаю за первую обязанность.

Он велел мне одеться и привел в гостиницу напротив главнокомандующего дома к подбуфетчику, и сказывает ему при мне:

– Вот, – говорит, – тот самый подмастерье, который, я вам говорил, что для вашей коммерции может быть очень способный.

Коммерция их была такая, чтобы разутюживать приезжающим всякое платье, которое приедет в чемоданах замявшись, и всякую починку делать, где какая потребуется.

Подбуфетчик дал мне на пробу одну штуку сделать, увидал, что исполняю хорошо, и приказал оставаться.

– Теперь, – говорит, – Христов праздник и господ много наехало, и все пьют-гуляют, а впереди еще Новый год и Крещение – безобразия будет еще больше, – оставайся.

Я отвечаю:

– Согласен.

А тот, что меня привел, говорит:

– Ну, смотри, действуй, – здесь нажать можно. А только его (то есть подбуфетчика) слушай, как пастыря. Бог пристанет и пастыря приставит.

Отвели мне в заднем коридоре маленький уголок при окошечке, и пошел я действовать. Очень много, – пожалуй, и не счесть, сколько я господ перечинил, и грех жаловаться, сам хорошо починился, потому что работы было ужасно как много и плату давали хорошую. Люди простой масти там не останавливались, а приезжали одни козыри, которые любили, чтобы постоять с главнокомандующим на одном местоположении из окон в окна.

Особенно хорошо платили за штуковки да за штопку при тех случаях, если повреждение вдруг неожиданно окажется в таком платье, которое сейчас надеть надо. Иной раз, бывало, даже совестно, – дырка вся в гривенник, а зачинить ее незаметно – дают золотой.

Меньше червонца дырочку подштопать никогда не плачивали. Но, разумеется, требовалось уже и искусство настоящее, чтобы, как воды капля с другою слита и нельзя их различить, так чтобы и штука была вштукована.

Из денег мне, из каждой платы, давали третью часть, а первую брал подбуфетчик, другую – служащие, которые в номерах господам чемоданы с приезда разбирают и платье чистят. В них все главное дело, потому они вещи и помнут, и потрут, и дырочку клюнут, и потому им две доли, а остальное мне. Но только и этого было на мою долю так достаточно, что я из коридорного угла ушел к себе: на том же дворе поспокойнее комнатку занял, а через год подбуфетчикова сестра из деревни

приехала, я на ней и женился. Теперешняя моя супруга, как ее видите, – она и есть, дожила до старости с почтением, и, может быть, на ее долю все Бог и дал. А женился просто таким способом, что подбуфетчик сказал: «Она сирота, и ты должен ее осчастливить, а потом через нее тебе большое счастье будет». И она тоже говорила: «Я, – говорит, – счастливая, – тебе за меня Бог даст»; и вдруг словно через это в самом деле случилась удивительная неожиданность.

Глава седьмая

Пришло опять Рождество, и опять канун на Новый год. Сижу я вечером у себя – что-то штопаю, и уже думаю работу кончить да спать ложиться, как прибегает лакей из номеров и говорит:

– Беги скорей, в первом номере страшный Козырь остановимшись, – почитай, всех перебил, и кого ударит – червонцем дарит, – сейчас он тебя к себе требует.

– Что ему от меня нужно? – спрашиваю.

– На бал, – говорит, – он стал одеваться и в самую последнюю минуту во фраке на видном месте прожженную дырку осмотрел, человека, который чистил, избил и три червонца дал. Беги как можно скорее, такой сердитый, что на всех зверей сразу похож.

Я только головой покачал, потому что знал, как они проезжающих вещи нарочно портят, чтобы профит с работы иметь, но, однако, оделся и пошел смотреть Козыря, который один сразу на всех зверей похож.

Плата непременно предвиделась большая, потому что первый номер во всякой гостинице считается «козырной» и не роскошный человек там не останавливается; а в нашей гостинице цена за первый номер полагалась в сутки, по-нынешнему, пятнадцать рублей, а по-тогдашнему счету на ассигнации – пятьдесят два с полтиною, и кто тут стоял, звали его Козырем.

Этот, к которому меня теперь привели, на вид был ужасно какой страшный – ростом огромный и с лица смугл и дик и действительно на всех зверей похож.

– Ты, – спрашивает он меня злобным голосом, – можешь так хорошо дырку заштопать, чтобы заметить нельзя?

Отвечаю:

– Зависит от того, в какой вещи. Если вещь ворсистая, так можно очень хорошо сделать, а если блестящий атлас или шелковая мове-материя, с теми не берусь.

– Сам, – говорит, – ты мове, а мне какой-то подлец вчера, вероятно, сзади меня сидевши, сигаркою фрак прожег. Вот осмотри его и скажи.

Я осмотрел и говорю:

– Это хорошо можно сделать.

– А сколько времени?

– Да через час, – отвечаю, – будет готово.

– Делай, – говорит, – и если хорошо сделаешь, получишь денег полушку, а если нехорошо, то головой об кадушку. Поди расспроси, как я здешних молодцов избил, и знай, что тебя я в сто раз больше избью.

Глава восьмая

Пошел я чинить, а сам не очень и рад, потому что не всегда можно быть уверенным, как сделаешь: попроще сукнецо лучше слипнет, а которое жестче, – трудно его подворсить так, чтобы не было заметно.

Сделал я, однако, хорошо, но сам не понес, потому что обращение его мне очень не нравилось. Работа этакая капризная, что как хорошо ни сделай, а все кто охоч придраться – легко можно неприятность получить.

Послал я фрак с женою к ее брату и наказал, чтобы отдала, а сама скорее домой ворочалась, и как она прибежала назад, так поскорее заперлись изнутри на крюк и легли спать.

Утром я встал и повел день своим порядком: сижу за работою и жду, какое мне от козырного барина придут сказывать жалование – денег полушку или головой об кадушку.

И вдруг, так часу во втором, является лакей и говорит:

– Барин из первого номера тебя к себе требует.

Я говорю:

– Ни за что не пойду.

– Через что такое?

– А так – не пойду, да и только; пусть лучше работа моя даром пропадает, но я видеть его не желаю.

А лакей стал говорить:

– Напрасно ты только страшишься: он тобою очень доволен остался и в твоём фраке на бале Новый год встречал, и никто на нем дырки не заметил. А теперь у него собралась к завтраку гости его с Новым годом поздравлять и хорошо выпили и, ставши о твоей работе разговаривать, об заклад пошли: кто дырку найдет, да никто не нашел. Теперь они на радости, к этому случаю присыпавшись, за твое русское искусство пьют и самого

тебя видеть желают. Иди скорей – через это тебя в Новый год новое счастье ждет.

И жена тоже на том настаивает – иди да иди:

– Мое сердце, – говорит, – чувствует, что с этого наше новое счастье начинается.

Я их послушался и пошел.

Глава девятая

Господ в первом номере я встретил человек десять, и все много выпивши, и как я пришел, то и мне сейчас подадут покал с вином и говорят:

– Пей с нами вместе за твое русское искусство, в котором ты нашу нацию прославить можешь.

И разное такое под вином говорят, чего дело совсем и не стоит.

Я, разумеется, благодарю и кланяюсь, и два покала выпил за Россию и за их здоровье, а более, говорю, не могу сладкого вина пить через то, что я к нему не привычен, да и такой компании не заслуживаю.

А страшный барин из первого номера отвечает:

– Ты, братец, осел, и дурак, и скотина, – ты сам себе цены не знаешь, сколько ты по своим дарованиям заслуживаешь. Ты мне помог под Новый год весь предлог жизни исправить, через то, что я вчера на балу любимой невесте важного рода в любви открылся и согласие получил, в этот мясоед и свадьба моя будет.

– Желаю, – говорю, – вам и будущей супруге вашей принять закон в полном счастья.

– А ты за это выпей.

Я не мог отказаться и выпил, но дальше прошу отпустить.

– Хорошо, – говорит, – только скажи мне, где ты живешь и как тебя звать по имени, отчеству и прозвищу: я хочу твоим благодетелем быть.

Я отвечаю:

– Звать меня Василий, по отцу Кононов сын, а прозвищем Лапутин, и мастерство мое тут же рядом, тут и маленькая вывеска есть, обозначено: «Лапутин».

Рассказываю это и не замечаю, что все гости при моих словах чего-то порскнули и со смеху покатались; а барин, которому я фрак чинил, ни с того ни с сего хлясь меня в ухо, а потом хлясь в другое, так что я на ногах не устоял. А он подтолкнул меня выступком к двери да за порог и выбросил.

Ничего я понять не мог, и дай бог скорее ноги.

Прихожу, а жена спрашивает:

– Говори скорее, Васенька: как мое счастье тебе послужило?

Я говорю:

– Ты меня, Машенька, во всех частях подробно не расспрашивай, но только если по этому началу в таком же роде дальше пойдет, то лучше бы для твоего счастья не жить. Избил меня, ангел мой, этот барин.

Жена встревожилась, – что, как и за какую провинность? – а я, разумеется, и сказать не могу, потому что сам ничего не знаю.

Но пока мы этот разговор ведем, вдруг у нас в сеничках что-то застучало, зашумело, загремело, и входит мой из первого номера благодетель.

Мы оба встали с мест и на него смотрим, а он, покрасневшись от внутренних чувств или еще вина подбавивши, и держит в одной руке дворницкий топор на долгом топорнице, а в другой поколотую в щепы дощечку, на которой была моя плохая вывесочка с обозначением моего бедного ремесла и фамилии: «Старье чинит и выворачивает Лапутин».

Глава десятая

Вошел барин с этими поколотыми досточками и прямо кинул их в печку, а мне говорит: «Одевайся, сейчас вместе со мною в коляске поедем, – я счастье жизни твоей устрою. Иначе и тебя, и жену, и все, что у вас есть, как эти доски поколю».

Я думаю: чем с таким дебоширом спорить, лучше его скорее из дома увести, чтобы жене какой обиды не сделал.

Торопливо оделся, – говорю жене: «Перекрести меня, Машенька!» – и поехали. Прикатили в Бронную, где жил известный покупной, сводчик Прохор Иваныч, и барин сейчас спросил у него:

– Какие есть в продажу дома и в какой местности, на цену от двадцати пяти до тридцати тысяч или немножко более. – Разумеется, по-тогдашнему, на ассигнации. – Только мне такой дом требуется, – объясняет, – чтобы его сию минуту взять и перейти туда можно.

Сводчик вынул из комода китрадь, вздел очки, посмотрел в один лист, в другой, и говорит:

– Есть дом на все виды вам подходящий, но только прибавить немножко придется.

– Могу прибавить.

– Так надо дать до тридцати пяти тысяч.

– Я согласен.

– Тогда, – говорит, – все дело в час кончим, и завтра въехать в него можно, потому что в этом доме дьякон на крестинах куриной костью подавился и помер, и через то там теперь никто не живет.

Вот это и есть тот самый домик, где мы с вами теперь сидим. Говорили, будто здесь покойный дьякон ночами ходит и давится, но только все это совершенные пустяки, и никто его тут при нас ни разу не видывал. Мы с женою на другой же день сюда переехали, потому что барин нам этот дом по дарственной перевел; а на третий день он приходит с рабочими, которых больше как шесть или семь человек, и с ними лестница и вот эта самая вывеска, что я будто французский портной.

Пришли и приколотили и назад ушли, а барин мне наказал:

– Одно, – говорит, – тебе мое приказание: вывеску эту никогда не смей переменять и на это название отзываться. – И вдруг вскрикнул:

– Лепутан!

– Чего изволите?

– Молодец, – говорит. – Вот тебе еще тысячу рублей на ложки и плошки, но смотри, Лепутан, – заповеди мои соблюди, и тогда сам соблюден будешь, а ежели что... да, спаси тебя господи, станешь в своем прежнем имени утверждаться, и я узнаю... то во первое предисловие я всего тебя избыю, а во-вторых, по закону «дар дарителю возвращается». А если в моем желании пребудешь, то объясни, что тебе еще надо, и все от меня получишь.

Я его благодарю и говорю, что никаких желаний не имею и не придумаю, окромя одного – если его милость будет, сказать мне: что все это значит и за что я дом получил?

Но этого он не сказал.

– Это, – говорит, – тебе совсем не надо, но только помни, что с этих пор ты называешься – «Лепутан», и так в моей дарственной именован. Храни это имя: тебе это будет выгодно.

Глава одиннадцатая

Остались мы в своем доме хозяйствовать, и пошло у нас все очень благополучно, и считали мы так, что все это жениным счастьем, потому что настоящего объяснения долгое время ни от кого получить не могли, но один раз пробежали тут мимо нас два господина и вдруг остановились и

входят.

Жена спрашивает:

– Что прикажете?

Они отвечают:

– Нам нужно самого мусье Лепутана.

Я выхожу, а они переглянулись, оба враз засмеялись и заговорили со мною по-французски.

Я извиняюсь, что по-французски не понимаю.

– А давно ли, – спрашивают, – вы стали под этой вывеской?

Я им сказал, сколько лет.

– Ну так и есть. Мы вас, – говорят, – помним и видели: вы одному господину под Новый год удивительно фрак к балу заштопали, и потом от него при нас неприятность в гостинице перенесли.

– Совершенно верно, – говорю, – был такой случай, но только я этому господину благодарен и через него жить пошел, но не знаю ни его имени, ни прозвания, потому все это от меня скрыто.

Они мне сказали его имя, а фамилия его, прибавили, – Лапутин.

– Как Лапутин?

– Да, разумеется, – говорят, – Лапутин. А вы разве не знали, через что он вам все это благодетельство оказал? Через то, чтобы его фамилии на вывеске не было.

– Представьте, – говорю, – а мы о ею пору ничего этого понять не могли; благодеением пользовались, а словно как в потемках.

– Но, однако, – продолжают мои гости, – ему от этого ничего не помоглось, – вчера с ним новая история вышла.

И рассказали мне такую новость, что стало мне моего прежнего однофамильца очень жалко.

Глава двенадцатая

Жена Лапутина, которой они сделали предложение в заштопанном фраке, была еще щекотистее мужа и обожала важность. Сами они оба были не бог весть какой породы, а только отцы их по откупам разбогатели, но искали знакомства с одними знатными. А в ту пору у нас в Москве был главнокомандующим граф Закревский, который сам тоже, говорят, был из поляцких шляхтецов, и его настоящие господа, как князь Сергей Михайлович Голицын, не высоко числили; но прочие обольщались быть в его доме приняты. Моего прежнего однофамильца супруга тоже этой чести

жаждали. Однако, бог их знает почему, им это долго не выходило, но, наконец, нашел господин Лапутин сделать графу какую-то приятность, и тот ему сказал:

– Заезжай, братец, ко мне, я велю тебя принять, скажи мне, чтобы я не забыл: как твоя фамилия?

Тот отвечал, что его фамилия – Лапутин.

– Лапутин? – заговорил граф, – Лапутин... Постой, постой, сделай милость, Лапутин... Я что-то помню, Лапутин... Это чья-то фамилия.

– Точно так, – говорит, – ваше сиятельство, это моя фамилия.

– Да, да, братец, действительно это твоя фамилия, только я что-то помню... как будто был еще кто-то Лапутин. Может быть, это твой отец был Лапутин?

Барин отвечает, что его отец был Лапутин.

– То-то я помню, помню... Лапутин. Очень может быть, что это твой отец. У меня очень хорошая память; приезжай, Лапутин, завтра же приезжай; я тебя велю принять, Лапутин.

Тот от радости себя не помнит и на другой день едет.

Глава тринадцатая

Но граф Закревский память свою хотя и хвалил, однако на этот раз оплошал и ничего не сказал, чтобы принять господина Лапутина.

Тот разлетелся.

– Такой-то, – говорит, – и желаю видеть графа.

А швейцар его не пускает:

– Никого, – говорит, – не велено принимать.

Барин так-сяк его убеждать, – что «я, – говорит, – не сам, а по графскому зову приехал», – швейцар ко всему пребывает нечувствителен.

– Мне, – говорит, – никого не велено принимать, а если вы по делу, то идите в канцелярию.

– Не по делу я, – обижается барин, – а по личному знакомству; граф наверно тебе сказал мою фамилию – Лапутин, а ты, верно, напутал.

– Никакой фамилии мне вчера граф не говорил.

– Этого не может быть; ты просто позабыл фамилию – Лапутин.

– Никогда я ничего не забываю, а этой фамилии я даже и не могу позабыть, потому что я сам Лапутин.

Барин так и вскипел.

– Как, – говорит, – ты сам Лапутин! Кто тебя научил так назваться?

А швейцар ему отвечает:

– Никто меня не научал, а это наша природа, и в Москве Лапутиных обширное множество, но только остальные незначительны, а в настоящие люди один я вышел.

А в это время, пока они спорили, граф с лестницы сходит и говорит:

– Действительно, это я его и помню, он и есть Лапутин, и он у меня тоже мерзавец. А ты в другой раз приди, мне теперь некогда. До свидания.

Ну, разумеется, после этого уже какое свидание?

Глава четырнадцатая

Рассказал мне это maitre tailleur Leroutant с сожалительной скромностью и прибавил в виде финала, что на другой же день ему довелось, идучи с работою по бульвару, встретить самого анекдотического Лапутина, которого Василий Коныч имел основание считать своим благодетелем.

– Сидит, – говорит, – на лавочке очень грустный. Я хотел проюркнуть мимо, но он лишь заметил и говорит:

– Здравствуй, monsieur Leroutant! Как живешь-можешь?

– По божьей и по вашей милости очень хорошо. Вы как, батюшка, изволите себя чувствовать?

– Как нельзя хуже; со мною прескверная история случилась.

– Слышал, – говорю, – сударь, и порадовался, что вы его по крайней мере не тронули.

– Тронуть его, – отвечает, – невозможно, потому что он не свободного трудолюбия, а при графе в мерзавцах служит; но я хочу знать: кто его подкупил, чтобы мне эту подлость сделать?

А Коныч, по своей простоте, стал барина утешать.

– Не ищите, – говорит, – сударь, подучения. Лапутиных, точно, много есть, и есть между них люди очень честные, как, например, мой покойный дедушка, – он по всей Москве стелечки продавал...

А он меня вдруг с этого слова враз через всю спину палкою... Я и убежал, и с тех пор его не видал, а только слышал, что они с супругой за границу во Францию уехали, и он там разорился и умер, а она над ним памятник поставила, да, говорят, по случаю, с такою надписью, как у меня на вывеске: «Лепутан». Так и вышли мы опять однофамильцы.

Глава пятнадцатая

Василий Коныч закончил, а я его спросил: почему он теперь не хочет переменить вывески и выставить опять свою законную, русскую фамилию?

– Да зачем, – говорит, – сударь, ворошить то, с чего новое счастье стало, – через это можно вред всей окрестности сделать.

– Окрестности-то какой же вред?

– А как же-с, – моя французская вывеска, хотя, положим, все знают, что одна лаферма, однако через нее наша местность другой эффект получила, и дома у всех соседей совсем другой против прежнего профит имеют.

Так Коныч и остался французом для пользы обывателей своего замоскворецкого закоулка, а его знатный однофамилец без всякой пользы сгнил под псевдонимом у Пер-Лашеза.

1882

Дух госпожи Жанлис Спиритический случай

*Духа иногда гораздо легче вызвать,
чем от него избавиться.*

А. Б. Калмет

Глава первая

Странное приключение, которое я намерен рассказать, имело место несколько лет тому назад, и теперь оно может быть свободно рассказано, тем более что я выговариваю себе право не называть при этом ни одного собственного имени.

Зимой 186* года в Петербург прибыло на жительство одно очень зажиточное и именитое семейство, состоявшее из трех лиц: матери – пожилой дамы, княгини, слывшей женщиною тонкого образования и имевшей наилучшие светские связи в России и за границу; сына ее, молодого человека, начавшего в этот год служебную карьеру по дипломатическому корпусу, и дочери, молодой княжны, которой едва пошел семнадцатый год.

Новоприбывшее семейство до сей поры обыкновенно проживало за границу, где покойный муж старой княгини занимал место представителя

России при одном из второстепенных европейских дворов. Молодой князь и княжна родились и выросли в чужих краях, получив там вполне иностранное, но очень тщательное образование.

Глава вторая

Княгиня была женщина весьма строгих правил и заслуженно пользовалась в обществе самой безукоризненной репутацией. В своих мнениях и вкусах она придерживалась взглядов прославленных умом и талантами французских женщин времен процветания женского ума и талантов во Франции. Княгиню считали очень начитанною и говорили, что она читает с величайшим разбором. Самое любимое ее чтение составляли письма г-жи Савиньи, Лафает и Ментенон, а также Коклюс и Данго Куланж, но всех больше она уважала г-жу Жанлис, к которой она чувствовала слабость, доходившую до обожания. Маленькие томики прекрасно сделанного в Париже издания этой умной писательницы, скромно и изящно переплетенные в голубой сафьян, всегда помещались на красивой стенной этажерке, висевшей над большим креслом, которое было любимым местом княгини. Над перламутровой инкрустацией, завершавшей самую этажерку, свешиваясь с темной бархатной подушки, покоилась превосходно сформированная из terracota миниатюрная ручка, которую целовал в своем Фернее Вольтер, не ожидавший, что она уронит на него первую каплю тонкой, но едкой критики. Как часто перечитывала княгиня томики, начертанные этой маленькой ручкой, я не знаю, но они всегда были у ней под рукою и княгиня говорила, что они имеют для нее особенное, так сказать, таинственное значение, о котором она не всякому решилась бы рассказывать, потому что этому не всякий может поверить. По ее словам выходило, что она не расстанется с этими волюмами «с тех пор, как себя помнит» и что они лягут с нею в могилу.

– Мой сын, – говорила она, – имеет от меня поручение положить книжечки со мной в гроб, под мою гробовую подушку, и я уверена, что они пригодятся мне даже после смерти.

Я осторожно пожелал получить хотя бы самые отдаленные объяснения по поводу последних слов, – и получил их.

– Эти маленькие книги, – говорила княгиня, – напоены духом Фелиситы (так она называла m-me Genlis, вероятно в знак короткого с нею общения). Да, свято веря в бессмертие духа человеческого, я также верю и в его способность свободно сноситься из-за гроба с теми, кому такое

сношение нужно и кто умеет это ценить. Я уверена, что тонкий флюид Фелиситы избрал себе приятное местечко под счастливым сафьяном, обнимающим листки, на которых опочили ее мысли, и если вы не совсем неверующий, то я надеюсь, что вам это должно быть понятно.

Я молча поклонился. Княгине, по-видимому, понравилось, что я ей не возражал, и она в награду мне прибавила, что все, ею мне сейчас сказанное, есть не только вера, но настоящее и полное убеждение, которое имеет такое твердое основание, что его не могут поколебать никакие силы,

– И это именно потому, – заключила она, – что я имею множество доказательств, что дух Фелиситы живет, и живет именно здесь!

При последнем слове княгиня подняла над головою руку и указала изящным пальцем на этажерку, где стояли голубые волюмы.

Глава третья

Я от природы немножко суеверен и всегда с удовольствием слушаю рассказы, в которых есть хотя какое-нибудь место таинственному. За это, кажется, прозорливая критика, зачислявшая меня по разным дурным категориям, одно время говорила, будто я спирит.

Притом же, к слову сказать, все, о чем мы теперь говорим, происходило как раз в такое время, когда из-за границы к нам приходили в изобилии вести о спиритических явлениях. Они тогда возбуждали любопытство, и я не видал причины не интересоваться тем, во что начинают верить люди.

«Множество доказательств», о которых упоминала княгиня, можно было слышать от нее множество раз: доказательства эти заключались в том, что княгиня издавна образовала привычку в минуты самых разнообразных душевных настроений обращаться к сочинениям г-жи Жанлис как к оракулу, а голубые волюмы, в свою очередь, обнаруживали неизменную способность разумно отвечать на ее мысленные вопросы.

Это, по словам княгини, вошло в ее «абитюды», которым она никогда не изменяла, и «дух», обитающий в книгах, ни разу не сказал ей ничего неподходящего.

Я видел, что имею дело с очень убежденной последовательницей спиритизма, которая притом не обделена умом, опытностью и образованием, и потому чрезвычайно всем этим заинтересовался.

Мне было уже известно кое-что из природы духов, и в том, чему мне доводилось быть свидетелем, меня всегда поражала одна общая всем духам

странность, что они, являясь из-за гроба, ведут себя гораздо легкомысленнее и, откровенно сказать, глупее, чем проявляли себя в земной жизни.

Я уже знал теорию Кардека о «шаловливых духах» и теперь крайне интересовался: как удостоит себя показать при мне дух остроумной маркизы Сюльери, графини Брюсляр?

Случай к тому не замедлил, но, как и в коротком рассказе, так же как в маленьком хозяйстве, не нужно портить порядка, то я прошу еще минуту терпения, прежде чем довести дело до сверхъестественного момента, способного превзойти всяческие ожидания.

Глава четвертая

Люди, составлявшие небольшой, но очень избранный круг княгини, вероятно, знали ее причуды; но, как все это были люди воспитанные и учтивые, то они умели уважать чужие верования, даже в том случае, если эти верования резко расходились с их собственными и не выдерживали критики. А потому никто и никогда с княгиней об этом не спорил. Впрочем, может быть и то, что друзья княгини не были уверены в том, что она считает свои голубые волюмы обиталищем «духа» их автора в прямом и непосредственном смысле, а принимали эти слова как риторическую фигуру. Наконец, может быть и еще проще, то есть что они принимали все это за шутку.

Один, кто не мог смотреть на дело таким образом, к сожалению, был я; и я имел к тому свои основания, причины которых, может быть, кроются в легковерии и впечатлительности моей натуры.

Глава пятая

Вниманию этой великосветской дамы, которая открыла мне двери своего уважаемого дома, я был обязан трем причинам: во-первых, ей почему-то нравился мой рассказ «Запечатленный ангел», незадолго перед тем напечатанный в «Русском вестнике»; во-вторых, ее заинтересовало ожесточенное гонение, которому я ряды лет, без числа и меры, подвергался от моих добрых литературных собратий, желавших, конечно, поправить мои недоразумения и ошибки, и, в-третьих, княгине меня хорошо рекомендовал в Париже русский иезуит, очень добрый князь Гагарин – старик, с которым мы находили удовольствие много беседовать и который

составил себе обо мне не наилучшее мнение.

Последнее было особенно важно, потому что княгине было дело до моего образа мыслей и настроения; она имела, или по крайней мере ей казалось, будто она может иметь, надобность в небольших с моей стороны услугах. Как это ни странно для человека такого скромного значения, как я, это было так. Надобность эту княгине сочинила ее материнская заботливость о дочери, которая совсем почти не знала по-русски... Привозя прелестную девушку на родину, мать хотела найти человека, который мог бы сколько-нибудь ознакомить княжну с русской литературой, – разумеется, исключительно хорошею, то есть настоящею, а не зараженною «злобою дня».

О последней княгиня имела представления самые смутные и притом до крайности преувеличенные. Довольно трудно было понять, чего именно она боялась со стороны современных титанов русской мысли, – их ли силы и отваги, или их слабости и жалкого самомнения; но, улавливая кое-как, с помощью наведения и догадок, «головки и хвостики» собственных мыслей княгини, я пришел к безошибочному, на мой взгляд, убеждению, что она всего определительнее боялась «нецеломудренных намеков», которыми, по ее понятиям, была вконец испорчена вся наша нескромная литература.

Разуверять в этом княгиню было бесполезно, так как она была в том возрасте, когда мнения уже сложились прочно и очень редко кто способен подвергать их новому пересмотру и проверке. Она, несомненно, была не из этих, и чтобы ее переуверить в том, во что она уверовала, недостаточно было слова обыкновенного человека, а это могло быть по силам разве духу, который счел бы нужным прийти с этою целью из ада или из рая. Но могут ли подобные мелкие заботы занимать бесплотных духов безвестного мира; не мелки ли для них все, подобные настоящему, споры и заботы о литературе, которую и несравненно большая доля живых людей считает пустым занятием пустых голов?

Обстоятельства, однако, скоро показали, что, рассуждая таким образом, я очень грубо заблуждался. Привычка к литературным прегрешениям, как мы скоро увидим, не оставляет литературных духов и за гробом, а читателю будет предстоять задача решить: в какой мере эти духи действуют успешно и остаются верны своему литературному прошлому.

Глава шестая

Благодаря тому, что княгиня имела на все строго сформированные

взгляды, моя задача помочь ей в выборе литературных произведений для молодой княжны была очень определительна. Надо было, чтобы княжна могла из этого чтения узнавать русскую жизнь, и притом не встретить ничего, что могло бы смутить девственный слух. Материнскою цензурой княгини целиком не допускался ни один автор, даже Державин и Жуковский. Все они ей представлялись не вполне надежными. О Гоголе, разумеется, нечего было и говорить, – он целиком изгонялся. Из Пушкина допускались: «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин», но последний с значительными урезками, которые собственноручно отмечала княгиня. Лермонтов не допускался, как и Гоголь. Из новейших одобрялся несомненно один Тургенев, но и то кроме тех мест, где говорят о любви, а Гончаров был изгнан, и хотя я за него довольно смело заступался, но это не помогло, княгиня отвечала:

– Я знаю, что он большой художник, но это тем хуже, – вы должны признать, что у него есть разжигающие предметы.

Глава седьмая

Я во что бы то ни стало хотел знать: что такое именно разумеет княгиня под разжигающими предметами, которые она нашла в сочинениях Гончарова. Чем он мог, при его мягкости отношений к людям и обуздывающим их страстям, оскорбить чье бы то ни было чувство?

Это было до такой степени любопытно, что я напустил на себя смелость и прямо спросил, какие у Гончарова есть разжигающие предметы?

На этот откровенный вопрос я получил откровенный же, острым шепотом произнесенный, односложный ответ: «локти».

Мне показалось, что я не вслушался или не понял.

– Локти, локти, – повторила княгиня и, видя мое недоразумение, как будто рассердилась. – Неужто вы не помните... как его этот... герой где-то... там засматривается на голые локти своей... очень простой какой-то дамы?

Теперь я, конечно, вспомнил известный эпизод из «Обломова» и не нашел ответить ни слова. Мне, собственно, тем удобнее было молчать, что я не имел ни нужды, ни охоты спорить с недоступною для переубеждений княгинею, которую я, по правде сказать, давно гораздо усерднее наблюдал, чем старался служить ей моими указаниями и советами. И какие указания я мог ей сделать после того, как она считала возмутительным неприличием

«локти», а вся новейшая литература шагнула в этих откровениях несравненно далее?

Какую надо было иметь смелость, чтобы, зная все это, назвать хотя одно новейшее произведение, в которых покровы красоты приподняты гораздо решительнее!

Я чувствовал, что, при таком раскрытии обстоятельств, моя роль советчика должна быть кончена, – и решился не советовать, а противоречить.

– Княгиня, – сказал я, – мне кажется, что вы несправедливы: в ваших требованиях к художественной литературе есть преувеличение.

Я изложил ей все, что, по моему мнению, относилось к делу.

Глава восьмая

Увлекаясь, я произнес не только целую критику над ложным пуризмом, но и привел известный анекдот о французской даме, которая не могла ни написать, ни выговорить слова «culotte», но зато, когда ей однажды неизбежно пришлось выговорить это слово при королеве, она запнулась и тем заставила всех расхохотаться. Но я никак не мог вспомнить, у кого из французских писателей мне пришлось читать об ужасном придворном скандале, которого совсем бы не произошло, если бы дама выговорила слово «culotte» так же просто, как выговаривала его своими августейшими губками сама королева.

Цель моя была показать, что излишняя щепетильность может служить во вред скромности и что поэтому чересчур строгий выбор чтения едва ли нужен.

Княгиня, к немалому моему изумлению, выслушала меня, не обнаруживая ни малейшего неудовольствия, и, не покидая своего места, подняла над головою свою руку и взяла один из голубых волюмов.

– У вас, – сказала она, – есть доводы, а у меня есть оракул.

– Я, – говорю, – интересуюсь его слышать.

– Это не замедлит: я призываю дух Genlis, и он будет отвечать вам. Откройте книгу и прочтите.

– Потрудитесь указать, где я должен читать? – спросил я, принимая волюмчик.

– Указать? Это не мое дело: дух сам вам укажет. Раскройте где попало.

Мне это становилось немножко смешно и даже как будто стыдно за мою собеседницу; однако я сделал так, как она хотела, и только что окинул

глазом первый период раскрывшейся страницы, как почувствовал досадительное удивление.

– Вы смущены? – спросила княгиня.

– Да.

– Да; это бывало со многими. Я прошу вас читать.

Глава девятая

«Чтение – занятие слишком серьезное и слишком важное по своим последствиям, чтобы при выборе его не руководить вкусами молодых людей. Есть чтение, которое нравится юности, но оно делает их беспечными и предполагает к ветрености, после чего трудно исправить характер. Все это я испытала на опыте». Вот что прочел я и остановился.

Княгиня с тихой улыбкой развела руками и, деликатно торжествуя надо мною свою победу, проговорила:

– По-латыни это, кажется, называется dixi?

– Совершенно верно.

С тех пор мы не спорили, но княгиня не могла отказать себе в удовольствии поговорить иногда при мне о невоспитанности русских писателей, которых, по ее мнению, «никак нельзя читать вслух без предварительного пересмотра»

О «духе» Genlis я, разумеется, серьезно не думал. Мало ли что говорится в этом роде.

Но «дух» действительно жил и был в действии, и вдобавок, представьте, что он был на нашей стороне, то есть на стороне литературы. Литературная природа взяла в нем верх над сухим резонерством и, неуязвимый со стороны приличия, «дух» г-жи Жанлис, заговорив du fond du coeur, отколол (да, именно отколол) в строгом салоне такую школярскую штуку, что последствия этого были исполнены глубокой трагикомедии.

Глава десятая

У княгини раз в неделю собирались вечером к чаю «три друга». Это были достойные люди, с отличным положением. Два из них были сенаторы, а третий – дипломат. В карты, разумеется, не играли, а беседовали.

Говорили обыкновенно старшие, то есть княгиня и «три друга», а я, молодой князь и княжна очень редко вставляли свое слово. Мы более

поучались, и, к чести наших старших, надо сказать, что у них было чему поучиться, – особенно у дипломата, который удивлял нас своими тонкими замечаниями.

Я пользовался его расположением, хотя не знаю за что. В сущности, я обязан думать, что он считал меня не лучше других, а в его глазах «литераторы» были все «одного корня». Шутя он говорил: «И лучшая из змей есть все-таки змея».

Это-то самое мнение и послужило поводом к наступающему ужасному случаю.

Глава одиннадцатая

Будучи стоически верна своим друзьям, княгиня не хотела, чтобы такое общее определение распространялось и на г-жу Жанлис и на «женскую плеяду», которую эта писательница держала под своей защитой. И вот, когда мы собрались у этой почтенной особы встречать тихо Новый год, незадолго до часа полночи у нас зашел обычный разговор, в котором опять упомянуто было имя г-жи Жанлис, а дипломат припомнил свое замечание, что «и лучшая из змей есть все-таки змея».

– Правила без исключения не бывает, – сказала княгиня.

Дипломат догадался – кто должен быть исключением, и промолчал.

Княгиня не вытерпела и, взглянув по направлению к портрету Жанлис, сказала:

– Какая же она змея!

Но искушенный жизнью дипломат стоял на своем: он тихо помавал пальцем и тихо же улыбался, – он не верил ни плоти, ни духу.

Для решения несогласия, очевидно, нужны были доказательства, и тут-то способ обращения к духу вышел кстати.

Маленькое общество было прекрасно настроено для подобных опытов, а хозяйка сначала напомнила о том, что мы знаем насчет ее верований, а потом и предложила опыт.

– Я отвечаю, – сказала она, – что самый придирчивый человек не найдет у Жанлис ничего такого, чего бы не могла прочесть вслух самая невинная девушка, и мы это сейчас попробуем.

Она опять, как в первый раз, закинула руку к помещавшейся так же над ее этаблисманом этажерке, взяла без выбора волюм – и обратилась к дочери:

– Мое дитя! раскрой и прочти нам страницу.

Княжна повиновалась.

Мы все изображали собою серьезное ожидание.

Глава двенадцатая

Если писатель начинает обрисовывать внешность выведенных им лиц в конце своего рассказа, то он достоин порицания; но я писал эту безделку так, чтобы в ней никто не был узнан. Поэтому я не ставил никаких имен и не давал никаких портретов. Портрет же княжны и превышал бы мои силы, так как она была вполне, что называется, «ангел во плоти». Что же касается всесовершенной ее чистоты и невинности, – она была такова, что ей можно было даже доверить решить неодолимой трудности богословский вопрос, который вели у Гейне «Bernardiner und Rabiner». За эту не причастную ни к какому греху душу, конечно, должно было говорить нечто, стоящее превыше мира и страстей. И княжна, с этою именно невинностью, прелестно грассируя, прочитала интересные воспоминания Genlis о старости madame Dudeffand, когда она «слаба глазами стала». Запись говорила о толстом Джиббоне, которого французской писательнице рекомендовали как знаменитого автора. Жанлис, как известно, скоро его разгадала и едко осмеяла французов, увлеченных дутой репутацией этого иностранца.

Далее я привожу по известному переводу с французского подлинника, который читала княжна, способная решить спор между «Bernardiner und Rabiner».

«Джиббон мал ростом, чрезвычайно толст, и у него преудивительное лицо. На этом лице невозможно различить ни одной черты. Ни носа, ни глаз, ни рта совсем не видно; две жирные, толстые щеки, похожие черт знает на что, поглощают все... Они так надулись, что совсем отошли от всякой соразмерности, которая была бы мало-мальски прилична для самых больших щек; каждый, увидав их, должен был бы удивляться: зачем это место помещено не на своем месте. Я бы характеризовала лицо Джиббона одним словом, если бы только возможно было сказать такое слово. Лозен, который был очень короток с Джиббоном, привел его однажды к Dudeffand. M-me Dudeffand тогда уже была слепа и имела обыкновение ощупывать руками лица вновь представляемых ей замечательных людей. Таким образом она усвояла себе довольно верное понятие о чертах нового знакомца. К Джиббону она приложила тот же осязательный способ, и это было ужасно. Англичанин подошел к креслу и особенно добродушно

подставил ей свое удивительное лицо. M-me Dudeffand приблизила к нему свои руки и повела пальцами по этому шаровидному лицу. Она старательно искала, на чем бы остановиться, но это было невозможно. Тогда лицо слепой дамы сначала выразило изумление, потом гнев, и, наконец, она, быстро отдернув с гадливостью свои руки, вскричала: «Какая гадкая шутка!»

Глава тринадцатая

Здесь был конец и чтению, и беседе друзей, и ожидаемой встрече наступающего года, потому что когда молодая княжна, закрыв книгу, спросила: «Что такое показалось m-me Dudeffand?», то лицо княгини было столь страшно, что девушка вскрикнула, закрыла руками глаза и опрометью бросилась в другую комнату, откуда сейчас же послышался ее плач, похожий на истерику.

Брат побежал к сестре, и в ту же минуту широким шагом поспешила туда княгиня.

Присутствие посторонних людей было теперь некстати, и потому все «три друга» и я сию же минуту потихоньку убрались, а приготовленная для встречи Нового года бутылка вдовы Клико осталась завернутою в салфетку, но не раскупоренною.

Глава четырнадцатая

Чувства, с которыми мы расходились, были томительны, но не делали чести нашим сердцам, ибо, держа на лицах усиленную серьезность, мы едва могли хранить разрывавший нас смех и не в меру старательно наклонялись, отыскивая свои галоши, что было необходимо, так как прислуга тоже разбежалась, по случаю тревоги, поднятой внезапной болезнью барышни.

Сенаторы сели в свои экипажи, а дипломат прошелся со мною пешком. Он хотел освежиться и, кажется, интересовался узнать мое незначущее мнение о том, что могло представиться мысленным очам молодой княжны после прочтения известного нам места из сочинений m-me Жанлис?

Но я решительно не смел делать об этом никаких предположений.

Глава пятнадцатая

С несчастного дня, когда случилось это происшествие, я не видал более ни княгини, ни ее дочери. Я не мог решиться идти поздравить ее с Новым годом, а только послал узнать о здоровье молодой княжны, но и то с большою нерешительностью, чтоб не приняли этого в другую сторону. Визиты же «кондолеансы» мне казались совершенно неуместными. Положение было преглупое: вдруг перестать посещать знакомый дом выходило грубостью, явиться туда – тоже казалось некстати.

Может быть, я был и неправ в своих заключениях, но мне они казались верными; и я не ошибся: удар, который перенесла княгиня под Новый год от «духа» г-жи Жанлис, был очень тяжел и имел серьезные последствия.

Глава шестнадцатая

Около месяца спустя я встретился на Невском с дипломатом: он был очень приветлив, и мы разговорились.

– Давно не видал вас, – сказал он.

– Негде встречаться, – отвечал я.

– Да, мы потеряли милый дом почтенной княгини: она, бедняжка, должна была уехать.

– Как, – говорю, – уехать... Куда?

– Будто вы не знаете?

– Ничего не знаю.

– Они все уехали за границу, и я очень счастлив, что мог устроить там ее сына. Этого нельзя было не сделать после того, что тогда случилось... Какой ужас! Несчастливая, вы знаете, она в ту же ночь сожгла все свои волюмы и разбила вдребезги терракотовую ручку, от которой, впрочем, кажется, уцелел на память один пальчик, или, лучше сказать, шиш. Вообще пренеприятное происшествие, но зато оно служит прекрасным доказательством одной великой истины.

– По-моему, даже двух и трех.

Дипломат улыбнулся и, смотря мне в упор, спросил:

– Каких-с?

– Во-первых, это доказывает, что книги, о которых решаемся говорить, нужно прежде прочесть.

– А во-вторых?

– А во-вторых, – что неблагоприятно держать девушку в таком детском неведении, в каком была до этого случая молодая княжна; иначе она, конечно, гораздо раньше бы остановилась читать о Джиббоне.

– И в-третьих?

– В-третьих, что на духов так же нельзя полагаться, как и на живых людей.

– И все не то: дух подтверждает одно мое мнение, что и лучшая из змей есть все-таки змея, и притом, чем змея лучше, тем она опаснее, потому что держит свой яд в хвосте.

Если бы у нас была сатира, то это для нее превосходный сюжет.

К сожалению, не обладая никакими сатирическими способностями, я могу передать это только в простой форме рассказа.

1881

Старый гений

*Гений лет не имеет – он преодолевает все, что
останавливает обыкновенные умы.*

Ларошфуко

Глава первая

Несколько лет назад в Петербург приехала маленькая старушка-помещица, у которой было, по ее словам, «вопиющее дело». Дело это заключалось в том, что она по своей сердечной доброте и простоте, чисто из одного участия, выручила из беды одного великосветского франта, – заложив для него свой домик, составлявший все достояние старушки и ее недвижимой, увечной дочери да внучки. Дом был заложен в пятнадцати тысячах, которые франт полностью взял, с обязательством уплатить в самый короткий срок.

Добрая старушка этому верила, да и немудрено было верить, потому что должник принадлежал к одной из лучших фамилий, имел перед собою блестящую карьеру и получал хорошие доходы с имений и хорошее жалованье по службе. Денежные затруднения, из которых старушка его выручила, были последствием какого-то мимолетного увлечения или неосторожности за картами в дворянском клубе, что поправить ему было, конечно, очень легко, – «лишь бы только доехать до Петербурга».

Старушка знавала когда-то мать этого господина и, во имя старой приязни, помогла ему; он благополучно уехал в Питер, а затем, разумеется, началась довольно обыкновенная в подобных случаях игра в кошку и

мышку. Приходят сроки, старушка напоминает о себе письмами – сначала самыми мягкими, потом немножко пожестче, а наконец, и бранится – намекает, что «это нечестно», но должник ее был зверь травленный и все равно ни на какие письма не отвечал. А между тем время уходит, приближается срок закладной – и перед бедной женщиной, которая уповала дожить свой век в своем домишке, вдруг разверзается страшная перспектива холода и голода с увечной дочерью и маленькую внучкою.

Старушка в отчаянии поручила свою больную и ребенка доброй соседке, а сама собрала кое-какие крохи и полетела в Петербург «хлопотать».

Глава вторая

Хлопоты ее вначале были очень успешны: адвокат ей встретился участливый и милостивый, и в суде ей решение вышло скорое и благоприятное, но как дошло дело до исполнения – тут и пошла закорюка, да такая, что и ума к ней приложить было невозможно. Не то чтобы полиция или иные какие пристава должнику мирволили – говорят, что тот им самим давно надоел и что они все старушку очень жалеют и рады ей помочь, да не смеют... Было у него какое-то такое могущественное родство или свойство, что нельзя было его приструнить, как всякого иного грешника.

О силе и значении этих связей достоверно не знаю, да думаю, что это и не важно. Все равно – какая бабушка ему ни ворожила и все на милость преложила.

Не умею тоже вам рассказать в точности, что над ним надо было учинить, но знаю, что нужно было «вручить должнику с распискою» какую-то бумагу, и вот этого-то никто – никакие лица никакого уряда – не могли сделать. К кому старушка ни обратится, все ей в одном роде советуют:

– Ах, сударыня, и охота же вам! Бросьте лучше! Нам очень вас жаль, да что делать, когда он никому не платит. Утешьтесь тем, что не вы первая, не вы и последняя.

– Батюшки мои, – отвечает старушка, – да какое же мне в этом утешение, что не мне одной худо будет? Я, голубчики, гораздо лучше желала, чтобы и мне и всем другим хорошо было.

– Ну, – отвечают, – чтоб всем-то хорошо – вы уж это оставьте, это специалисты выдумали, и это невозможно.

А та, в простоте своей, пристаёт:

– Почему же невозможно? У него состояние во всяком случае больше, чем он всем нам должен, и пусть он должное отдаст, а ему еще много останется.

– Э, сударыня, у кого «много», тем никогда много не бывает, а им всегда недостаточно, но главное дело в том, что он платить не привык, и если очень докучать станете – может вам неприятность сделать.

– Какую неприятность?

– Ну, что вам расспрашивать: гуляйте лучше тихонько по Невскому проспекту, а то вдруг уедете.

– Ну, извините, – говорит старушка, – я вам не поверю – он замотался, но человек хороший.

– Да, – отвечают, – конечно, он барин хороший, но только дурной платить; а если кто этим занялся, тот и все дурное сделает.

– Ну, так тогда употребите меры.

– Да вот тут-то, – отвечают, – и точка с запятой: мы не можем против всех «употреблять меры». Зачем с такими знали.

– Какая же разница?

А вопрошаемые на нее только посмотрят да отвернутся или даже предложат идти высшим жаловаться.

Глава третья

Ходила она и к высшим. Там и доступ труднее, и разговору меньше, да и отвлеченнее.

Говорят: «Да где он? о нем доносят, что его нет!»

– Помилуйте, – плачет старушка, – да я его всякий день на улице вижу – он в своем доме живет.

– Это вовсе и не его дом. У него нет дома: это дом его жены.

– Ведь это все равно: муж и жена – одна сатана.

– Это вы так судите, но закон судит иначе. Жена у него тоже счета предъявляла и жаловалась суду, и он у нее не значится... Он, черт его знает, он всем нам надоел, – и зачем вы ему деньги давали! Когда он в Петербурге бывает – он прописывается где-то в меблированных комнатах, но там не живет. А если вы думаете, что мы его защищаем или нам его жалко, то вы очень ошибаетесь: ищите его, поймайте, – это ваше дело, – тогда ему «вручат».

Утешительнее этого старушка ни на каких высотах ничего не

добилась, и, по провинциальной подозрительности, стала шептать, будто все это «оттого, что сухая ложка рот дерет».

– Что ты, – говорит, – мне ни уверяй, а я вижу, что все оно от того же самого движет, что надо смазать.

Пошла она «мазать» и пришла еще более огорченная. Говорит, что «прямо с целой тысячи начала», то есть обещала тысячу рублей из взысканных денег, но ее и слушать не хотели, а когда она, благоразумно прибавляя, насулила до трех тысяч, то ее даже попросили выйти.

– Трех тысяч не берут за то только, чтобы бумажку вручить! Ведь это что же такое?.. Нет, прежде лучше было.

– Ну, тоже, – напоминаю ей, – забыли вы, верно, как тогда хорошо шло: кто больше дал, тот и прав был.

– Это, – отвечает, – твоя совершенная правда, но только между старинными чиновниками бывали отчаянные доки. Бывало, его спросишь: «Можно ли?» – а он отвечает: «В России невозможности нет», и вдруг выдумку выдумает и сделает. Вот мне и теперь один такой объявился и пристаёт ко мне, да не знаю: верить или нет? Мы с ним вместе в Мариинском пассаже у саечника Василья обедаем, потому что я ведь теперь экономлю и над каждым грошем трясусь – горячего уже давно не ем, все на дело берегу, а он, верно, тоже по бедности или питущий... но преубедительно говорит: «дайте мне пятьсот рублей – я вручу». Как ты об этом думаешь?

– Голубушка моя, – отвечаю ей, – уверяю вас, что вы меня своим горем очень трогаете, но я и своих-то дел вести не умею и решительно ничего не могу вам посоветовать. Расспросили бы вы по крайней мере о нем кого-нибудь: кто он такой и кто за него поручиться может?

– Да уж я саечника расспрашивала, только он ничего не знает. «Так, говорит, надо думать, или купец притишил торговлю, или подупавший из каких-нибудь своих благородий».

– Ну, самого его прямо спросите.

– Спрашивала – кто он такой и какой на нем чин? «Это, говорит, в нашем обществе рассказывать совсем лишнее и не принято; называйте меня Иван Иваныч, а чин на мне из четырнадцати овчин, – какую захочу, ту вверх шерстью и выворочу».

– Ну, вот видите, – это, выходит, совсем какая-то темная личность.

– Да, темная... «Чин из четырнадцати овчин» – это я понимаю, так как я сама за чиновником была. Это значит, что он четырнадцатого класса. А насчет имени и рекомендаций, прямо объявляет, что «насчет рекомендаций, говорит, я ими пренебрегаю и у меня их нет, а я гениальные мысли имею и

знаю достойных людей, которые всякий мой план готовы привести за триста рублей в исполнение».

«Почему же, батюшка, непременно триста?»

«А так уж это у нас такой прификс, с которого мы уступать не желаем и больше не берем».

«Ничего, сударь, не понимаю».

«Да и не надо. Нынешние ведь много тысяч берут, а мы сотни. Мне двести за мысль и за руководство да триста исполнительному герою, в соразмере, что он может за исполнение три месяца в тюрьме сидеть, и конец дело венчает. Кто хочет – пусть нам верит, потому что я всегда берусь за дела только за невозможные; а кто веры не имеет, с тем делать нечего», – но что до меня касается, – прибавляет старушка, – то представь ты себе мое искушение: я ему почему-то верю...

– Решительно, – говорю, – не знаю, отчего вы ему верите?

– Вообрази – предчувствие у меня, что ли, какое-то, и сны я вижу, и все это как-то так тепло убеждает довериться.

– Не подождать ли еще?

– Подожду, пока возможно.

Но скоро это сделалось невозможно.

Глава четвертая

– Приезжает ко мне старушка в состоянии самой трогательной и острой горести: во-первых, настает Рождество; во-вторых, из дому пишат, что дом на сих же днях поступает в продажу; и в-третьих, она встретила своего должника под руку с дамой и погналась за ними, и даже схватила его за рукав, и взывала к содействию публики, крича со слезами: «Боже мой, он мне должен!» Но это повело только к тому, что ее от должника с его дамою отвлекли, а привлекли к ответственности за нарушение тишины и порядка в людном месте. Ужаснее же этих трех обстоятельств было четвертое, которое заключалось в том, что должник старушки добыл себе заграничный отпуск и не позже как завтра уезжает с роскошною дамою своего сердца за границу – где наверно пробудет год или два, а может быть, и совсем не вернется, «потому что она очень богатая».

Сомнений, что все это именно так, как говорила старушка, не могло быть ни малейших. Она научилась зорко следить за каждым шагом своего неуловимого должника и знала все его тайности от подкупленных его слуг.

Завтра, стало быть, конец этой долгой и мучительной комедии: завтра

он несомненно улизнет, и надолго, а может быть, и навсегда, потому что его компаньонка, все-конечно, не желала афишировать себя за миг или краткое мгновенье.

Старушка все это во всех подробностях повергла уже обсуждению дельца, имеющего чин из четырнадцати овчин, и тот там же, сидя за ночвами у саечника в Мариинском пассаже, отвечал ей:

«Да, дело кратко, но помочь еще можно: сейчас пятьсот рублей на стол, и завтра же ваша душа на простор: а если не имеете ко мне веры – ваши пятнадцать тысяч пропали».

– Я, друг мой, – рассказывает мне старушка, – уже решила ему довериться... Что же делать: все равно ведь никто не берет, а он берет и твердо говорит: «Я вручу». Не гляди, пожалуйста, на меня так, глаза испытующи. Я нимало не сумасшедшая, – а и сама ничего не понимаю, но только имею к нему какое-то таинственное доверие в моем предчувствии, и сны такие снились, что я решила и увела его с собою.

– Куда?

– Да видишь ли, мы у саечника ведь только в одну пору, все в обед встречаемся. А тогда уже поздно будет, – так я его теперь при себе веду и не отпущу до завтраго. В мои годы, конечно, уже об этом никто ничего дурного подумать не может, а за ним надо смотреть, потому что я должна ему сейчас же все пятьсот рублей отдать, и без всякой расписки.

– И вы решаетесь?

– Конечно, решаюсь. Что же еще сделать можно? Я ему уже сто рублей задатку дала, и он теперь ждет меня в трактире, чай пьет, а я к тебе с просьбою: у меня еще двести пятьдесят рублей есть, а полтора нет. Сделай милость, ссуди мне, – я тебе возвращу. Пусть хоть дом продадут – все-таки там полтора рублей еще останется.

Знал я ее за женщину прекрасной честности, да и горе ее такое трогательное, – думаю: отдаст или не отдаст – господь с ней, от полтора рублей не разбогатеешь и не обеднеешь, а между тем у нее мучения на душе не останется, что она не все средства испробовала, чтобы «вручить» бумажку, которая могла спасти ее дело.

Взяла она просимые деньги и поплыла в трактир к своему отчаянному дельцу. А я с любопытством дождал ее на следующее утро, чтобы узнать: на какое еще новое шукарство изловчатся плутовать в Петербурге?

Только то, о чем я узнал, превзошло мои ожидания: пассажный гений не постыдил ни веры, ни предчувствий доброй старушки.

Глава пятая

На третий день праздника она влетает ко мне в дорожном платье и с саквояжем, и первое, что делает, – кладет мне на стол занятые у меня полтораста рублей, а потом показывает банковую, переводную расписку с лишком на пятнадцать тысяч...

– Глазам своим не верю! Что это значит?

– Ничего больше, как я получила все свои деньги с процентами.

– Каким образом? Неужто все это четырнадцативочинный Иван Иваныч устроил?

– Да, он. Впрочем, был еще и другой, которому он от себя триста рублей дал – потому что без помощи этого человека обойтись было невозможно.

– Это что же еще за деятель? Вы уж расскажите все, как они вам помогали!

– Помогли очень честно. Я как пришла в трактир и отдала Ивану Иванычу деньги – он сосчитал, принял и говорит: «Теперь, госпожа, поедем. Я, говорит, гений по мысли моей, но мне нужен исполнитель моего плана, потому что я сам таинственный незнакомец и своим лицом юридических действий производить не могу». Ездили по многим низким местам и по баням – все искали какого-то «сербского сражателя», но долго его не могли найти. Наконец нашли. Вышел этот сражатель из какой-то ямки, в сербском военном костюме, весь оборванный, а в зубах пипочка из газетной бумаги, и говорит: «Я все могу, что кому нужно, но прежде всего надо выпить». Все мы трое в трактире сидели и торговались, и сербский сражатель требовал «по сту рублей на месяц, за три месяца». На этом решили. Я еще ничего не понимала, но видела, что Иван Иваныч ему деньги отдал, стало быть, он верит, и мне полегче стало. А потом я Ивана Иваныча к себе взяла, чтобы в моей квартире находился, а сербского сражателя в бани ночевать отпустили с тем, чтобы утром явился. Он утром пришел и говорит: «Я готов!» А Иван Иваныч мне шепчет: «Пошлите для него за водочкой: от него нужна смелость. Много я ему пить не дам, а немножко необходимо для храбрости: настает самое главное его исполнение».

Выпил сербский сражатель, и они поехали на станцию железной дороги, с поездом которой старушкин должник и его дама должны были уехать. Старушка все еще ничего не понимала, что такое они замыслили и как исполнят, но сражатель ее успокаивал и говорил, что «все будет честно

и благородно». Стала съезжаться к поезду публика, и должник явился тут, как лист перед травой, и с ним дама; лакей берет для них билеты, а он сидит с своей дамой, чай пьет и тревожно осматривается на всех. Старушка спряталась за Ивана Ивановича и указывает на должника – говорит: «Вот – он!»

Сербский воитель увидал, сказал «хорошо», и сейчас же встал и прошел мимо франта раз, потом во второй, а потом в третий раз, прямо против него остановился и говорит:

– Чего это вы на меня так смотрите?

Тот отвечает:

– Я на вас вовсе никак не смотрю, я чай пью.

– А-а! – говорит воитель, – вы не смотрите, а чай пьете? так я же вас заставлю на меня смотреть, и вот вам от меня к чаю лимонный сок, песок и шоколаду кусок!.. – Да с этим – хлоп, хлоп, хлоп! его три раза по лицу и ударил.

Дама бросилась в сторону, господин тоже хотел убежать и говорил, что он теперь не в претензии; но полиция подскочила и вмешалась: «Этого, говорит, нельзя: это в публичном месте», – и сербского воителя арестовали, и побитого тоже. Тот в ужасном был волнении – не знает: не то за своей дамой броситься, не то полиции отвечать. А между тем уже и протокол готов, и поезд отходит... Дама уехала, а он остался... и как только объявил свое звание, имя и фамилию, полицейский говорит: «Так вот у меня кстати для вас и бумажка в портфеле есть для вручения». Тот – делать нечего – при свидетелях поданную ему бумагу принял и, чтобы освободить себя от обязательств о невыезде, немедленно же сполна и с процентами уплатил чеком весь долг свой старушке.

Так были побеждены неодолимые затруднения, правда восторжествовала, и в честном, но бедном доме водворился покой, и праздник стал тоже светел и весел.

Человек, который нашелся – как уладить столь трудное дело, кажется, вполне имеет право считать себя в самом деле гением.

1884

Путешествие с нигилистом

Кто скачет, кто мчится в таинственной мгле?

Гете

Глава первая

Случилось провести мне рождественскую ночь в вагоне и не без приключений.

Дело было на одной из маленьких железнодорожных ветвей, так сказать, совсем в стороне от «большого света». Линия была еще не совсем окончена, поезда ходили неаккуратно, и публику помещали как попало. Какой класс ни возьми, все выходит одно и то же – все являются вместе.

Буфетов еще нет; многие, чувствуя холод, греются из дорожных фляжек.

Согревающие напитки развивают общение и разговоры. Больше всего толкуют о дороге и судят о ней снисходительно, что бывает у нас не часто.

– Да, плохо нас везут, – сказал какой-то военный, – а все спасибо им, – лучше, чем на конях. На конях в сутки бы не доехали, а тут завтра к утру будем и завтра назад можно. Должностным людям то удобство, что завтра с родными повидаешься, а послезавтра и опять к службе.

– Вот и я то же самое, – поддержал, встав на ноги и держась за спинку скамьи, большой сухощавый духовный. – Вот у них в городе дьякон гласом подупавши, многолетие вроде как петух выводит. Пригласили меня за десятку позднюю обедню сделать. Многолетие проворчу и опять в ночь в свое село.

Одно находили на лошадях лучше, что можно ехать в своей компании и где угодно остановиться.

– Ну, да ведь здесь компания-то не навек, а на час, – молвил купец.

– Однако иной если и на час навяжется, то можно всю жизнь помнить, – отозвался дьякон.

– Чего же это так?

– А если, например, нигилист, да в полном своем облачении, со всеми составами и револьвер-барбосом.

– Это сужект полицейский.

– Всякого это касается, потому, вы знаете ли, что одного даже трясения... паф – и готово.

– Оставьте, пожалуйста... К чему вы это к ночи завели. У нас этого звания еще нет.

– Может с поля взяться.

– Лучше спать давайте.

Все послушались купца и заснули, и не могу уже вам сказать, сколько мы проспали, как вдруг нас так сильно встряхнуло, что все мы проснулись,

а в вагоне с нами уже был нигилист.

Глава вторая

Откуда он взялся? Никто не заметил, где этот неприятный гость мог взойти, но не было ни малейшего сомнения, что это настоящий, чистокровный нигилист, и потому сон у всех пропал сразу. Рассмотреть его еще было невозможно, потому что он сидел в потемочках в углу у окна, но и смотреть не надо – это так уже чувствовалось.

Впрочем, дьякон попробовал произвести обозрение личности: он прошелся к выходной двери вагона, мимо самого нигилиста, и, возвратясь, объявил потихоньку, что весьма ясно приметил «рукава с фибрами», за которыми непременно спрятан револьвер-барбос или бинамид.

Дьякон оказывался человеком очень живым и, для своего сельского звания, весьма просвещенным и любознательным, а к тому же и находчивым. Он немедленно стал подбивать военного, чтобы тот вынул папироску и пошел к нигилисту попросить огня от его сигары.

– Вы, – говорит, – не цивилизные, а вы со шпорою – вы можете на него так топнуть, что он как билиардный шар выкатится. Военному все смелее.

К поездовому начальству напрасно было обращаться, потому что оно нас заперло на ключ и само отсутствовало.

Военный согласился: он встал, постоял у одного окна, потом у другого и, наконец, подошел к нигилисту и попросил закурить от его сигары.

Мы зорко наблюдали за этим маневром и видели, как нигилист схитрил: он не дал сигары, а зажег спичку и молча подал ее офицеру.

Все это холодно, кратко, отчетисто, но безучастливо и в совершенном молчании. Ткнул в руки зажженную спичку и отворотился.

Но, однако, для нашего напряженного внимания было довольно и одного этого светового момента, пока сверкнула спичка. Мы разглядели, что это человек совершенно сомнительный, даже неопределенного возраста. Точно донской рыбец, которого не отличишь – нынешний он или прошлогодний. Но подозрительного много: грефовские круглые очки, неблагонамеренная фуражка, не православным блином, а с еретическим над затыльником, и на плечах типический плед, составляющий в нигилистическом сословии своего рода «мундирную пару», но что всего более нам не понравилось, – это его лицо. Не патлатое и воеводственное, как бывало у ортодоксальных нигилистов шестидесятых годов, а нынешнее – щуковатое, так сказать, фальсифицированное и представляющее как бы

некую невозможную помесь нигилистки с жандармом. В общем, это являет собою подобие геральдического козерога.

Я не говорю геральдического льва, а именно геральдического козерога. Помните, как их обыкновенно изображают по бокам аристократических гербов: посредине пустой шлем и забрало, а на него щерятся лев и козерог. У последнего вся фигура беспокойная и острая, как будто «счастья он не ищет и не от счастья бежит». Вдобавок и колера, в которые был окрашен наш неприятный сопутник, не обещали ничего доброго: волосенки цвета гаванна, лицо зеленоватое, а глаза серые и бегают как метроном, поставленный на скорый темп «allegro udiratto». (Такого темпа в музыке, разумеется, нет, но он есть в нигилистическом жаргоне.)

Черт его знает: не то его кто-то догоняет, или он за кем-то гонится, – никак не разберешь.

Глава третья

Военный, возвратясь на свое место, сказал, что, на его взгляд, нигилист немножко чисто одет и что у него на руках есть перчатки, а перед ним на противоположной лавочке стоит бельевая корзинка.

Дьякон, впрочем, сейчас же доказал, что все это ничего не значит, и привел к тому несколько любопытных историй, которые он знал от своего брата, служащего где-то при таможне.

– Через них, – говорил он, – раз проезжал даже не в простых перчатках, а филь-де-пом, а как стали его обыскивать – обозначился шульер. Думали, смирный – посадили его в подводную тюрьму, а он из-под воды ушел.

Все заинтересовались: как шульер ушел из-под воды!

– А очень просто, – разъяснил дьякон, – он начал притворяться, что его занапрасно посадили, и начал просить свечку. «Мне, говорит, в темноте очень скучно, прошу дозволить свечечку, я хочу в поверхностную комиссию графу Лорис-Мелихову объявление написать, кто я таков и в каких упованиях прошу прощады и хорошее место». Но комендант был старый, мушкетного пороху, – знал все их хитрости и не позволил. «Кто к нам, говорит, залучен, тому нет прощады», и так все его впотьмах и томил; а как этот помер, а нового назначили, шульер видит, что этот из неопытных, – навзрыд перед ним зарыдал и начал просить, чтобы ему хоть самый маленький сальный огарочек дали и какую-нибудь божественную книгу: «для того, говорит, что я хочу благочестивые мысли читать и в

раскаяние прийти». Новый комендант и дал ему свечной огарок и духовный журнал «Православное воображение», а тот и ушел.

– Как же он ушел?

– С огарком и ушел.

Военный посмотрел на дьякона и сказал:

– Вы какой-то вздор рассказываете!

– Нимало не вздор, а следствие было.

– Да что же ему огарок значил?

– А черт его знает, что значил! Только после стал везде по каморке смотреть – ни дыры никакой, ни щелочки – ничего нет, и огарка нет, а из листов из «Православного воображения» остались одни корневильские корешки.

– Ну, вы совсем черт знает что говорите! – нетерпеливо молвил военный.

– Ничего не вздор, а я вам говорю – и следствие было, и узнали потом, кто он такой, да уже поздно.

– А кто же он такой был?

– Нахалкиканец из-за Ташкенту. Генерал Черняев его верхом на битюке послал, чтобы он болгарам от Кокорева пятьсот рублей отвез, а он по театрам да по балам все деньги в карты проиграл и убежал. Свечным салом смазался, а с светил ем ушел.

Военный только рукою махнул и отвернулся.

Но другим пассажирам словоохотливый дьякон нимало не наскучил: они любовно слушали, как он от коварного нахалкиканца с корневильскими корешками перешел к настоящему нашему собственному положению с подозрительным нигилистом. Дьякон говорил:

– Я на его чистоту не лъщусь, а как вот придет сейчас первая станция – здесь одна сторожиха из керосиновой бутылочки водку продает, – я поднесу кондуктору бутершaft, и мы его встряхнем и что в бельевой корзине есть, посмотрим... какие там у него составы...

– Только надо осторожнее.

– Будьте покойны – мы с молитвою. Помилуй мя, Боже...

Тут нас вдруг и толкнуло, и завизжало. Многие вздрогнули и перекрестились.

– Вот оно и есть, – воскликнул дьякон, – наехали на станцию!

Он вышел и побежал, а на его место пришел кондуктор.

Кондуктор стал прямо перед нигилистом и ласково молвил:

– Не желаете ли, господин, корзиночку в багаж сдать?

Нигилист на него посмотрел и не ответил.

Кондуктор повторил предложение.

Тогда мы в первый раз услышали звук голоса нашего ненавистного попутчика. Он дерзко отвечал:

– Не желаю.

Кондуктор ему представил резоны, что «таких больших вещей не дозволено с собой в вагоны вносить».

Он процедил сквозь зубы:

– И прекрасно, что не дозволено.

– Так желаете, я корзиночку сдам в багаж?

– Не желаю.

– Как же, сами правильно рассуждаете, что это не дозволяется, и сами не желаете?

– Не желаю.

Взошедший на эту историю дьякон не утерпел и воскликнул: «Разве так можно!» – но, услышав, что кондуктор пригрозил «обером» и протоколом, успокоился и согласился ждать следующей станции.

– Там город, – сказал он нам, – там его и скрутят.

И что в самом деле за упрямый человек: ничего от него не добьются, кроме одного – «не желаю».

Неужто тут и взаправду замешаны корневильские корешки?

Стало очень интересно, и мы ждали следующей станции с нетерпением.

Дьякон объявил, что тут у него жандарм даже кум и человек старого мушкетного порошу.

– Он, – говорит, – ему такую завинтушку под ребро ткнет, что из него все это рояльное воспитание выскочит.

Обер явился еще на ходу поезда и настойчиво сказал:

– Как приедем на станцию, извольте эту корзину взять.

А тот опять тем же тоном отвечает:

– Не желаю.

– Да вы прочитайте правила!

– Не желаю.

– Так пожалуйста со мною объясниться к начальнику станции. Сейчас остановка.

Глава пятая

Приехали.

Станционное здание побольше других и поотделаннее: видны огни, самовар, на платформе и за стеклянными дверями буфет и жандармы. Словом, все, что нужно. И вообразите себе: наш нигилист, который оказывал столько грубого сопротивления во всю дорогу, вдруг обнаружил намерение сделать движение, известное у них под именем *allegro udiratto*. Он взял в руки свой маленький саквояжик и направился к двери, но дьякон заметил это и очень ловким манером загородил ему выход. В эту же самую минуту появился обер-кондуктор, начальник станции и жандарм.

– Это ваша корзина? – спросил начальник.

– Нет, – отвечал нигилист.

– Как нет?!

– Нет.

– Все равно, пожалуйста.

– Не уйдешь, брат, не уйдешь, – говорил дьякон. Нигилиста и всех нас, в качестве свидетелей, попросили в комнату начальника станции и сюда же внесли корзину.

– Какие здесь вещи? – спросил строго начальник.

– Не знаю, – отвечал нигилист.

Но с ним больше не церемонились: корзинку мгновенно раскрыли и увидели новенькое голубое дамское платье, а в то же самое мгновение в контору с отчаянным воплем ворвался еврей и закричал, что это его корзинка и что платье, которое в ней, он везет одной знатной даме; а что корзину действительно поставил он, а не кто другой, в том он сослался на нигилиста.

Тот подтвердил, что они взошли вместе и еврей действительно внес корзинку и поставил ее на лавочку, а сам лег под сиденье.

– А билет? – спросили у еврея.

– Ну, что билет... – отвечал он. – Я не знал, где брать билет...

Еврея велено придержать, а от нигилиста потребовали удостоверения его личности. Он молча подал листок, взглянув на который начальник станции резко переменил тон и попросил его в кабинет, добавив при этом:

– Ваше превосходительство здесь ожидают.

А когда тот скрылся за дверь, начальник станции приложил ладони рук рупором ко рту и отчетливо объявил нам:

– Это прокурор судебной палаты!

Все ощутили полное удовольствие и перенесли его в молчании; только один военный вскрикнул:

– А все это наделал этот болтун дьякон! Ну-ка – где он... куда он делся?

Но все напрасно оглядывались: «куда он делся», – дьякона уже не было; он исчез, как нахалкиканец, даже и без свечки. Она, впрочем, была и не нужна, потому что на небе уже светало и в городе звонили к рождественской заутрене.

1882

Маленькая ошибка Секрет одной московской фамилии

Глава первая

Вечерком, на Святках, сидя в одной благоразумной компании, было говорено о вере и о неверии. Речь шла, впрочем, не в смысле высших вопросов деизма или материализма, а в смысле веры в людей, одаренных особыми силами предвидения и прорицания, а пожалуй, даже и своего рода чудотворства. И случился тут же некто, степенный московский человек, который сказал следующее:

– Не легко это, господа, судить о том: кто живет с верою, а который не верует, ибо разные тому в жизни бывают прилоги; случается, что разум-то наш в таковых случаях впадает в ошибки.

И после такого вступления он рассказал нам любопытную повесть, которую я постараюсь передать его же словами:

Дядюшка и тетушка мои одинаково прилежали покойному чудотворцу Ивану Яковлевичу. Особенно тетушка, – никакого дела не начинала, у него не спросившись. Сначала, бывало, сходит к нему в сумасшедший дом и посоветуется, а потом попросит его, чтобы за ее дело молился. Дядюшка был себе на уме и на Ивана Яковлевича меньше полагался, однако тоже доверял иногда и носить ему дары и жертвы не препятствовал. Люди они были не богатые, но очень достаточные, – торговали чаем и сахаром из магазина в своем доме. Сыновей у них не было, а были три дочери: Капитолина Никитишна, Катерина Никитишна и Ольга Никитишна. Все они были собою недурны и хорошо знали разные работы и хозяйство. Капитолина Никитишна была замужем, только не за купцом, а за живописцем, – однако очень хороший был человек и довольно зарабатывал

– все брал подряды выгодно церкви расписывать. Одно в нем всему родству неприятно было, что работал божественное, а знал какие-то вольнодумства из Курганова «Письмовника». Любил говорить про Хаос, про Овидия, про Промифея и охотник был сравнивать баснословия с бытописанием. Если бы не это, все бы было прекрасно. А второе – то, что у них детей не было, и дядюшку с теткой это очень огорчало. Они еще только первую дочь выдали замуж, и вдруг она три года была бездетна. За это других сестер женихи обегать стали.

Тетушка спрашивала Ивана Яковлевича, через что ее дочь не родит: оба, говорит, молоды и красивы, а детей нет?

Иван Яковлевич забормотал:

– Есть убо небо небесе; есть небо небесе.

Его подсказчицы перевели тетке, что батюшка велит, говорят, вашему зятю, чтобы он Богу молился, а он, должно быть, у вас малoverующий.

Тетушка так и ахнула: все, говорит, ему явлено! И стала она приставать к живописцу, чтобы он поисповедался; а тому все тринь-трава! Ко всему легко относился... даже по постам скоромное ел... и притом, слышат они стороною, будто он и червей и устриц вкушает. А жили они все в одном доме и часто сокрушались, что есть в ихнем купеческом родстве такой человек без веры.

Глава вторая

Вот и пошла тетка к Ивану Яковлевичу, чтобы попросить его разом помолиться о еже рабе Капитолине отверзти ложесна, а раба Лария (так живописца звали) просветити верою.

Просят об этом вместе и дядя и тетка.

Иван Яковлевич залепетал что-то такое, чего и понять нельзя, а его послушные женки, которые возле него присидели, разъясняют:

– Он, – говорят, – ныне невнятен, а вы скажите, о чем просите, – мы ему завтра на записочке подадим.

Тетушка стала сказывать, а те записывают: «Рабе Капитолине отверзть ложесна, а рабу Ларию усугубити веру».

Оставили старики эту просительную записочку и пошли домой веселыми ногами.

Дома они никому ничего не сказали, кроме одной Капочки, и то с тем, чтобы она мужу своему, неверному живописцу, этого не передавала, а только жила бы с ним как можно ласковее и согласнее и смотрела за ним:

не будет ли он приближаться к вере в Ивана Яковлевича. А он был ужасный чертыханщик, и все с присловьями, точно скоморох с Пресни. Все ему шутки да забавки. Придет в сумерки к тестю – «пойдем, – говорит, – часослов в пятьдесят два листа читать», то есть, значит, в карты играть... Или садится, говорит: «С уговором, чтобы играть до первого обморока».

Тетушка, бывало, этих слов слышать не может. Дядя ему и сказал: «Не огорчай так ее: она тебя любит и за тебя обещание сделала». А он рассмеялся и говорит тете:

– Зачем вы неведомые обещания даете? Или вы не знаете, что через такое обещание глава Ивана Предтечи была отрублена. Смотрите, может, у нас в доме какое-нибудь неожиданное несчастье быть.

Тещу это еще больше испугало, и она всякий день, в тревоге, в сумасшедший дом бегала. Там ее успокоят, – говорят, что дело идет хорошо: батюшка всякий день записку читает, и что теперь о чем писано, то скоро сбудется.

Вдруг и сбилось, да такое, что и сказать неохотно.

Глава третья

Приходит к тетушке средняя ее дочь, девица Катечка, и прямо ей в ноги, и рыдает, и горько плачет.

Тетушка говорит:

– Что тебе – кто обидел?

А та сквозь рыдания отвечает:

– Милая маменька, и сама я не знаю, что это такое и отчего... в первый и в последний раз сделалось... Только вы от тятеньки мой грех скройте.

Тетушка на нее посмотрела да прямо пальцем в живот ткнула и говорит:

– Это место?

Катечка отвечает:

– Да, маменька... как вы угадали... сама не знаю отчего...

Тетушка только ахнула да руками всплеснула.

– Дитя мое, – говорит, – и не дознавайся: это, может быть, я виновата в ошибке, я сейчас узнать съезжу, – и сейчас на извозчике полетела к Ивану Яковлевичу.

– Покажите, – говорит, – мне записку нашей просьбы, о чем батюшка для нас просит рабе божьей плод чрева; как она писана?

Присяжники поискали на окне и подали.

Тетушка взглянула и мало ума не решилась. Что вы думаете? Действительно ведь все вышло по ошибочному молению, потому что на место рабы божьей Капитолины, которая замужем, там писана раба Катерина, которая еще незамужняя, девица.

Женки говорят:

– Поди же, какой грех! Имена очень сходственны... но ничего, это можно поправить.

А тетушка подумала: «Нет, врете, теперь вам уж не поправить: Кате уж вымолено», – и разорвала бумажку на мелкие частички.

Глава четвертая

Главное дело, боялись: как дядюшке сказать? Он был такой человек, что если расходится, то его мудрено унять. К тому же он Катю меньше всех любил, а любимая дочь у него была самая младшая, Оленька, – ей он всех больше и обещал.

Думала, думала тетушка и видит, что одним умом ей этой беды не обдумать, – зовет зятя-живописца на совет и все ему во всех подробностях открыла, а потом просит:

– Ты, – говорит, – хотя неверующий, однако могут тебе быть какие-нибудь чувства, – пожалуйста, пожалей ты Катю, пособи мне скрыть ее девичий грех.

А живописец вдруг лоб нахмурил и строго говорит:

– Извините, пожалуйста, вы хотя моей жене мать, однако, во-первых, я этого терпеть не люблю, чтобы меня безверным считали, а во-вторых, я не понимаю – какой же тут причитаете Кате грех, если об ней так Иван Яковлевич столько времени просил? Я к Катечке все братские чувства имею и за нее заступлюсь, потому что она тут ни в чем не виновата.

Тетушка пальцы кусает и плачет, а сама говорит:

– Ну... уж как ни в чем?

– Разумеется, ни в чем. Это ваш чудотворец все напутал, с него и взыскивайте.

– Какое же с него взыскание! Он праведник.

– Ну, а если праведник, так и молчите. Пришлите мне с Катюю три бутылки шампанского вина.

Тетушка переспрашивает:

– Что такое?

А он опять отвечает:

– Три бутылки шампанского, – одну ко мне сейчас в мои комнаты, а две после, куда прикажу, но только чтобы дома готовы были и во льду стояли заверчены.

Тетушка посмотрела на него и только головой покивала.

– Бог с тобою, – говорит, – я думала, что ты только без одной веры, а ты святые лики изображаешь, а сам без всех чувств оказываешься... Оттого я твоим иконам и не могу поклоняться.

А он отвечает:

– Нет, вы насчет веры оставьте: это вы, кажется, сомневаетесь и все по естеству думаете, будто тут собственная Катина причина есть, а я крепко верю, что во всем этом один Иван Яковлевич причинен; а чувства мои вы увидите, когда мне с Катей в мою мастерскую шампанское пришлете.

Глава пятая

Тетушка думала-подумала, да и послала живописцу вино с самой Катечкой. Та взошла с подносом, вся в слезах, а он вскочил, схватил ее за обе ручки и сам заплакал.

– Скорблю, – говорит, – голубочка моя, что с тобою случилось, однако дремать с этим некогда – подавай мне скорее наружу все твои тайности.

Девушка ему открылась, как сшалила, а он взял да ее у себя в мастерской на ключ и запер.

Тетушка встречает зятя с заплаканными глазами и молчит. А он и ее обнял, поцеловал и говорит:

– Ну, не бойтесь, не плачьте. Авось бог поможет.

– Скажи же мне, – шепчет тетушка, – кто всему виноват?

А живописец ей ласково пальцем погрозил и говорит:

– Вот это уж нехорошо: сами вы меня постоянно неверием попрекали, а теперь, когда вере вашей дано испытание, я вижу, что вы сами нимало не верите. Неужто вам не ясно, что виноватых нет, а просто чудотворец маленькую ошибку сделал.

– А где же моя бедная Катечка?

– Я ее страшным художническим заклятьем заклял, она, как клад от аминя, и рассыпалась.

А сам ключ теще показывает.

Тетушка догадалась, что он девушку от первого гнева укрыл, и обняла его.

Шепчет:

– Прости меня, – в тебе нежные чувства есть.

Глава шестая

Пришел дядя, по обычаю чаю напился и говорит:

– Ну, давай читать часослов в пятьдесят два листа?

Сели. А домашние все двери вокруг них затворили и на цыпочках ходят. Тетушка же то отойдет от дверей, то опять подойдет, – все подслушивает и все крестится. Наконец, как там что-то звякнет... Она поотбежала и спряталась.

– Объявил, – говорит, – объявил тайну! Теперь начнется адское представление.

И точно: враз дверь растворилась, и дядя кричит:

– Шубу мне и большую палку!

Живописец его назад за руку и говорит:

– Что ты? Куда это?

Дядя говорит:

– Я в сумасшедший дом поеду чудотворца бить!

Тетушка за другими дверями застонала:

– Бегите, – говорит, – скорее в сумасшедший дом, чтобы батюшку Ивана Яковлевича спрятали!

И действительно, дядя бы его непременно избил, но живописец страхом веры своей и этого удержал.

Глава седьмая

Стал зять вспоминать тещу, что у него есть еще одна дочь.

– Ничего, – говорит, – той своя доля, а я Корейшу бить хочу. После пусть меня судят.

– Да я тебя, – говорит, – не судом стращаю, а ты посуди: какой вред Иван Яковлевич Ольге может сделать. Ведь это ужас, чем ты рискуешь!

Дядя остановился и задумался:

– Какой же, – говорит, – вред он может сделать?

– А как раз такой самый, какой вред он сделал Катечке.

Дядя поглядел и отвечает:

– Полно вздор городить! Разве он это может?

А живописец отвечает:

– Ну, ежели ты, как я вижу, неверующий, то делай, как знаешь, только

потом не тужи и бедных девушек не виновать.

Дядя и остановился. А зять его втащил назад в комнату и начал уговаривать.

– Лучше, – говорит, – по-моему, чудотворца в сторону, а взять это дело и домашними средствами поправить.

Старик согласился, только сам не знал, как именно поправить, а зять-живописец и тут помог – говорит:

– Хорошие мысли надо искать не во гневе, а в радости.

– Какое, – отвечает, – теперь, братец, веселие при таком случае?

– А такое, что у меня есть два пузырька шипучки, и пока ты их со мною не выпьешь, я тебе ни одного слова не скажу. Согласись со мною. Ты знаешь, как я характерен.

Старик на него посмотрел и говорит:

– Подводи, подводи! Что такое дальше будет?

А впрочем, согласился.

Глава восьмая

Живописец живо скомандовал и назад пришел, а за ним идет его мастер, молодой художник, с подносом, и несет две бутылки с бокалами.

Как вошли, так живописец за собою двери запер и ключ в карман положил. Дядя посмотрел и все понял, а зять художнику кивнул, – тот взял и стал в смирную просьбу.

– Виноват, – простите и благословите.

Дядюшка зять спрашивает:

– Бить его можно?

Зять говорит:

– Можно, да не надобно.

– Ну, так пусть он передо мною по крайности на колена станет.

Зять тому шепнул:

– Ну, стань за любимую девушку на колена перед батькою.

Тот стал.

Старик и заплакал.

– Очень, – говорит, – любишь ее?

– Люблю.

– Ну, целуй меня.

Так Ивана Яковлевича маленькую ошибку и прикрыли. и оставалось все это в благополучной тайности, и к младшей сестре женихи пошли,

потому что видят – девицы надежные.

Пугало

У страха большие глаза.

Поговорка

Глава первая

Мое детство прошло в Орле. Мы жили в доме Немчинова, где-то недалеко от «маленького собора». Теперь я не могу разобрать, где именно стоял этот высокий деревянный дом, но помню, что из его сада был просторный вид за широкий и глубокий овраг с обрывистыми краями, прорезанными пластами красной глины. За оврагом расстился большой выгон, на котором стояли казенные магазины, а возле них летом всегда учились солдаты. Я всякий день смотрел, как их учили и как их били. Тогда это было в употреблении, но я никак не мог к этому привыкнуть и всегда о них плакал. Чтобы это не часто повторялось, моя няня, престарелая московская солдатка – Марина Борисовна, уводила меня гулять в городской сад. Здесь мы садились над мелководной Окой и глядели, как в ней купались и играли маленькие дети, свободе которых я тогда очень завидовал.

Главная выгода их привольного положения в моих глазах состояла в том, что они не имели на себе ни обуви, ни белья, так как рубашонки их были сняты и вороты их рукавами связаны. В таком приспособлении рубашки получали вид небольших мешков, и ребятишки, ставя их против течения, налавливали туда крохотную серебристую рыбешку. Она так мала, что ее нельзя чистить, и это признавалось достаточным основанием к тому, чтобы ее варить и есть нечищеною.

Я никогда не имел отваги узнать ее вкус, но ловля ее, производившаяся крохотными рыбаками, казалась мне верхом счастья, каким мальчика моих тогдашних лет могла утешить свобода.

Няня, впрочем, знала хорошие доводы, что мне такая свобода была бы совершенно неприлична. Доводы эти заключались в том, что я – дитя благородных родителей и отца моего все в городе знают.

– Другое дело, – говорила няня, – если бы это было в деревне. Там, при простых, серых мужиках, и мне, пожалуй, можно было бы позволить

наслаждаться кой-чем в том же свободном роде.

Кажется, от этих именно сдерживающих рассуждений меня стало сильно и томительно манить в деревню, и восторг мой не знал пределов, когда родители мои купили небольшое именье в Кромском уезде. Тем же летом мы переехали из большого городского дома в очень уютный, но маленький деревенский дом с балконом, под соломенной крышей. Лес в Кромском уезде и тогда был дорог и редок. Это местность степная и хлебородная, и притом она хорошо орошена маленькими, но чистыми речками.

Глава вторая

В деревне у меня сразу же завелись обширные и любопытные знакомства с крестьянами. Пока отец и мать были усиленно заняты устройством своего хозяйства, я не терял времени, чтобы самым тесным образом сблизиться с взрослыми парнями и с ребятами, которые пасли лошадей «на кулигах». Сильнее всех моими привязанностями овладел, впрочем, старый мельник, дедушка Илья – совершенно седой старик с преобладающими черными усами. Он более всех других был доступен для разговоров, потому что на работы не отлучался, а или похаживал с навозными вилами по плотине, или сидел над дрожащею скрынью и задумчиво слушал, ровно ли стучат мельничные колеса или не сосет ли где-нибудь под скрынью вода. Когда ему надокучало ничего не делать, – он заготавливал на всякий случай кленовые кулачья или цевки для шестерни. Но во всех описанных положениях он легко отклонялся от дела и вступал охотно в беседы, которые он вел отрывками, без всякой связи, но любил систему намеков и при этом подсмеивался не то сам над собою, не то над слушателями.

По должности мельника дедушка Илья имел довольно близкое соотношение к водяному, который заведовал нашими прудами, верхним и нижним, и двумя болотами. Свою главную штаб-квартиру этот демон имел под холостою скрынью на нашей мельнице.

Дедушка Илья об нем все знал и говорил:

– Он меня любит. Он, если когда и сердит домой придет за какие-нибудь беспорядки, – он меня не обижает. Ляжь тут другой на моем месте, на мешках, – он так и сорвет с мешка и выбросит, а меня ни в жизнь не тронет.

Все младшие люди подтверждали мне, что между дедушкою Ильею и

«водяным дедкой» действительно существовали описанные отношения, но только они держались вовсе не на том, что водяной Илью любил, а на том, что дедушка Илья, как настоящий, заправский мельник, знал настоящее, заправское мельницкое слово, которому водяной и все его чертенята повиновались так же беспрекословно, как ужи и жабы, жившие под скрынями и на плотине.

С ребятами я ловил пискарей и гольцов, которых было великое множество в нашей узенькой, но чистой речке Гостомле; но, по серьезности моего характера, более держался общества дедушки Ильи, опытный ум которого открывал мне полный таинственной прелести мир, который был совсем мне, городскому мальчику, неизвестен. От Ильи я узнал и про домового, который спал на катке, и про водяного, который имел прекрасное и важное помещение под колесами, и про кикимору, которая была так застенчива и непостоянна, что пряталась от всякого нескромного взгляда в разных пыльных заматах – то в риге, то в овине, то на толчее, где осенью толкли замашки. Меньше всех дедушка знал про лешего, потому что этот жил где-то далеко у Селиванова двора и только иногда заходил к нам в густой ракитник, чтобы сделать себе новую ракитовую дудку и поиграть на ней в тени у сажалок. Впрочем, дедушка Илья во всю свою богатую приключениями жизнь видел лешего лицом к лицу всего только один раз и то на Николин день, когда у нас бывал храмовой праздник. Леший подошел к Илье, прикинувшись совсем смирным мужичком, и попросил понюхать табачку. А когда дедушка сказал ему: «черт с тобой – понюхай!» и при этом открыл тавлинку, – то леший не мог более соблюсти хорошего поведения и сошкольничал: он так поддал ладонью под табакерку, что запорошил доброму мельнику все глаза.

Все эти живые и занимательные истории имели тогда для меня полную вероятность, и их густое, образное содержание до такой степени переполняло мою фантазию, что я сам был чуть ли не духовидцем. По крайней мере, когда я однажды заглянул с большим риском в толчийный амбар, то глаз мой обнаружил такую остроту и тонкость, что видел сидевшую там в пыли кикимору. Она была неумытая, в пыльном повойнике и с золотушными глазами. А когда я, испуганный этим видением, бросился без памяти бежать оттуда, то другое мое чувство – слух – обнаружило присутствие лешего. Я не могу поручиться, где именно он сидел, – вероятно, на какой-нибудь высокой раките, но только, когда я бежал от кикиморы, леший во всю мочь засвистал на своей зеленой дудке и так сильно прихватил меня к земле за ногу, что у меня оторвался каблук от ботинки.

Едва переводя дух, я сообщил все это домашним и за свое чистосердечие был посажен в комнате читать священную историю, пока посланный босой мальчик сходил в соседнее село к солдату, который мог исправить повреждение, сделанное лешим в моей ботинке. Но и самое чтение священной истории не защищало уже меня от веры в те сверхъестественные существа, с которыми я, можно сказать, сживался при посредстве дедушки Ильи. Я хорошо знал и любил священную историю, – я и до сих пор готов ее перечитывать, а все-таки ребячий милый мир тех сказочных существ, о которых наговорил мне дедушка Илья, казался мне необходимым. Лесные родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, приставленные к ним народной фантазией.

В числе неприятных последствий от лешевой дудки было еще то, что дедушка Илья за прочитанные им для меня курсы демонологии получил от матушки выговор и некоторое время меня дичился и будто не хотел продолжать моего образования. Он даже притворялся, будто гонит меня от себя прочь.

– Пошел от меня прочь, иди к своей няньке, – говорил он, заворачивая меня к себе спиной и поддавая широкой мозолистой ладонью под сиденье.

Но я уже мог гордиться своим возрастом и считать подобное обращение со мною несовместным. Мне было восемь лет, и к няньке своей мне тогда идти было незачем. Я это и дал почувствовать Илье, принеся ему полоскательную чашку вишен из-под слитой наливки.

Дедушка Илья любил эти фрукты – принял их, смягчился, погладил меня своей мозольной рукой по голове, и между нами снова восстановились самые короткие и самые добрые отношения.

– Ты вот что, – говорил мне дедушка Илья, – ты мужика завсегда больше всех почитай и люби слушать, но того, что от мужика услышишь, не всем сказывай. А не то – прогоню.

С тех пор я стал таить все, что слышал от мельника, и зато узнал так много интересного, что начал бояться не только ночью, когда все домовые, лешие и кикиморы становятся очень дерзновенны и наглы, но даже стал бояться и днем. Такой страх овладел мною потому, что дом наш и весь наш край, оказалось, находился во власти одного престрашного разбойника и кровожадного чародея, который назывался Селиван. Он жил от нас всего в шести верстах, «на разновилье», то есть там, где большой почтовый тракт разветвлялся на два: одна, новая дорога шла на Киев, а другая, старая, с дуплистыми раkitами «екатерининского насаждения», вела на Фатеж. Эта теперь уже брошена и лежит взапусте.

В версте за этим разновильем был хороший дубовый лес, а при лесе –

самый дрянной, совершенно раскрытый и полуобвалившийся постоянный двор, в котором, говорили, будто никто никогда не останавливался. И этому можно было легко верить, потому, что двор не представлял никаких удобств для постоя, и потому, что отсюда было слишком близко до города Кром, где и в те полудикие времена можно было надеяться найти теплую горницу, самовар и калачи второй руки. Вот в этом-то ужасном дворе, где никто никогда не останавливался, и жил «пустой дворник» Селиван, ужасный человек, с которым никто не рад был встретиться.

Глава третья

Повесть «пустого дворника» Селивана, по словам дедушки Ильи, была следующая. Селиван был кромский мещанин; родители его рано умерли, а он жил в мальчиках у калачника и продавал калачи у кабака за Орловской заставой. Мальчик он был хороший, добрый и послушный, но только калачнику всегда говорили, что с Селиваном требовалась осторожность, потому что у него на лице была красная метинка, как огонь, – а это никогда даром не ставится. Были такие люди, которые знали на это и особенную поговорку: «Бог плута метит». Хозяин-калачник очень хвалил Селивана за его усердие и верность, но все другие люди, по искреннему своему доброжелательству, говорили, что истинное благоразумие все-таки заставляет его остерегаться и много ему не доверять, – потому что «бог плута метит». Если метка на его лице положена, то это именно для того, чтобы все слишком доверчивые люди его остерегались. Калачник не хотел отстать от людей умных, но Селиван был очень хороший работник. Калачи он продавал исправно и всякий вечер аккуратно высыпал хозяину из большого кожаного кошелька все пятаки и гривны, сколько выручил от проезжавших мужичков. Однако метка лежала на нем не даром, а до случая (это уже всегда так бывает). Пришел в Кромы из Орла «отслужившийся палач», по имени Борька, и сказано было ему: «Ты был палач, Борька, а теперь тебе у нас жить будет горько», – и все, насколько кто мог, старались, чтобы такие слова не остались для отставного палача вотще. А когда палач Борька пришел из Орла в Кромы, с ним уже была дочь, девочка лет пятнадцати, которая родилась в остроге, хотя многие думали, что ей бы лучше совсем не родиться.

Пришли они в Кромы жить по приписке. Это теперь непонятно, но тогда бывало так, что отслужившимся палачам позволялось приписываться к каким-нибудь городишкам, и делалось это просто, ни у кого на то

желания и согласия не спрашивая. Так случилось и с Борькой: велел какой-то губернатор приписать этого старого палача в Кромах – его и приписали, а он пришел сюда жить и привел с собою дочку. Но только в Кромах палач, разумеется, ни для кого не был желанным гостем, а, напротив, все им пренебрегали, как люди чистые, и ни его, ни его девочку решительно никто не захотел пустить к себе на двор. А время, когда они пришли, было уже очень холодное.

Попросился палач в один дом, потом в другой и не стал более докучать. Он видел, что не возбуждает ни в ком ни малейшего сострадания, и знал, что вполне этого заслужил.

«Но дитя! – думал он. – Дитя не виновато в моих грехах, – кто-нибудь пожалеет дитя».

И Борька опять пошел стучаться из двора во двор, прося взять если не его, то только девочку... Он заклинался, что никогда даже не придет, чтобы навестить дочь.

Но и эта просьба была так же напрасна.

Кому охота с палачом знаться?

И вот, обойдя городишко, стали эти злополучные пришельцы опять проситься в острог. Там хоть можно было обогреться от осенней мокроты и стужи. Но и в острог их не взяли, потому что срок их острожной неволи минул, и они теперь были люди вольные. Они были свободны умереть под любым забором или в любой канаве.

Милостыню палачу с дочерью иногда подавали, не для них, конечно, а Христа ради, но в дом никуда не пускали. Старик с дочерью не имели приюта и ночевали то где-нибудь под кручею, в глинокопных ямах, то в опустелых сторожевых шалашах на огородах, по долине. Суровую долю их делила тощая собака, которая пришла с ними из Орла.

Это был большой лохматый пес, на котором вся шерсть завойлочилась в войлок. Чем она питалась при своих нищих-хозяевах – это никому не было известно, но, наконец, догадались, что ей вовсе и не нужно было питаться, потому что она была «бесчеревная», то есть у нее были только кости да кожа и желтые, истомленные глаза, а «в середине» у нее ничего не было, и потому пища ей вовсе не требовалась.

Дедушка Илья рассказывал мне, как этого можно достигать «самым легким манером». Любую собаку, пока она щенком, стоит только раз напоить жидко расплавленным оловом или свинцом, и она делается без черева и может не есть. Но, разумеется, при этом необходимо знать «особливое, колдовское слово». А за то, что палач, очевидно, знал это слово, – люди строгой нравственности убили его собаку. Оно, конечно, так

и следовало, чтобы не давать поблажки колдовству; но это было большим несчастьем для нищих, так как девочка спала вместе с собакою, и та уделяла ребенку часть теплоты, которую имела в своей шерсти. Однако для таких пустяков, разумеется, нельзя было потворствовать волшебствам, и все были того мнения, что собака уничтожена совершенно правильно. Пусть колдунам не удастся морочить правоверных.

Глава четвертая

После уничтожения собаки девочку согревал в шалашах сам палач, но он уже был стар, и, к его счастью, ему недолго пришлось нести эту непосильную для него заботу. В одну морозную ночь дитя ощутило, что отец ее застыл более, чем она сама, и ей сделалось так страшно, что она от него отодвинулась и даже от ужаса потеряла сознание. До утра пробыла она в объятиях смерти. Когда стало светать и люди, шедшие к заутрене, заглянули из любопытства в шалаш, то они увидели отца и дочь закоченевшими. Девочку кое-как отогрели, и когда она увидела у отца странно остолбенелые глаза и дико оскаленные зубы, тогда поняла в чем дело и зарыдала.

Старика схоронили за кладбищем, потому что он жил скверно и умер без покаяния, а про его девочку немножко позабыли... Правда, не надолго, всего на какой-нибудь месяц, но когда про нее через месяц вспомнили, – ее уже негде было отыскивать.

Можно было думать, что сиротка куда-нибудь убежала в другой город или пошла просить милостыню по деревням. Гораздо любопытнее было то, что с исчезновением сиротки соединялось другое странное обстоятельство: прежде чем хватились девочки, было замечено, что без вести пропал куда-то калачник Селиван.

Он пропал совершенно неожиданно, и притом так необдуманно, как не делал еще до него никакой другой беглец. Селиван решительно ничего ни у кого не унес, и даже все данные ему для продажи калачи лежали на его лотке, и тут же уцелели все деньги, которые он выручил за то, что продал; но сам он домой не возвращался.

И оба эти сироты считались без вести пропавшими целых три года.

Вдруг, однажды, приезжает с ярмарки купец, которому принадлежал давно опустелый постоялый двор «на разновилье», и говорит, что с ним было несчастье: ехал он, да плохо направлял на гать свою лошадь, и его воз придавил, но его спас неизвестный бродяжка.

Бродяжка этот был им узнан, и оказалось, что это не кто иной, как Селиван.

Спасенный Селиваном купец был не из таких людей, которые совсем нечувствительны к оказанной им услуге; чтобы не подлежать на Страшном суде ответу за неблагодарность, он захотел сделать добро бродяге.

– Я должен тебя осчастливить, – сказал он Селивану, – у меня есть пустой двор на разновилье, иди туда и сиди в нем дворником и продавай овес и сено, а мне плати всего сто рублей в год аренды.

Селиван знал, что на шестой версте от городка, по запустевшей дороге, постоялому двору не место, и, в нем сидючи, никакого заезда ждать невозможно; но, однако, как это был еще первый случай, когда ему предлагали иметь свой угол, то он согласился.

Купец пустил.

Глава пятая

Селиван приехал во двор с маленькой ручной одноколесной навозницей, в которой у него мостились пожитки, а на них лежала, закинув назад голову, больная женщина в жалких лохмотьях.

Люди спросили у Селивана:

– Кто это такая?

Он отвечал:

– Это моя жена.

– Из каких она мест родом?

Селиван кротко отвечал:

– Из божьих.

– Чем она больна?

– Ногами недужна.

– А отчего она так недужает?

Селиван, насупясь, буркнул:

– От земного холода.

Больше он не стал говорить ни слова, поднял на руки свою немощную калеку и понес ее в избу.

Словоохотливости и вообще приятной общительности в Селиване не было; людей он избегал, и даже как будто боялся, и в городе не показывался, а жены его совсем никто не видал с тех пор, как он ее сюда привез в ручной навозной тележке. Но с тех пор, когда это случилось, уже прошло много лет, – молодые люди тогдашнего века уже успели

состариться, а двор в разновилье еще более обветшал и развалился; но Селиван и его убогая калека все здесь и, к общему удивлению, платили за двор наследникам купца какую-то плату.

Откуда же этот чудака выручал все то, что было нужно на его собственные нужды, и на то, что следовало платить за совершенно разрушенный двор? Все знали, что сюда никогда не заглядывал ни один проезжающий и не кормил здесь своих лошадей ни один обоз, а между тем Селиван хотя жил бедственно, но все еще не умирал с голода.

Вот в этом-то и был вопрос, который, впрочем, не очень долго томил окрестное крестьянство. Скоро все поняли, что Селиван знался с нечистой силою... Эта нечистая сила устраивала ему довольно выгодные и для обыкновенных людей даже невозможные делишки.

Известно, что дьявол и его помощники имеют большую охоту делать людям всякое зло; но особенно им нравится вынимать из людей души так неожиданно, чтобы они не успели очистить себя покаянием. Кто из людей помогает таким проискам, тому вся нечистая сила, то есть все лешие, водяные и кикиморы охотно делают разные одолжения, хотя, впрочем, на очень тяжелых условиях. Помогающий чертям должен сам за ними последовать в ад, – рано или поздно, но непременно. Селиван находился именно на этом роковом положении. Чтобы кое-как жить в своем разоренном домишке, он давно продал свою душу нескольким чертям сразу, а эти с тех пор начали загонять к нему на двор путников самыми усиленными мерами. Назад же от Селивана не выезжал никто. Делалось это таким образом, что лешие, сговорясь с кикиморами, вдруг перед ночью поднимали вьюги и метели, при которых дорожный человек растеривался и спешил спрятаться от разгулявшейся стихии куда попало. Селиван тогда сейчас же и выкидывал хитрость: он выставлял огонь на свое окошко и на этот свет к нему попадали купцы с толстыми черезами, дворяне с потайными шкатулками и попы с меховыми треухами, подложенными во всю ширь денежными бумажками. Это была ловушка. Назад из Селивановых ворот уже не было поворота ни одному из тех, кто приехал. Куда их девал Селиван, – про то никому не было известно.

Дедушка Илья, договорившись до этого, только проводил по воздуху рукой и внушительно произносил:

– Сова летит, лушь плывет – ничего не видно: буря, метель и... ночь матка – все гладко.

Чтобы не уронить себя во мнении дедушки Ильи, притворялся, будто понимаю, что значит «сова летит и лушь плывет», а понимал я только одно, что Селиван – это какое-то общее пугало, с которым чрезвычайно опасно

встретиться... Не дай бог этого никому на свете.

Я, впрочем, старался проверить страшные рассказы про Селивана и от других людей, но все в одно слово говорили то же самое. Все смотрели на Селивана как на страшное пугало, и все так же, как дедушка Илья, строго заказывали мне, чтобы я «дома, в хоромах, никому про Селивана не сказывал». По совету мельника, я эту мужичью заповедь исполнял до особого страшного случая, когда я сам попался в лапы Селивану.

Глава шестая

Зимою, когда в доме вставили двойные рамы, я не мог по-прежнему часто видеться с дедушкой Ильей и с другими мужиками. Меня берегли от морозов, а они все остались работать на холоду, причем с одним из них произошла неприятная история, выдвинувшая опять на сцену Селивана.

В самом начале зимы племянник Ильи, мужик Николай, пошел на свои именины в Кромы, в гости, и не возвратился, а через две недели его нашли на опушке у Селиванова леса. Николай сидел на пне, опершись бороною на палочку, и, по-видимому, отдыхал после такой сильной усталости, что не заметил, как метель замела его выше колен снегом, а лисицы обкусили ему нос и щеки.

Очевидно, Николай сбился с дороги, устал и замерз; но все знали, что это вышло неспроста и не без Селивановой вины. Я узнал об этом через девушек, которых было у нас в комнатах очень много и все они большею частию назывались Аннушками. Была Аннушка большая, Аннушка меньшая, Аннушка рябая и Аннушка круглая, и потом еще Аннушка, по прозванию Шibaенок. Эта последняя была у нас в своем роде фельетонистом и репортером. Она по своему живому и резвому характеру получила и свою бойкую кличку.

Не Аннушками звали только двух девушек – Неонилу да Настю, которые числились на некотором особом положении, потому что получили особенное воспитание в тогдашнем модном орловском магазине мадам Морозовой, да еще были в доме три побегушки-девочки – Оська, Моська и Роська. Крестное имя одной из них было Матрена, другой Раиса, а как звали по-настоящему Оську – этого я не знаю. Моська, Оська и Роська находились еще в малолетстве, и потому к ним все относились довольно презрительно. Они еще бегали босиком и не имели права садиться на стульях, а присаживались внизу, на подножных скамейках. По должности они исполняли разные унижительные поручения, как-то: чистили тазы,

выносили умывальные лоханки, провожали гулять комнатных собачек и бегали скороходами на посылках за кухонными людьми и на деревню. В теперешних помещичьих домах уже нигде нет такого излишнего многолюдства, но тогда оно казалось необходимым.

Все наши девы и девчонки, разумеется, много знали о страшном Селиване, вблизи двора которого замерз мужик Николай. По этому случаю теперь вспомнили Селивану все его старые проделки, о которых я прежде и не знал. Теперь обнаружилось, что кучер Константин, едучи один раз в город за говядиной, слышал, как из окна Селивановой избы неслись жалобные стоны и слышались слова: «Ой, ручку больно! Ой, пальчик режет».

Девушка, Аннушка большая, объясняла это так, что Селиван забрал к себе во время метели (по-орловски – куры) целый господский возок с целым дворянским семейством и медленно отрезал дворянским детям пальчик за пальчиком. Это страшное варварство ужасно меня перепугало. Потом башмачнику Ивану приключилось что-то еще более страшное и вдобавок необъяснимое. Раз, когда его послали в город за сапожным товаром и он, позамешкавшись, возвращался домой темным вечером, то поднялась маленькая метель, – а это составляло первое удовольствие для Селивана. Он сейчас же вставал и выходил на поле, чтобы веяться во мгле вместе с Ягою, лешими и кикиморами. И башмачник это знал и остерегался, но не остерегся. Селиван выскочил у него перед самым носом и загородил ему дорогу... Лошадь стала. Но башмачник, к его счастью, от природы был смел и очень находчив. Он подошел к Селивану, будто с ласкою, и проговорил: «Здравствуй, пожалуйста», а в это самое время из рукава кольнул его самым большим и острым шилом прямо в живот. Это единственное место, в которое можно ранить колдуна насмерть, но Селиван спасся тем, что немедленно обратился в толстый верстовой столб, в котором острый инструмент башмачника застрял так крепко, что башмачник никак не мог его вытащить и должен был расстаться с шилом, между тем оно ему было решительно необходимо.

Этот последний случай был даже обидною насмешкою над честными людьми и убедил всех, что Селиван действительно был не только великий злодей и лукавый колдун, но и нахал, которому нельзя было давать спуска. Тогда его решили проучить строго; но Селиван тоже не был промах и научился новой хитрости: он начал «скидываться», то есть при малейшей опасности, даже просто при всякой встрече, он стал изменять свой человеческий вид и у всех на глазах обращаться в различные одушевленные и неодушевленные предметы. Правда, что благодаря

общему против него возбуждению, он и при такой ловкости все-таки немножко страдал, но искоренить его никак не удавалось, а борьба с ним иногда даже принимала немножко смешной характер, что всех еще более обижало и злило. Так, например, после того, когда башмачник изо всей силы проколол его шилом и Селиван спасся только тем, что успел скинуться верстовым столбом, несколько человек видели это шило торчавшим в настоящем верстовом столбе. Они пробовали даже его оттуда вытащить, но шило сломалось, и башмачнику привезли только одну ничего не стоящую деревянную ручку.

Селиван же и после этого ходил по лесу, как будто его даже совсем и не кололи, и скидывался кабаном до такой степени истово, что ел дубовые желуди с удовольствием, как будто такой фрукт мог приходиться ему по вкусу. Но чаще всего он вылезал под видом красного петуха на свою черную растрепанную крышу и кричал оттуда «ку-ка-реку!». Все знали, что его, разумеется, занимало не пение «ку-ка-реку», а он высматривал, не едет ли кто-нибудь такой, против кого стоило бы подучить лешего и кикимору поднять хорошую бурю и затормозить его до смерти. Словом, окрестные люди так хорошо отгадывали все его хитрости, что никогда не поддавались злодею в его сети и даже порядком мстили Селивану за его коварство. Один раз, когда он, скинувшись кабаном, встретился с кузнецом Савельем, который шел пешком из Кром со свадьбы, между ними даже произошла открытая схватка, но кузнец остался победителем благодаря тому, что у него, к счастью, случилась в руках претяжелая дубина. Оборотень притворился, будто он не желает обращать на кузнеца ни малейшего внимания и, тяжело похрюкивая, чавкал желуди; но кузнец проник острым умом его замысел, который состоял в том, чтобы пропустить его мимо себя и потом напасть на него сзади, сбить с ног и съесть вместо желудя. Кузнец решил предупредить беду; он поднял высоко над голову свою дубину и так треснул ею кабана по храпе, что тот жалобно взвизгнул, упал и более уже не поднимался. А когда кузнец после этого начал поспешно уходить, то Селиван опять принял на себя свой человеческий вид и долго смотрел на кузнеца со своего крылечка – очевидно, имея против него какое-то самое недружелюбное намерение.

После этой ужасной встречи кузнеца даже была лихорадка, от которой он спасся единственно тем, что пустил по ветру за окно хинный порошок, который ему был прислан из горницы для приема.

Кузнец слыл за человека очень рассудительного и знал, хина и всякое другое аптечное лекарство против волшебства ничего сделать не могут. Он оттерпелся, завязал на суровой нитке узелок и бросил его гнить в навозную

кучу. Этим было все кончено, потому что как только узелок и нитка сгнили, так и сила Селивана должна была кончиться. И это так и случилось. Селиван после этого случая в свинью уже никогда более не скидывался, или по крайней мере с тех пор его никто решительно не встречал в этом неопрятном виде.

С проказами же Селивана в образе красного петуха было еще удачнее: на него ополчился косой мирошник Савка, преудалый парень, который действовал всех предусмотрительнее и ловчее.

Будучи послан раз в город на подторжье, он ехал верхом на очень ленивой и упрямой лошади. Зная такой нрав своего коня, Савка взял с собою на всякий случай потихоньку хорошее березовое полено, которым надеялся запечатлеть сувенир в бока своего меланхолического буцефала. Кое-что в этом роде он и успел уже сделать и настолько переломить характер своего коня, что тот, потеряв терпение, стал понемножку припрыгивать.

Селиван, не ожидая, что Савка так хорошо вооружен, как раз к его приезду выскочил петухом на застреху и начал вертеться, глазеть на все стороны да петь «ку-ка-реку!». Савка не сробел колдуна, а, напротив, сказал ему: «Э, брат, врешь – не уйдешь», и с этим, недолго думая, ловко швырнул в него своим поленом, что тот даже не допел до конца своего «ку-ка-реку» и свалился мертвым. По несчастью, он только упал не на улицу, а во двор, где ему ничего не стоило, коснувшись земли, опять принять на себя свой человеческий образ. Он сделался Селиваном и, выбежав, погнался за Савкою, имея в руке то же самое полено, которым его угостил Савка, когда он пел петухом на крыше.

По рассказам Савки, Селиван в этот раз был так взбешен, что Савке могло прийти от него очень плохо; но Савка был парень сообразительный и отлично знал одну преползную штуку. Он знал, что его ленивая лошадь сразу забывает о своей лени, если ее поворотить домой, к яслям. Он это и сделал. Как только Селиван, вооруженный поленом, на Савку кинулся, – Савка враз повернул коня в обратный путь и скрылся. Он прискакал домой, не имея на себе лица от страха, и рассказал о бывшей с ним страшной истории только на другой день. И то слава богу, что заговорил, а то боялись, как бы он не остался нем навсегда.

Глава седьмая

Вместо оробевшего Савки был наряжен другой, более смелый посол,

который достиг Кром и возвратился назад благополучно. Однако и этот, совершив путешествие, говорил, что ему легче бы сквозь землю провалиться, чем ехать мимо Селиванова двора. То же самое чувствовали и другие: страх стал всеобщий; но зато со стороны всех вообще началось и за Селиваном всеобщее усиленное смотрение. Где бы и чем бы он ни скидывался, его везде постоянно обнаруживали и во всех видах стремились пресечь его вредное существование. Являлся ли Селиван у своего двора овцою или теленком, – его все равно узнавали и били, и ни в каком виде ему не удавалось укрыться. Даже когда он один раз выкатился на улицу в виде нового свежесмоленного тележного колеса и лег на солнце сушиться, то и эта его хитрость была обнаружена, и умные люди разбили колесо на мелкие части так, что и втулка и спицы разлетелись в разные стороны.

Обо всех этих происшествиях, составлявших героическую эпопею моего детства, мною своевременно получались скорые и самые достоверные сведения. Быстроте известий много содействовало то, что у нас на мельнице всегда случалась отменная заезжая публика, приезжавшая за помолом. Пока мельничные жернова мололи привезенные ими хлебные зерна, уста помольцев еще усерднее мололи всяческий вздор, а оттуда все любопытные истории приносились в девичью Моською и Росьюкою и потом в наилучшей редакции сообщались мне, а я начинал о них думать целые ночи и создавал презанимательные положения для себя и для Селивана, к которому я, несмотря на все, что о нем слышал, – питал в глубине моей души большое сердечное влечение. Я бесповоротно верил, что настанет час, когда мы с Селиваном как-то необыкновенно встретимся – и даже полюбим друг друга гораздо более, чем я любил дедушку Илью, в котором мне не нравилось то, что у него один, именно левый, глаз всегда немножко смеялся.

Я никак не мог долго верить, что Селиван делает все сверхъестественные чудеса с злым намерением к людям, и очень любил о нем думать; и обыкновенно, чуть начинал засыпать, он мне снился тихим, добрым и даже обиженным. Я его никогда еще не видал и не умел себе представить его лица по искаженным описаниям рассказчиков, но глаза его я видел, чуть закрывал свои собственные. Это были большие глаза, совсем голубые и предобрые. И пока я спал, мы с Селиваном были в самом приятном согласии: у нас с ним открывались в лесу разные секретные норки, где у нас было напрядано много хлеба, масла и теплых детских тулупчиков, которые мы доставали, бегом носили к известным нам избам по деревням, клали на слуховое окно, стучали, чтобы кто-нибудь выглянул,

и сами убегали.

Это были, кажется, самые прекрасные сновидения в моей жизни, и я всегда сожалел, что с пробуждением Селиван опять делался для меня тем разбойником, против которого всякий добрый человек должен был принимать все меры предосторожности. Признаться, я и сам не хотел отстать от других, и хотя во сне я вел с Селиваном самую теплую дружбу, но наяву я считал нелишним обеспечить себя от него даже издали.

С этой целью я, путем немалой лести и других унижений, выпросил у ключницы хранившийся у нее в кладовой старый, очень большой кавказский кинжал моего отца. Я подвязал его на кутас, который снял с дядиного гусарского кивера, и мастерски спрятал это оружие в головах, под матрац моей постельки. Если бы Селиван появился ночью в нашем доме, я бы непременно против него выступил.

Об этом скрытом цейхгаузе не знали ни отец, ни мать, и это было совершенно необходимо, потому что иначе кинжал у меня, конечно, был бы отобран, а тогда Селиван мог помешать мне спать спокойно, потому что я все-таки его ужасно боялся. А он между тем уже делал к нам подходы, но наши бойкие девушки его сразу же узнали. К нам в дом Селиван дерзнул появляться, скинувшись большою рыжею крысою. Сначала он просто шумел по ночам в кладовой, а потом один раз спустился в глубокий долбленный липовый наполь, на дне которого ставили, покрывая решетом, колбасы и другие закуски, сберегаемые для приема гостей. Тут Селиван захотел сделать нам серьезную домашнюю неприятность – вероятно, в отплату за те неприятности, какие он перенес от наших мужиков. Оборотясь рыжею крысою, он вскочил на самое дно в липовый наполь, сдвинул каменный гнеток, который лежал на решетке, и съел все колбасы, но зато назад никак не мог выскочить из высокой кади. Здесь Селивану, по всем видимостям, никак невозможно было избежать заслуженной казни, которую вызвалась произвести над ним самая скорая Аннушка Шибанок. Она явилась для этого с целым чугуном кипятку и с старою вилкою. Аннушка имела такой план, чтобы сначала ошпарить оборотня кипятком, а потом приколоть его вилкою и выбросить мертвого в бурьян на расклевань воронам. Но при исполнении казни произошла неловкость со стороны Аннушки круглой, она плеснула кипятком на руку самой Аннушке Шибанку; та выронила от боли вилку, а в это время крыса укусила ее за палец и с удивительным проворством по ее же рукаву выскочила наружу и, произведя общий перепуг всех присутствующих, сделалась невидимкой.

Родители мои, смотревшие на это происшествие обыкновенными глазами, приписывали глупый исход травли неловкости наших Аннушек;

но мы, которые знали тайные пружины дела, знали и то, что тут ничего невозможно было сделать лучшего, потому что это была не простая крыса, а оборотень Селиван. Рассказать об этом старшим мы, однако, не смели. Как простосердечный народ, мы боялись критики и насмешек над тем, что сами почитали за несомненное и очевидное.

Через порог передней Селиван перешагнуть не решался ни в каком виде, как мне казалось, потому, что он кое-что знал о моем кинжале. И мне это было и лестно и досадно, потому что, собственно говоря, мне уже стали утомительны одни толки и слухи и во мне разгоралось страстное желание встретиться с Селиваном лицом к лицу.

Это во мне обратилось, наконец, в томление, в котором и прошла вся долгая зима с ее бесконечными вечерами, а с первыми весенними потоками с гор у нас случилось происшествие, которое расстроило весь порядок жизни и дало волю опасным порывам несдержанных страстей.

Глава восьмая

Случай был неожиданный и печальный. В самую весеннюю ростепель, когда, по народному выражению, «лужа быка топит», из далекого тетушкина имения прискакал верховой с роковым известием об опасной болезни дедушки.

Длинный переезд в такую распутицу был сопряжен с большою опасностью; но отца и мать это не остановило, они пустились в дорогу немедленно. Ехать надо было сто верст, и не иначе, как в простой тележке, потому что в каком другом экипаже проехать совсем было невозможно. Телегу сопровождали два вершника с длинными шестами в руках. Они ехали вперед и ощупывали дорожные просовы. Я и дом были оставлены на попечение особого временного комитета, в состав которого входили разные лица по разным ведомствам. Аннушке большой были подчинены все лица женского пола до Оськи и Роськи; но высший нравственный надзор поручен был старостихе Дементьевне. Интеллигентное же руководство нами – в рассуждении наблюдения праздников и дней недельных – было вверено диаконскому сыну Аполлинарию Ивановичу, который, в качестве исключенного из семинарии ритора, состоял при моей особе на линии наставника. Он учил меня латинским склонениям и вообще приготавливал к тому, чтобы я мог на следующий год поступить в первый класс орловской гимназии не совершенным дикарем, которого способны удивить латинская грамматика Белюстина и французская – Ломонда.

Аполлинарий был юноша светского направления и собирался поступить в «приказные», или, по-нынешнему говоря, в писцы – в орловское губернское правление, где служил его дядя, имевший презанимательную должность. Если какой-нибудь становой или исправник не исполнял какого-нибудь предписания, то дядю Аполлинария посылали на одной лошади «нарочным» на счет виновного. Он ездил, не платя за лошадей денег, и, кроме того, получал с виновных дары и презенты и видел разные города и много разных людей разных чинов и обычаев. Мой Аполлинарий тоже имел в виду со временем достичь такого счастья и мог надеяться сделать гораздо более своего дяди, потому что он обладал двумя большими талантами, которые могли быть очень приятны в светском обхождении: Аполлинарий играл на гитаре две песни: «Девушка крапивушку жала» и вторую, гораздо более трудную – «Под вечер осенью ненастной», и, что еще реже было в тогдашнее время в провинциях, – он умел сочинять прекрасные стихи дамам, за что, собственно, и был выгнан из семинарии.

Мы с Аполлинарием, несмотря на разницу наших лет, держались как друзья, и, как прилично верным друзьям, мы крепко хранили взаимные тайны. В этом случае на его долю приходилось немножко меньше, чем на мою: мои все секреты заключались в находившемся у меня под матрацем кинжале, а я обязан был глубоко таить два вверенные мне секрета: первый касался спрятанной в шкафе трубки, из которой Аполлинарий курил вечером в печку кисло-сладкие белые нежинские корешки, а второй был еще важнее – здесь дело шло о стихах, написанных Аполлинарием в честь некоей «легконосной Пулхерии».

Стихи были, кажется, очень плохие, но Аполлинарий говорил, что для верного о них суждения необходимо было видеть, какое они могут произвести впечатление, если хорошенько, с чувством прочесть нежной и чувствительной женщине.

Это предполагало большую и даже в нашем положении непреодолимую трудность, потому что маленьких барышень у нас в доме не было, а барышням взрослым, которые иногда приезжали, Аполлинарий не смел предложить быть его слушательницами, так как он был очень застенчив, а между нашими знакомыми барышнями водились большие насмешницы.

Нужда научила Аполлинария выдумать компромисс, – именно, продекламировать оду, написанную «Легконосной Пулхерии», перед нашей девушкой Неонилой, которая усвоила себе в модном магазине Морозовой разные отшлифованные городские манеры и, по соображениям

Аполлинария, должна была иметь тонкие чувства, необходимые для того, чтобы почувствовать достоинство поэзии.

По малолетству моему я боялся подавать своему учителю советы в его поэтических опытах, но считал его намерение декламировать стихи перед швеею рискованным. Я, разумеется, судил по себе и хотя брал в соображение, что молоденькой Неониле знакомы некоторые предметы городского круга, но едва ли ей может быть понятен язык высокой поэзии, каким Аполлинарий обращался к воспеваемой им Пулхерии. Притом в оде к «Легконосице» были такие восклицания: «О ты, жестокая!» или «Исчезни с глаз моих!» и тому подобные. Неонила от природы имела робкий и застенчивый характер, и я боялся, что она примет это на свой счет и непременно расплачется и убежит.

Но всего хуже то, что при обыкновенном строгом домашнем порядке нашей домашней жизни вся эта задуманная ритором поэтическая репетиция была совершенно невозможна. Ни время, ни место, ни даже все другие условия не благоприятствовали тому, чтобы Неонила слушала стихи Аполлинария и была их первою ценительницею. Однако безначалием, которое водворилось у нас с отъездом родителей, все изменилось, и ритор захотел этим воспользоваться. Теперь мы, забыв всякую разность своих положений, ежедневно играли по вечерам в короли, а Аполлинарий даже курил в комнатах свои нежинские корешки и садился в столовой в отцовском кресле, что меня немножко обижало. Кроме того, по его же настоянию у нас несколько раз была затеяна игра в жмурки, причем мне и брату набили синяки. Потом мы играли в прятки, и раз даже был устроен формальный фестиваль, с большим угощением. Кажется, все это делалось «на ше-реметевский счет», как в тогдашнее время бражничали многие неосмотрительные кутилы, по гибельному пути которых направились и мы, увлекаемые ритором. Мне до сих пор неизвестно, от кого тогда были предложены собранию целый мешочек самых зрелых лесных орехов, добытых из мышиных норок (где обыкновенно бывают только орехи самого высшего сорта). Кроме орехов, были три свертка серой бумаги с желтыми паточными груздиками, подсолнухами и засмоквенной грушей. Последняя очень прочно липла к рукам и не скоро отмывалась.

Так как этот последний фрукт пользовался особым вниманием, то груши давались только в розыгрыш на фанты. Моська, Оська и Роська, по существенному своему ничтожеству, смокв вовсе не получали. В фантах участвовали Аннушка и я да мой наставник Аполлинарий, который оказался очень ловким выдумщиком. Происходило все это в гостиной комнате, где, бывало, сидели только очень почетные гости. И тут-то, в чаду

увлечения веселостями, в Аполлинария вошел какой-то отчаянный дух, и он задумал еще более дерзкое предприятие. Он захотел декламировать свою оду в грандиозной и даже ужасающей обстановке, при которой должны были подвергнуться самому высшему напряжению самые сильные нервы. Он начал всех нас подговаривать, чтобы отправиться всем вместе в будущее воскресенье за ландышами в Селиванов лес. А вечером, когда мы с ним ложились спать, он мне открылся, что ландыши тут один только предлог, а главная цель в том, чтобы прочитать стихи в самой ужасной обстановке.

С одной стороны будет действовать страх от Селивана, а с другой – страх от ужасных стихов... Каково это выйдет и можно ли это выдержать?

Представьте же себе, что мы на это отважились.

В оживленности, которую все мы были охвачены в этот достопамятный весенний вечер, нам представлялось, что все мы смелы и можем совершить отчаянную штуку безопасно. В самом деле, нас будет много, и притом я возьму, разумеется, свой огромный кавказский кинжал.

Признаться, мне очень хотелось, чтобы и все другие вооружились сообразно своей силе и возможности, но я ни у кого не встретил к этому должного внимания и готовности. Аполлинарий брал только чубук да гитару, а с девушками ехали таганы, сковороды, котелки с яйцами и чугунок. В чугунке предполагалось варить пшениный кулеш с салом, а на сковороде жарить яичницу, и в этом смысле они были прекрасны; но в смысле обороны, на случай возможных проделок со стороны Селивана, решительно ничего не значили.

Впрочем, по правде сказать, я был и еще кое за что недоволен моими компаньонами, а именно – я не чувствовал с их стороны того внимания к Селивану, каким я сам был проникнут. Они и боялись его, но как-то легкомысленно, и даже рисковали критически над ним подтрунивать. Одна Аннушка говорила, что она возьмет пирожную скалку и скалкой его убьет, а Шибаенок смеялась, что она его загрызть может, и при этом показывала свои белые-пребелые зубы и перекусывала ими кусочек проволоки. Все это как-то не солидно; всех превзошел ритор. Он совсем отвергал существование Селивана – говорил, что его даже никогда не было и что он просто есть изобретение фантазии, такое же, как Пифон, Цербер и тому подобное.

Тогда я первый раз видел, до чего способен человек увлекаться в отрицаниях! К чему же тогда вся риторика, если она позволяет поставить на одну ступень вероятность баснословного Пифона с Селиваном, действительное существование которого подтверждалось множеством

очевидных событий.

Я этому соблазну не поддался и сберег мою веру в Селивана. Даже более того, я верил, что ритор за свое неверие будет непременно наказан.

Впрочем, если не строго относиться к этим философствам, то затеянная поездка в лес обещала много веселости, и никто не хотел или не мог заставить себя приготовиться к явлениям другого сорта. А меж тем благоразумие заставляло весьма поостеречься в этом проклятом лесу, где мы будем, так сказать, в самой пасти у зверя.

Все думали только о том, как им весело будет разбрестись по лесу, куда все боятся ходить, а они не боятся. Размышляли о том, как мы пройдем насквозь весь опасный лес, аукаясь, перекликаясь и перепрыгивая ямки и овражки, в которых дотлевают последний снег, а и не подумали, будет ли все это одобрено, когда возвратится наше высшее начальство. Впрочем, мы зато имели в виду изготовить на туалет мамы два большие букета из лучших ландышей, а из остальных сделать душистый перегон, который во все предстоящее лето будет давать превосходное умыванье от загара.

Глава девятая

Нетерпеливо дождавшись воскресенья, мы оставили в доме на хозяйстве старостиху Дементьевну, а сами отправились к Селиванову лесу. Вся публика шла пешком, держась более просохших высоких рубежей, где уже зеленела первая изумрудная травка, а по дороге следовал обоз, состоявший из телеги, запряженной старою буланою лошадыю. На телеге лежала Аполлинариева гитара и взятые на случай ненастья девичьи кацавейки. Правил лошадыю я, а назади, в качестве пассажиров, помещались Роська и другие девчонки, из которых одна бережно везла в коленях кошелочку с яйцами, а другая имела общее попечение о различных предметах, но наиболее поддерживала рукою мой огромный кинжал, который был у меня подвешен через плечо на старом гусарском шнуре от дядина этишкета и болтался из стороны в сторону, значительно затрудняя мои движения и отрывая мое внимание от управления лошадыю.

Девушки, идучи по рубежу, пели: «Распашу ль я пашеньку, посею ль я лен-конопель», а ритор им вторил басом. Попадавшие нам навстречу мужики кланялись и спрашивали:

– Куда поднялись?

Аннушки им отвечали:

– Идем Селиванку в плен брать.

Мужики помахивали головами и говорили:

– Угорелые!

Мы и действительно были в каком-то чаду, нас охватила неудержимая полудетская потребность бегать, петь, смеяться и делать все очертя голову.

А между тем час езды по скверной дороге начал на меня действовать неблагоприятно – старый буланый мне надоел, и во мне охладела охота держать в руках веревочные вожжи; но невдалеке, на горизонте, засинел Селиванов лес, и все ожило. Сердце забилось и заныло, как у Вара при входе в Тевтобургские дебри. А в это же время из-под талой межи выскочил заяц и, пробежав через дорогу, понесся по полю.

– Фуй, чтоб тебе пусто было! – закричали вслед ему Аннушки.

Они все знали, что встреча с зайцем к добру никогда не бывает. И я тоже струсил и схватился за свой кинжал, но так увлекся заботами об извлечении его из заржавевших ножен, что не заметил, как выпустил из рук вожжи и, с совершенною для себя неожиданностью, очутился под опрокинувшеюся телегою, которую потянувшийся на рубеж за травкою буланый повернул самым правильным образом, так что все четыре колеса очутились вверху, а я с Роськой и со всею нашею провизиею явились под спудом...

Это несчастье с нами случилось моментально, но последствия его были неисчислимы: гитара Аполлинария была разломана вдребезги, а разбитые яйца текли и заклеивали нам лица своим содержимым. Вдобавок Роська ревела.

Я был всемерно подавлен и сконфужен и до того растерялся, что даже желал, чтобы нас лучше совсем не освобождали; но я уже слышал голоса всех Аннушек, которые, трудясь над нашим освобождением, тут же, очень выгодно для меня, разъяснили причину нашего падения. Я и буланый были тут ни в чем не причинны: все это было делом Селивана.

Это была первая хитрость, чтобы не допустить нас к его лесу; но, однако, она никого сильно не испугала, а, напротив, только привела всех в большое негодование и увеличила решимость во что бы то ни стало исполнить всю задуманную нами программу.

Нужно было только поднять телегу, поставить нас на ноги, смыть с нас где-нибудь у ручейка неприятную яичную слизь и посмотреть, что уцелело после нашего крушения из вещей, взятых для дневного продовольствия нашей многоличной группы.

Все это и было кое-как сделано. Меня и Роську вымыли у ручья, который бежал под самым Селивановым лесом, и когда глаза мои

раскрылись, то свет мне показался очень невзрачным. Розовые платья девочек и мой новый бешмет из голубого кашемира были никуда не годны: покрывавшие грязь и яйца совсем их испортили и не могли быть отмыты без мыла, которого мы с собой не захватили. Чугун и сковородка были расколоты, от тагана валялись одни ножки, а от гитары Аполлинария остался один гриф с закрутившимися на нем струнами. Хлеб и другая сухая провизия были в грязи. По меньшей мере нам угрожал целоденный голод, если не считать ни во что других ужасов, которые чувствовались во всем окружающем. В долине над ручьем свистел ветер, а черный, еще не убраный зеленью лес шумел и зловеще махал на нас своими прутьями.

Настроение духа во всех нас значительно понизилось, – особенно в Роське, которая озябла и плакала. Но, однако, мы все-таки решили вступить в Селиваново царство, а дальше пусть будет что будет.

Во всяком случае, одно и то же приключение без какой-нибудь перемены не могло повториться.

Глава десятая

Все перекрестились и начали входить в лес. Входили робко и нерешительно, но каждый скрывал от других свою робость. Все только уговаривались как можно чаще перекликаться. Но, впрочем, не оказалось и большой нужды в перекличке, потому что никто далеко вглубь не ушел, все мы как будто случайно беспрестанно сучивались к краю и тянулись веревочкой вдоль опушки. Один Аполлинарий оказался смелее других и несколько углубился в чащу: он заботился найти самое глухое и страшное место, где его декламация могла бы произвести как можно более ужасное впечатление на слушательниц; но зато, чуть только Аполлинарий скрылся из вида, лес вдруг огласился его пронзительным, неистовым криком. Никто не мог себе вообразить, какая опасность встретила Аполлинария, но все его покинули и бросились бежать вон из леса на поляну, а потом, не оглядываясь назад, – дальше, по дороге к дому. Так бежали все Аннушки и все Моськи, а за ними, продолжая кричать от страха, пронесся и сам педагог, а мы с маленьким братом остались одни.

Из всей нашей компании не осталось никого: нас покинули не только все люди, но бесчеловечному примеру людей последовала и лошадь. Перепуганная их криком, она замотала головою и, повернув прочь от леса, помчалась домой, разбросав по ямам и рытвинам все, что еще оставалось до сих пор в тележке.

Это было не отступление, а полное и самое позорное бегство, потому что оно сопровождалось не только потерей обоза, но и утрату всего здравого смысла, причем мы, дети, были кинуты на произвол судьбы.

Бог знает, что нам довелось бы испытать в нашем беспомощном сиротстве, которое было тем опаснее, что мы одни дороги домой найти не могли и наша обувь, состоявшая из мягких козловых башмачков на тонкой ранговой подшивке, не представляла удобства для перехода в четыре версты по сырым тропинкам, на которых еще во многих местах стояли холодные лужи. В довершение беды, прежде чем мы с братом успели себе представить вполне весь ужас нашего положения, по лесу что-то зарокотало, и потом с противоположной стороны от ручья на нас дунуло и потянуло холодной влагой.

Мы поглядели за лощину и увидели, что с той стороны, куда лежит наш путь и куда позорно бежала наша свита, неслась по небу огромная дождевая туча с весенним дождем и с первым весенним громом, при котором молодые девушки умываются с серебряной ложечки, чтобы самим стать белей серебра.

Видя себя в таком отчаянном положении, я готов был расплакаться, а мой маленький брат уже плакал. Он весь посинел и дрожал от страха и холода и, склоняясь головою под кустик, жарко молился Богу.

Бог, кажется, внял его детской мольбе, и нам было послано невидимое спасение. В ту самую минуту, когда прогремел гром и мы теряли последнее мужество, в лесу за кустами послышался треск, и из-за густых ветвей рослого орешника выглянуло широкое лицо незнакомого нам мужика. Лицо это показалось нам до такой степени страшным, что мы вскрикнули и стремглав бросились бежать к ручью.

Не помня себя, мы перебежали лощину, кувырком слетели с мокрого, осыпавшегося бережка и прямо очутились по пояс в мутной воде, между тем как ноги наши до колен увязли в тине.

Бежать дальше не было никакой возможности. Ручей дальше был слишком глубок для нашего маленького роста, и мы не могли надеяться перейти через него, а притом по его струям теперь страшно сверкали зигзаги молнии – они трепетали и вились, как огненные змеи, и точно прятались в прошлогодних оставшихся водорослях.

Очутясь в воде, мы схватились друг за друга и стали в оцепенении, а сверху на нас уже падали тяжелые капли полившего дождя. Но это оцепенение и сохранило нас от большой опасности, которой мы никак бы не избежали, если бы сделали еще хотя один шаг далее в воду.

Мы легко могли поскользнуться и упасть, но, к счастью, нас обвили

две черные жилистые руки – и тот самый мужик, который выглянул на нас страшно из орешника, ласково проговорил:

– Эх вы, глупые ребятки, куда залезли!

И с этим он взял и понес нас через ручей.

Выйдя на другой берег, он опустил нас на землю, снял коротенькую свитку, которая была у него застегнута у ворота круглою медною пуговкою, и обтер этою свиткою наши мокрые ноги.

Мы на него смотрели в это время совершенно потерянно и чувствовали себя вполне в его власти, но – чудное дело – черты его лица в наших глазах быстро изменялись. В них мы уже не только не видели ничего страшного, но, напротив, лицо его нам казалось очень добрым и приятным.

Это был мужик плотный, коренастый, с проседью в голове и в усах, – борода комком и тоже с проседью, глаза живые, быстрые и серьезные, но в устах что-то близкое к улыбке.

Сняв с наших ног, насколько мог, грязь и тину полою своей свитки, он даже совсем улыбнулся и опять заговорил:

– Вы того... ничего... не пужайтесь...

С этим он оглянулся по сторонам и продолжал:

– Ничего; сейчас большой дождь пойдет! (Он уже шел и тогда.) Вам, ребяташки, пешком не дойти.

Мы в ответ ему только молча плакали.

– Ничего, ничего, не голосите, я вас донесу на себе! – заговорил он и утер своею ладонью заплаканное лицо брата, отчего у того сейчас же показались на лице грязные полосы.

– Вон ишь, какие мужичьи руки-то грязные, – сказал наш избавитель и провел еще раз по лицу брата ладонью в другую сторону, – отчего грязь не убавилась, а только получила растушевку в другую сторону.

– Вам не дойти... Я вас поведу... да, не дойти... в грязи черевички спадут.

– Умеете ли верхом ездить? – заговорил снова мужик.

Я взял смелость проронить слово и ответил:

– Умею.

– А умеешь, то и ладно! – молвил он и в одно мгновение вскинул меня на одно плечо, а брата – на другое, велел нам взяться друг с другом руками за его затылком, а сам покрыл нас своею свиткою, прижал к себе наши колена и понес нас, скоро и широко шагая по грязи, которая быстро растворялась и чавкала под его твердо ступавшими ногами, обутыми в большие лапти.

Мы сидели на его плечах, покрытые его свитою. Это, должно быть,

выходила пребольшая фигура, но нам было удобно: свита замочла от ливня и залубенела так, что нам под нею и сухо и тепло было. Мы покачивались на плечах нашего носильщика, как на верблюде, и скоро впали в какое-то каталептическое состояние, а пришли в себя у родника, на своей усадьбе. Для меня лично это был настоящий глубокий сон, из которого пробуждение наступало не разом. Я помню, что нас разворачивал из свиты этот самый мужик, которого теперь окружали все наши Аннушки, и все они вырывали нас у него из рук и при этом самого его за что-то немилосердно бранили, и свитку его, в которой мы были им так хорошо сбережены, бросили ему с величайшим презрением на землю. Кроме того, ему еще угрожали приездом моего отца и тем, что они сейчас сбегают на деревню, позовут с цепями баб и мужиков и пустят на него собак.

Я решительно не понимал причины такой жестокой несправедливости, и это было не удивительно, потому что дома у нас, во всем господствовавшем теперь временном правлении, был образован заговор, чтобы нам ничего не открывать о том, кто был этот человек, которому мы были обязаны своим спасением.

– Ничем вы ему не обязаны, – говорили нам наши охранительницы, – а напротив, это он-то все и наделал.

По этим словам я тотчас же догадался, что нас спас не кто иной, как сам Селиван!

Глава одиннадцатая

Оно так и было. На другой день, ввиду возвращения родителей, нам это открыли и взяли с нас клятву, чтобы мы ни за что не говорили отцу и матери о происшедшей с нами истории.

В те времена, когда водились крепостные люди, иногда случалось, что помещичьи дети питали к крепостной прислуге самые нежные чувства и крепко хранили их тайны. Так было и у нас. Мы даже покрывали, как умели, грехи и проступки «своих людей» перед родителями. Такие отношения упоминаются во многих произведениях, где описывается помещичий быт того времени. Что до меня, то мне наша детская дружба с нашими бывшими крепостными до сих пор составляет самое приятное и самое теплое воспоминание. Через них мы знали все нужды и все заботы жизни их родных и друзей на деревне и учились жалеть народ. Но этот добрый народ, к сожалению, сам не всегда был справедлив и иногда был способен для очень неважных причин бросить на ближнего темную тень,

не заботясь о том, какое это может иметь вредное влияние. Так поступал «народ» и с Селиваном, об истинном характере и правилах которого не хотели знать ничего основательного, но смело, не боясь погрешить перед справедливостью, распространяли о нем слухи, сделавшие его для всех пугалом. И, к удивлению, все, что о нем говорили, не только казалось вероятным, но даже имело какие-то видимые признаки, по которым приходилось думать, что Селиван в самом деле человек дурной и что вблизи его уединенного жилища происходят страшные злодейства.

То же самое произошло и теперь, когда нас бранили те, на которых состояла обязанность охранять нас: они не только взвалили всю вину на Селивана, который спас нас от непогоды, но даже взвели на него новую напасть.

Аполлинарий и все Аннушки рассказали нам, что когда Аполлинарий заметил в лесу хорошенький холм, с которого ему казалось удобно декламировать, – он побежал к этому холму через лощинку, засыпанную прошлогодним увядшим древесным листом, но здесь споткнулся на что-то мягкое. Это «мягкое» повернулось под ногами Аполлинария и заставило его упасть, а когда он стал вставать, то увидел, что это труп молодой крестьянской женщины. Он рассмотрел, что труп был в чистом белом сарафане с красным шитьем и... с перерезанным горлом, из которого лилась кровь...

От такой ужасной неожиданности, конечно, можно было перепугаться и закричать, – как он и сделал; но вот что было непонятно и удивительно: Аполлинарий, как я рассказываю, был от всех других в отдалении и один споткнулся о труп убитой, но все Аннушки и Роськи клялись и божились, что они тоже видели убитую...

– Иначе, – говорили они, – мы разве бы так испугались?

И я о сю пору уверен, что они не лгали, что они были глубоко уверены в том, что видели в Селивановом лесу убитую бабу в чистом крестьянском уборе с красным шитьем и с перерезанным горлом, из которого струилась кровь... Как это могло случиться?

Так как я пишу не вымысел, а то, что действительно было, то должен здесь остановиться и примолвить, что случай этот так и остался навсегда необъяснимым в доме нашем. Убитую и лежавшую, по словам Аполлинария, под листом в ямке женщину не мог видеть никто, кроме Аполлинария, ибо никого, кроме Аполлинария, здесь не было. Между тем все клялись, что все видели, точно эта мертвая баба в одно мгновение ока проявилась на всех местах под глазами у каждого. Кроме того, видел ли в действительности такую женщину и Аполлинарий? Едва ли это было

возможно, потому что дело это происходило в самую росталь, когда еще и снег не везде стоял. Древесный лист лежал под снегом с осени, а между тем Аполлинарий видел труп в чистом белом уборе с шитьем, и кровь из раны еще струилась... Ничего такого в этом виде положительного не могло быть, но между тем все крестились и клялись, что видели бабу как раз так, как сказано. И все после боялись ночью спать, и всем страшно было, точно все мы сделали преступление. Вскоре и я получил убеждение, что мы с братом тоже видели зарезанную бабу. Тут у нас началась всеобщая боязнь, окончившаяся тем, что все дело открылось родителям, а отец написал письмо исправнику – и тот приезжал к нам с предлинной саблей и всех расспрашивал по секрету в отцовском кабинете. Аполлинария исправник призывал даже два раза и во второй раз делал ему такое сильное внушение, что у того, когда он вышел, оба уха горели как в огне и из одного из них даже шла кровь.

Это мы тоже все видели.

Но как бы то ни было, мы нашими рассказами причинили Селивану много горя: его обыскивали, осматривали весь его лес и самого его содержали долгое время под караулом, но ничего подозрительного у него не нашли, и следов виденной нами убитой женщины тоже никаких не оказалось. Селиван опять вернулся домой, но это ему не помогло в общественном мнении; все с этих пор знали, что он несомненный, хотя и неуловимый злодей, и не хотели иметь с ним ровно никакого дела. А меня, чтобы я не подвергнулся усиленному воздействию поэтического элемента, отвезли в «благородный пансион», где я и начал усваивать себе общеобразовательные науки, в полной безмятежности, вплоть до приближения рождественских праздников, когда мне настало время ехать домой опять непременно мимо Селиванова двора и видеть в нем собственными глазами большие страхи.

Глава двенадцатая

Дурная репутация Селивана давала мне большой апломб между моими пансионскими товарищами, с которыми я делился моими сведениями об этом страшном человеке. Из всех моих пансионерских сверстников ни один еще не переживал таких страшных ощущений, какими я мог похвастаться, и теперь, когда мне опять предстояло проехать мимо Селивана, – к этому никто не отнесся безучастно и равнодушно. Напротив, большинство товарищей меня сожалели и прямо говорили, что они не хотели бы быть на

моем месте, а два или три смельчака мне завидовали и хвалились, что они бы очень хотели встретиться лицом к лицу с Селиваном. Но двое из этих были записные хвастунишки, а третий мог никого не бояться, потому что, по его словам, у его бабушки в старинном венецийском кольце был «таусинный камень», с которым к человеку «никакая беда непрístupна». У нас же в семье такой драгоценности не было, да и притом я должен был совершить мое рождественское путешествие не на своих лошадях, а с тетушкой, которая как раз перед Святками продала дом в Орле и, получив за него тридцать тысяч рублей, ехала к нам, чтобы там, в наших краях, купить давно приторгованное для нее моим отцом имение.

К досаде моей, сборы тетушки целые два дня задерживались какими-то важными деловыми обстоятельствами, и мы выехали из Орла как раз утром в Рождественский сочельник.

Ехали мы в просторной рогожной троечной кибитке, с кучером Спиридоном и молодым лакеем Борискою. В экипаже помещались тетушка, я, мой двоюродный брат, маленькие кузины и няня – Любовь Тимофеевна.

На порядочных лошадях при хорошей дороге до нашей деревеньки от Орла можно было доехать в пять или шесть часов. Мы приехали в Кромы в два часа и остановились у знакомого купца, чтобы напиться чаю и покормить лошадей. Такая остановка у нас была в обычае, да ее требовал и туалет моей маленькой кузины, которую еще пеленали.

Погода была хорошая, близкая почти к оттепели; но пока мы кормили лошадей, стало слегка морозить, и потом «закурило», то есть помело по земле мелким снежком.

Тетушка была в раздумье: переждать ли это или, напротив, поспешить, ехать скорее, чтобы успеть добраться к нам домой ранее, чем может разыгаться непогода.

Проехать оставалось с небольшим двадцать верст. Кучер и лакей, которым хотелось встретить праздник с родными и приятелями, уверяли, что мы успеем доехать благополучно – лишь бы только не медлить и выезжать скорее.

Мои желания и желания тетушки тоже вполне отвечали тому, чего хотели Спиридон и Бориска. Никто не хотел встретить праздник в чужом доме, в Кромах. Притом же тетушка была недоверчива и мнительна, а с нею теперь была такая значительная сумма денег, помещавшаяся в красного дерева шкатулочке, закрытой чехлом из толстого зеленого фризса.

Ночевать с таким денежным богатством в чужом доме тетушке казалось очень небезопасным, и она решила послушаться совета наших верных слуг.

С небольшим в три часа кибитка наша была запряжена, и мы выехали из Кром по направлению к раскольницкой деревне Колчеве; но едва лишь переехали по льду через реку Кром, как почувствовали, что нам как бы вдруг не достало воздуха, чтобы дышать полною грудью. Лошади бежали шибко, пофыркивали и мотали головами – это составляло верный признак, что и они тоже испытывали недостаток воздуха. Между тем экипаж несся особенно легко, точно его сзади подпихивали. Ветер был нам в зад и как бы гнал нас с усиленною скоро-стию к какой-то предначертанной меже. Скоро, однако, бойкий след по пути стал «заикаться»; по дороге пошли уже мягкие снеговые переносы, – они начали встречаться все чаще и чаще, наконец вскоре прежнего бойкого следа сделалось вовсе не видно.

Тетушка тревожно выглянула из возка, чтобы спросить кучера, верно ли мы держимся дороги, и сейчас же откинулась назад, потому что ее обдало мелкою холодною пылью, и, прежде чем мы успели дозваться к себе людей с козел, снег понесся густыми хлопьями, небо в мгновение стемнело, и мы очутились во власти настоящей снеговой бури.

Глава тринадцатая

Ехать назад к Кромам было так же опасно, как и ехать вперед. Даже позади чуть ли не было более опасности, потому что за нами осталась река, на которой было под городом несколько прорубей, и мы при метели легко могли их не разглядеть и попасть под лед, а впереди до самой нашей деревеньки шла ровная степь и только на одной седьмой версте – Селиванов лес, который в метель не увеличивал опасности, потому что в лесу должно быть даже тише. Притом в глубь леса проезжей дороги не было, а она шла по опушке. Лес нам мог быть только полезным указанием, что мы проехали половину дороги до дому, и потому кучер Спиридон погнал лошадей пошибче.

Дорога все становилась тяжелее и снежистее: прежнего веселого стука под полозьями не было и помина, а напротив, возок полз по рыхлому наносу и скоро начал бочить то в одну, то в другую сторону.

Мы потеряли спокойное настроение духа и начали чаще осведомляться о нашем положении у лакея и у кучера, которые давали нам ответы неопределенные и нетвердые. Они старались внушить нам уверенность в нашей безопасности, но, очевидно, и сами такой уверенности в себе не чувствовали.

Через полчаса скорой езды, при которой кнут Спиридона все чаще и

чаще щелкал по лошадам, мы были обрадованы восклицанием:

- Вот Селиванкин лес завиднелся.
- Далеко он? – спросила тетушка.
- Нет, вот совсем до него доехали.

Это так и следовало – мы ехали от Крон уже около часа, но прошло еще добрых полчаса – мы все едем, и кнут хлещет по коням все чаще и чаще, а леса нет.

- Что же это такое? Где Селиванов лес?

С козел ничего не отвечают.

- Где же лес? – переспрашивает тетушка. – Проехали мы его, что ли?

– Нет, еще не проезжали, – глухо, как бы из-под подушки, отвечает Спиридон.

- Да что же это значит?

Молчание.

- Подите вы сюда! Остановитесь! Остановитесь!

Тетушка выглянула из-за фартука и изо всех сил отчаянно крикнула: «Остановитесь!», а сама упала назад в возок, куда вместе с нею ввалилось целое облако снежных шапок, которые, подчиняясь влиянию ветра, еще не сразу сели, а тряслись, точно реющие мухи.

Кучер остановил лошадей, и прекрасно сделал, потому что они тяжело носили животами и шатались от усталости. Если бы им не дать в эту минуту передышки, бедные животные, вероятно, упали бы.

- Где ты? – спросила тетушка сошедшего Бориса.

Он был на себя не похож. Перед нами стоял не человек, а снежный столб. Воротник волчьей шубы у Бориса был поднят вверх и обвязан каким-то обрывком. Все это пропущено снегом и слепило в одну кучу.

Борис был не знаток дороги и робко отвечал, что мы, кажется, сбились.

- Позови сюда Спиридона.

Звать голосом было невозможно: метель всем затыкала рты и только сама одна ревела и выла на просторе с ужасающим ожесточением.

Бориска полез на козла, чтобы потянуть Спиридона, но... ему на это потребовалось потратить очень много времени, прежде чем он стал снова у возка и объяснил:

- Спиридона нет на козлах!
- Как нет! где же он?
- Я не знаю. Верно, сошел поискать следа. Позвольте, и я пойду.
- О господи! Нет, не надо, – не ходи; а то вы оба пропадете, и мы все замерзнем.

Услыхав это слово, я и мой кузен заплакали, но в это же самое

мгновение у возка рядом с Борисушкой появился снеговой столб, еще более крупный и страшный.

Это был Спиридон, надевший на себя запасной мочальный кулек, который стоял вокруг его головы, весь набитый и обмерзлый.

– Где же ты видел лес, Спиридон?

– Видел, сударыня.

– Где же он теперь?

– И теперь видно.

Тетушка хотела посмотреть, но ничего не увидела, все было темно. Спиридон уверял, что это оттого, что она «не обсмотремши»; но что он очень давно видит, как лес чернеет... только в том беда, что к нему подъезжаем, а он от нас отъезжает.

– Все это, воля ваша, Селивашка делает. Он нас куда-то заводит.

Услыхав, что мы попали в такую страшную пору в руки Селивашки, мы с кузеном заплакали еще громче, но тетушка, которая была по рождению деревенская барышня и потом полковая дама, она не так легко терялась, как городские дамы, которым всякие невзгоды меньше знакомы. У тетушки были опыт и сноровка, и они нас спасли из положения, которое в самом деле было очень опасно.

Глава четырнадцатая

Не знаю: верила или не верила тетушка в злое волшебство Селивана, но она прекрасно сообразила, что теперь всего важнее для нашего спасения, чтобы не выбились из сил наши лошади. Если лошади изнурятся и станут, а мороз закрепчает, то все мы непременно погибнем. Нас удушит буря и мороз заморозит. Но если лошади сохранят силу для того, чтобы брести как-нибудь, шаг за шагом, то можно питать надежду, что кони, идучи по ветру, сами выйдут как-нибудь на дорогу и привезут нас к какому-нибудь жилью. Пусть это будет хоть нетопленая избушка на курьих ножках в овражке, но все же в ней хоть не бьет так сердито вьюга и нет этого дерганья, которое ощущается при каждом усилии лошадей переставить их усталые ноги... Там бы можно было уснуть... Уснуть ужасно хотелось и мне и моему кузену. На этот счет из нас счастлива была только одна маленькая, которая спала за теплою заячьей шубкой у няни, но нам двум не давали засыпать. Тетушка знала, что это страшно, потому что сонный скорее замерзнет. Положение наше с каждой минутой становилось хуже, потому что лошади уже едва шли и сидевшие на козлах кучер и лакей

начали от стужи застывать и говорить невнятным языком, а тетушка перестала обращать внимание на меня с братом, и мы, прижавшись друг к другу, разом уснули. Мне даже виделись веселые сны: лето, наш сад, наши люди, Аполлинарий, и вдруг все это перескочило к поездке за ландышами и к Селивану, про которого не то что-то слышу, не то только что-то припоминаю. Все спуталось... так что никак не разберу, что происходит во сне, что наяву. Чувствуется холод, слышится вой ветра и тяжелое хлопанье рогожки на крышке возка, а прямо перед глазами стоит Селиван, в свитке на одно плечо, а в вытянутой нам руке держит фонарь... Видение это, сон или картина фантазии?

Но это был не сон, не фантазия, а судьбе действительно угодно было привести нас в эту страшную ночь в страшный двор Селивана, и мы не могли искать себе спасения нигде в ином месте, потому что кругом не было вблизи никакого другого жилья. А между тем с нами была еще тетушкина шкатулка, в которой находилось тридцать тысяч ее денег, составлявших все ее состояние. Как остановиться с таким соблазнительным богатством у такого подозрительного человека, как Селиван?

Конечно, мы погибли! Впрочем, выбор мог быть только в том, что лучше – замерзнуть ли на вьюге или пасть под ножом Селивана и его злых сообщников?

Глава пятнадцатая

Как во время короткого мгновения, когда сверкнет молния, глаз, находившийся в темноте, вдруг различает разом множество предметов, так и при появлении осветившего нас Селиванова фонаря я видел ужас всех лиц нашего бедствующего экипажа. Кучер и лакей чуть не повалились перед ним на колена и остолбенели в наклоне, тетушка подалась назад, как будто хотела продавить спинку кибитки. Няня же припала лицом к ребенку и вдруг так сократилась, что сама сделалась не больше ребенка.

Селиван стоял молча, но... в его некрасивом лице я не видал ни малейшей злости. Он теперь казался только сосредоточеннее, чем тогда, когда нес меня на закорках. Оглядев нас, он тихо спросил:

– Отогреться, что ли?..

Тетушка оправилась скорее других и ответила ему:

– Да, мы замерзаем... Спаси нас!

– Пусть Бог спасет! Въезжайте – изба топленая.

И он сошел с порога и стал светить фонарем в кибитке. Между

прислугою, тетушкой и Селиваном перекидывались отдельные коротенькие фразы, обнаружившие со стороны нашей недоверие к хозяину и страх, а со стороны Селивана какую-то далеко скрытую мужичью иронию и, пожалуй, тоже своего рода недоверие.

Кучер спрашивал, есть ли корм лошадям?

Селиван отвечал:

– Поищем.

Лакей Борис узнавал, есть ли другие проезжие?

– Взойдешь – увидишь, – отвечал Селиван.

Няня проговорила:

– Да у тебя не страшно ли оставаться?

Селиван отвечал:

– Страшно, так не заходи.

Тетушка остановила их, сказавши каждому как могла тише:

– Оставьте, не перекоряйтесь, – все равно это ничему поможет. Дальше ехать нельзя. Останемся на волю божью.

И между тем, пока шла эта перемолвка, мы очутились в дощатом отделении, отгороженном от просторной избы. Впереди всех вошла тетушка, а за нею Борис внес ее шкатулку. Потом вошли мы с кузеном и няня.

Шкатулку поставили на стол, а на нее поставили жестяной оплывший салом подсвечник с небольшим огарком, которого могло достать на один час, не больше.

Практическая сообразительность тетушки сейчас же обратилась к этому предмету, то есть к свечке.

– Прежде всего, – сказала она Селивану, – принеси-ка мне, батюшка, новую свечку.

– Вот свечка.

– Нет, ты дай новую, целую!

– Новую, целую? – переспросил Селиван, опираясь одною рукою на стол, а другою о шкатулку.

– Давай поскорей новую целую свечку.

– Зачем тебе целую?

– Это не твое дело – я не скоро спать лягу. Может быть, буря пройдет – мы поедем.

– Буря не пройдет.

– Ну все равно – я тебе за свечку заплачу.

– Знамо заплатила б, да нет у меня свечки.

– Поищи, батюшка!

– Что неположенного искать попусту!

В этот разговор вмешался неожиданно слабый-преслабый тонкий голос из-за перегородки.

– Нет у нас, матушка, свечечки.

– Кто это говорит? – спросила тетушка.

– Моя жена.

Лица тетки и няни немножко просияли. Близкое присутствие женщины, казалось, имело что-то ободряющее.

– Что она, больна, что ли?

– Больна.

– Чем?

– Хворостью. Ложитесь, мне огарок в фонарь нужен. Надо лошадей ввесть.

И как с Селиваном ни разговаривали, он настоял на своем: что огарок ему необходим, да и только. Он обещал принести его снова – но пока взял его и вышел.

Исполнил ли Селиван свое обещание принести назад огарок, – этого я уже не видел, потому что мы с кузеном опять спали, но меня, однако, что-то тревожило. Сквозь сон я слышал иногда шушуканье тетушки с няней и улавливал в этом шепоте чаще всего слово «шкатулка».

Очевидно, няня и другие наши люди знали, что в этом ларце сокрыты большие драгоценности, и все заметили, что шкатулка с первого же мгновения остановила на себе алчное внимание нашего неблагонадежного хозяина.

Обладавшая большою житейскою опытностью, тетушка моя видела явную необходимость подчиняться обстоятельствам, но зато тотчас же сделала соответственные опасному положению распоряжения.

Чтобы Селиван не зарезал нас, решено было, чтобы никто не спал. Лошадей велено было выпрячь, но не снимать с них хомутов, и кучеру с лакеем сидеть обоим в повозке: они не должны были разъединяться, потому что поодиночке Селиван их перебьет, и мы тогда останемся беспомощны. Тогда он убьет, конечно, и нас и всех нас зарует под полом, где зарыто уже и без того множество жертв его лютости. В избе с нами кучер и лакей не могли быть оставлены, потому что тогда Селиван обрежет гужи в коренном хомуте, чтобы нельзя было запрещь лошадей, или совсем сдаст всю тройку своим товарищам, которые у него пока где-то припрятаны. В таком случае нам не на чем будет и спасаться, между тем как очень может статься, что метель скоро уляжется, и тогда кучер станет запрягать, а Борис стукнет три раза в стенку, и мы все бросимся на двор,

сядем и уедем. Для того чтобы быть постоянно наготове, и из нас никто не раздевался.

Не знаю, долго ли или коротко шло время для прочих, но для нас, двух спящих мальчиков, оно пролетело как одно мгновение, которое вдруг завершилось ужаснейшим пробуждением.

Глава шестнадцатая

Я проснулся оттого, что мне стало невыносимо тяжело дышать. Открыв глаза, я не увидел ничего ровно, потому что вокруг меня было темно, но только в отдалении что-то как будто серело: это обозначалось окно. Но зато, как при свете Селиванова фонаря я разом увидел лица всех бывших на той ужасной сцене людей, так теперь я в одно мгновение вспомнил все – кто я, где я, зачем я здесь, кто есть у меня милые и дорогие в отцовском доме, – стало всего и всех жалко, и больно, и страшно, и мне хотелось закричать, но это-то и было невозможно. Мои уста были зажаты плотно человеческою рукою, а на ухо трепетный голос шептал мне:

– Ни звука, молчи, ни звука! Мы погибли – к нам ломаются.

Я узнал теткин голос и пожал ее руку в знак того, что я понимаю ее требование.

За дверями, которые выходили в сени, слышался шорох... кто-то тихо переступал с ноги на ногу и водил по стене руками... Очевидно, этот злодей искал, но никак не мог найти двери...

Тетушка прижала нас к себе и прошептала, что Бог нам еще может помочь, потому что в дверях ею устроено укрепление. Но в это же самое мгновение, может быть именно потому, что мы выдали себя своим шепотом и дрожью, за тесовой перегородкой, где была изба и откуда при разговоре о свечке отзывалась жена Селивана, кто-то выбежал и сцепился с тем, кто тихо подкрадывался к нашей двери, и они вдвоем начали ломиться; дверь затрещала, и к нашим ногам полетели стол, скамья и чемоданы, которыми заставилась тетушка, а в самой распахнувшейся двери появилось лицо Борисушки, за шею которого держались могучие руки Селивана...

Увидав это, тетушка закричала на Селивана и бросилась к Борису.

– Матушка! Бог спас, – хрипел Борис.

Селиван принял свои руки и стоял.

– Скорее, скорей вон отсюда, – заговорила тетушка. – Где наши лошади?

– Лошади у крыльца, матушка, я только хотел вас вызвать... А этот

разбойник... Бог спас, матушка! – лепетал скороговоркою Борис, хватая за руки меня и моего кузена и забирая по дороге все, что попало. Все врозь бросились в двери, вскочили в повозку и понеслись вскачь сколько было конской мочи. Селиван, казалось, был жестоко переконфужен и смотрел нам вслед. Он, очевидно, знал, что это не может пройти без последствий.

На дворе теперь светало, и перед нами на востоке горела красная, морозная рождественская заря.

Глава семнадцатая

Мы доехали до дому не более как в полчаса, во все время безумолчно толкуя о пережитых нами страхах. Тетушка, няня, кучер и Борис все перебивали друг друга и беспрестанно крестились, благодаря Бога за наше удивительное спасение. Тетушка говорила, что она не спала всю ночь, потому что ей беспрестанно слышалось, как кто-то несколько раз подходил, пробовал отворить двери. Это и понудило ее загромоздить вход всем, что попало под ее руки. Она тоже слышала какой-то подозрительный шепот за перегородкою у Селивана, и ей казалось, что он раз тихонько отворял свою дверь, выходил в сени и тихонько пробовал за скобку нашей двери. Все это слышала и няня, хотя она, по ее словам, минутами засыпала. Кучер и Борис видели более всех. Боясь за лошадей, кучер не отходил от них ни на минуту, но Борисушка не раз подходил к нашим дверям и всякий раз, как подходил он, – сию же минуту появлялся из своих дверей и Селиван. Когда буря перед рассветом утихла, кучер и Борис тихонько запрягли лошадей и тихонько же выехали, сами отперев ворота; но когда Борис также тихо подошел опять к нашей двери, чтобы нас вывести, тут Селиван увидал, что добыча уходит у него из рук, бросился на Бориса и начал его душить. Слава богу, конечно, что это ему не удалось, и он теперь уже не отделается одними подозрениями, как отделялся до сих пор: его злые намерения были слишком ясны и слишком очевидны, и все это происходило не с глазу на глаз с каким-нибудь одним человеком, а при шести свидетелях, из которых тетушка одна стоила по своему значению нескольких, потому что она слыла во всем городе умницею и к ней, несмотря на ее среднее состояние, заезжал с визитами губернатор, а наш тогдашний исправник был ей обязан устройством своего семейного благополучия. По одному ее слову он, разумеется, сейчас же возьмется расследовать дело по горячим следам, и Селивану не миновать петли, которую он думал накинуть на наши шеи.

Сами обстоятельства, казалось, слагались так, что все собиралось к

немедленному отмщению за нас Селивану и к наказанию его за зверское покушение на нашу жизнь и имущество.

Подъезжая к своему дому, за родником на горе, мы встретили верхового парня, который, завидев нас, чрезвычайно обрадовался, заболтал ногами по бокам лошади, на которой ехал, и, сняв издали шапку, подскакал к нам с сияющим лицом и начал рапортовать тетушке, какое мы причинили дома всем беспокойство.

Оказалось, что отец, мать и все домашние тоже не спали. Нас непременно ждали, и с тех пор, как вечером начала разыгрываться метель, все были в большой тревоге – не сбились ли мы с дороги или не случилось ли с нами какое-нибудь другое несчастье: могла сломаться в ухабе оглобля, – могли напасть волки... Отец высылал навстречу нам несколько человек верховых людей с фонарями, но буря рвала из рук и гасила фонари, да и ни люди, ни лошади никак не могли отбиться от дома. Топочется человек очень долго – все ему кажется, будто он едет против бури, и вдруг остановка, и лошадь ни с места далее. Седок ее понуждает, хотя и сам едва дышит от задухи, но конь не идет... Вершник слезет, чтобы взять повод и провести оробевшее животное, и вдруг, к удивлению своему, открывает, что лошадь его стоит, упершись лбом в стену конюшни или сарая... Только один из разведчиков уехал немножко далее и имел настоящую дорожную встречу: это был шорник Прохор. Ему дали выносную фореиторскую лошадь, которая закусывала между зубами удила, так что железо до губ ее не дотрагивалось, и ей через то становились нечувствительны никакие удержки. Она и понесла Прохора в самый ад метели и скакала долго, брыкая задом и загибая голову к передним коленам, пока, наконец, при одном таком вольте шорник перелетел через ее голову и всю свою фигуру ввалился в какую-то странную кучу живых людей, не оказавших, впрочем, ему с первого раза никакого дружелюбия. Напротив, из них кто-то тут же снабдил его тумакон в голову, другой сделал поправку в спину, а третий стал мять ногами и приталкивать чем-то холодным, металлическим и крайне неудобным для ощущения.

Прохор был малый не промах, – он понял, что имеет дело с особенными существами, и неистово закричал.

Испытываемый им ужас, вероятно, придал его голосу особенную силу, и он был немедленно услышан. Для спасения его тут же, в трех от него шагах, показалось «огненное светение». Это был огонь, который выставили на окне в нашей кухне, под стеною которой приютились исправник, его письмоводитель, рассыльный солдат и ямщик с тройкою лошадей, увязших в сугробе.

Они тоже сбились с дороги и, попав к нашей кухне, думали, что находятся где-то на лугу у сенового омета.

Их откопали и просили кого на кухню, кого в дом, где исправник теперь и кушал чай, собираясь поспеть к своим в город ранее, чем они проснутся и встревожатся его отсутствием после такой ненастной ночи.

– Вот это прекрасно, – сказала тетушка, – исправник теперь всех нужнее.

– Да! он барин хватский, – он Селивашке задаст! – подхватили люди, и мы понеслись вскачь и подкатили к дому, когда исправникова тройка стояла еще у нашего крыльца.

Сейчас исправнику все расскажут, и через полчаса разбойник Селиван будет уже в его руках.

Глава восемнадцатая

Мой отец и исправник были поражены тем, что мы перенесли в дороге и особенно в разбойничьем доме Селивана, который хотел нас убить и воспользоваться нашими вещами и деньгами...

Кстати, о деньгах. При упоминании о них тетушка сейчас же воскликнула:

– Ах, боже мой! да где же моя шкатулка?

В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи?

Представьте себе, что ее не было! Да, да, ее-то одной только и не было ни в комнатах между внесенными вещами, ни в повозке – словом, нигде... Шкатулка, очевидно, осталась там и теперь – в руках Селивана... Или... может быть, даже он ее еще ночью выкрал. Ему ведь это было возможно; он, как хозяин, мог знать все щелки своего дрянного дома, и этих щелок у него, наверно, немало. Могла у него быть и подъемная половица и приставная дощечка в перегородке.

И едва только опытным в выслеживании разбойничьих дел исправником было высказано последнее предположение о приставной дощечке, которую Селиван мог ночью тихонько отставить и через нее утащить шкатулку, как тетушка закрыла руками лицо и упала в кресло.

Боясь за свою шкатулку, она именно спрятала ее в уголок под лавкою, которая приходилась к перегородке, отделяющей наше ночное помещение от той части избы, где оставался сам Селиван с его женою...

– Ну, вот оно и есть! – воскликнул, радуясь верности своих опытных соображений, исправник. – Вы сами ему подставили вашу шкатулку!., но я

все-таки удивляюсь, что ни вы, ни люди, никто ее не хватился, когда вам пришло время ехать.

– Да боже мой! мы были все в таком страхе! – стонала тетушка.

– И это правда, правда; я вам верю, – говорил исправник, – вам было чего напугаться, но все-таки... такая большая сумма... такие хорошие деньги. Я сейчас скачу, скачу туда... Он, верно, уже скрылся куда-нибудь, но он от меня не уйдет! Наше счастье, что все знают, что он вор, и все его не любят: его никто не станет скрывать... А впрочем – теперь у него в руках есть деньги... он может делиться... Надо спешить... Народ ведь шельма... Прощайте, я еду. А вы успокойтесь, примите капли... Я их воровскую натуру знаю и уверяю вас, что он будет пойман.

И исправник опоясался своею саблею, как вдруг в передней послышалось между бывшими там людьми необыкновенное движение, и... через порог в залу, где все мы находились, тяжело дыша, вошел Селиван с тетушкиной шкатулкой в руках.

Все вскочили с мест и остановились как вкопанные...

– Укладочку забыли, возьмите, – глухо произнес Селиван.

Более он ничего не мог говорить, потому что совсем задыхался от непомерной скорой ходьбы и, может быть, от сильного внутреннего волнения.

Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прощенный, сел на стул и опустил голову и руки.

Глава девятнадцатая

Шкатулка была в полной целости. Тетушка сняла с шеи ключик, отперла ее и воскликнула:

– Все, все как было!

– Сохранно... – тихо молвил Селиван. – Я все бег за вами... хотел догнать... не сдужал... Простите, что сию перед вами... задохнулся.

Отец первый подошел к нему, обнял его и поцеловал в голову.

Селиван не трогался.

Тетушка вынула из шкатулки две сотенные бумажки и стала давать их ему в руки.

Селиван продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал.

– Возьми что тебе дают, – сказал исправник.

– За что? – не надо!

– За то, что ты честно сберег и принес забытые у тебя деньги.

– А то как же? Разве надо не честно?
– Ну, ты... хороший человек... ты не подумал утаить чужое.
– Утаить чужое!.. – Селиван покачал головой и добавил: – Мне не надо чужого.
– Но ведь ты беден – возьми это себе на поправку! – ласкала его тетушка.

– Возьми, возьми, – убеждал его мой отец. – Ты имеешь на это право.
– Какое право?

Ему сказали про закон, по которому всякий, кто найдет и возвратит потерянное, имеет право на третью часть находки.

– Что такой за закон, – отвечал он, снова отстраняя от себя тетушкину руку с бумажками. – Чужою бедою не разживешься... Не надо! – прощайте!

И он встал с места, чтобы идти назад к своему опороченному дворишку, но отец его не пустил: он взял его к себе в кабинет и заперся там с ним на ключ, а потом через час велел запречь сани и отвезти его домой.

Через день об этом происшествии знали в городе и в округе, а через два дня отец с тетушкой поехали в Кромы и, остановясь у Селивана, пили в его избе чай и оставили его жене теплую шубу. На обратном пути они опять заехали к нему и еще привезли ему подарков: чаю, сахару и муки. Он брал все вежливо, но неохотно и говорил:

– На что? Ко мне теперь, вот уже три дня, все стали люди заезжать... пошел доход... щи варили... Нас не боятся, как прежде боялись.

Когда меня повезли после праздников в пансион, со мною опять была к Селивану посылка, и я пил у него чай и все смотрел ему в лицо и думал:

«Какое у него прекрасное, доброе лицо! Отчего же он мне и другим так долго казался пугалом?»

Эта мысль преследовала меня и не оставляла в покое... Ведь это тот же самый человек, который всем представлялся таким страшным, которого все считали колдуном и злодеем. И так долго все выходило похоже на то, что он только тем и занят, что замышляет и устраивает злодеяния. Отчего же он вдруг стал так хорош и приятен?

Глава двадцатая

Я был очень счастлив в своем детстве в том отношении, что первые уроки религии мне были даны превосходным христианином. Это был орловский священник Оstromыслений – хороший друг моего отца и друг всех нас, детей, которых он умел научить любить правду и милосердие. Я

не рассказывал товарищам ничего о том, что произошло с нами в рождественскую ночь у Селивана, потому что во всем этом не было никакой похвалы моей храбрости, а, напротив, над моим страхом можно было посмеяться, но я открыл все мои приключения и сомнения отцу Ефиму.

Он меня поласкал рукою и сказал:

– Ты очень счастлив; твоя душа в день Рождества была – как ясли для святого младенца, который пришел на землю, чтоб пострадать за несчастных. Христос озарил для тебя тьму, которою окутывало твое воображение – пусторечие темных людей. Пугало было не Селиван, а вы сами, – ваша к нему подозрительность, которая никому не позволяла видеть его добрую совесть. Лицо его казалось вам темным, потому что око ваше было темно. Наблюдай это для того, чтобы в другой раз не быть таким же слепым.

Это был совет умный и прекрасный. В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и имел счастье видеть, как он у всех сделался человеком любимым и почетным.

В новом имении, которое купила тетушка, был хороший постоянный двор на проезжем трактовом пункте. Этот двор она и предложила Селивану на хороших для него условиях, и Селиван это принял и жил в этом дворе до самой своей кончины. Тут сбылись мои давние детские сны: я не только близко познакомился с Селиваном, но мы питали один к другому полное доверие и дружбу. Я видел, как изменилось к лучшему его положение – как у него в доме водворилось спокойствие и мало-помалу заводился достаток; как вместо прежних хмурых выражений на лицах людей, встречавших Селивана, теперь все смотрели на него с удовольствием. И действительно, вышло так, что как только просветились очи окружавших Селивана, так сделалось светлым и его собственное лицо.

Из тетушкиных людей Селивана особенно не любил лакей Борисушка, которого Селиван чуть не задушил в ту памятную нам рождественскую ночь.

Над этой историей иногда подшучивали. Случай этот и объяснялся тем, что как у всех было подозрение – не ограбил бы тетушку Селиван, так точно и Селиван имел сильное подозрение: не завезли ли нас кучер и лакей на его двор нарочно с тем умыслом, чтобы украсть здесь ночью тетушкины деньги и потом свалить все удобнейшим образом на подозрительного Селивана.

Недоверие и подозрительность с одной стороны вызывали недоверие же и подозрения – с другой, – и всем казалось, что все они – враги между

собою и все имеют основание считать друг друга людьми, склонными ко злу.

Так всегда зло родит другое зло и побеждается только добром, которое, по слову Евангелия, делает око и сердце наше чистыми.

Глава двадцать первая

Остается досказать, отчего же, однако, с тех пор, как Селиван ушел от калачника, он стал угрюм и скрытен? Кто тогда его огорчил и оттолкнул?

Отец мой, будучи расположен к этому доброму человеку, все-таки думал, что у него есть какая-то тайна, которую Селиван упорно скрывает.

Это так и было, но Селиван открыл свою тайну одной только тетушке моей, и то после нескольких лет жизни в ее имении и после того, когда у Селивана умерла его всегда болевшая жена.

Когда я раз приехал к тетушке, бывши уже юношею, и мы стали вспоминать о Селиване, который и сам незадолго перед тем умер, то тетушка рассказала мне его тайну.

Дело заключалось в том, что Селиван, по нежной доброте своего сердца, был тронут горестной судьбою беспомощной дочери умершего в их городе отставного палача. Девочку эту никто не хотел приютить, как дитя человека презренного. Селиван был беден, и притом он не мог решиться держать у себя палачову дочку в городке, где ее и его все знали. Он должен был скрывать от всех ее происхождение, в котором она была неповинна. Иначе она не избежала бы тяжких попреков от людей, неспособных быть милостивыми и справедливыми. Селиван скрывал ее потому, что постоянно боялся, что ее узнают и оскорбят, и эта скрытность и тревога сообщились всему его существу и отчасти на нем отпечатались.

Так, каждый, кто называл Селивана «пугалом», в гораздо большей мере сам был для него «пугалом».

1885

Фигура

Глава первая

Когда я еще просвещался в Киеве и в отдаленных думах не имел заниматься писательством, у меня завязалось одно знакомство с бедным, но благородным семейством, жившим в маленьком собственном домике в

самом отдаленном краю города, близ упраздненного Кирилловского монастыря. Семейство состояло из двух пожилых сестер, девушек, и из третьей – старушки, их тетки, – тоже девушки. Жили они скромно, на очень маленькую пенсию и на доход от своих коров и от своего огорода. В гостях у них бывали только три человека: известный русский аболиционист Дмитрий Петрович Журавский, я и еще оригинальный, с виду совсем похожий на крестьянина человек, которого фамилия была Вигура, но все называли его «Фигура».

Об нем здесь и будет поминальная речь.

Глава вторая

Фигура, или, по малороссийскому простому выговору, «Хвыгура», во время моего знакомства имел лет около шестидесяти, но обладал еще значительную силою и никогда не жаловался на нездоровье. Он имел огромный рост и атлетическое сложение: волосы у него были густые, коричневые, почти без проседи, но усы «сивые». По собственному его выражению, он «сивив з морды – як пес», то есть седел, начиная не с головы, а с усов – как седеют старые собаки. Борода у него тоже была бы седая, но он ее брил. Глаза у Фигуры были большие, серые с поволокою, губы румяные, цвет лица смуглый и загорелый. Взгляд его имел выражение смелое, умное и с оттенком затаенной малороссийской иронии.

Жил Фигура совершенным, настоящим подгородным мужиком, на предместий Куриневке, «у своей господи», то есть в собственной усадьбе и при собственном хозяйстве, которое вел в сотрудничестве молодой и чрезвычайно красивой крестьянки Христа. Фигура все работал своими собственными руками и все содержал в простом, но безукоризненном порядке. Он сам «копал огород», сам его возделывал и засеивал овощами и сам же вывозил эти овощи на Подол, на Житний базар, где становился со своею телегою в ряду с другими приезжими мужиками и продавал свои огурцы, гарбузы (тыквы), дыни, капусту, бураки и репку.

Торговал Фигура лучше других, потому что его овощи всегда отличались лучшим достоинством. Особенно славились его нежные и сладкие тыквы, чрезвычайно больших размеров, доходившие иногда до пуда веса.

Также и огурцы, и бураки, и капуста – все у Фигуры было самое рослое и самое лучшее.

Перекупки подольского Житнего базара знали, что «проть Хвыгуры

уже не учкнешь», – то есть лучше его ни у кого не достанешь, – но он не любил продавать перекупкам, «щоб людей не мордовали», а продавал прямо «людям», то есть прямым потребителям.

К перекупам и перекупкам Фигура «мав зуба» (имел зуб) и любил проникать в хитрости этих людей и их вышучивать. Как, бывало, перекуп или перекупка ни переоденутся или кого ни подошлют к возу с подсыллом, чтобы забрать товар у Фигуры, – он, бывало, это сейчас проникнет и на вопрос «почем коп?» – отвечает:

– По деньгам, але тыльки шкода, що не для твоей милости.

Если же подсылный станет уверять, что он простой человек и торгует «для сэбе», то Фигура, не вынимая из губ трубки, скажет ему:

– Эге! ну, не юлы – бо не покуришь! – и больше не станет разговаривать.

Фигуру все знали на базаре и знали, что он «як бы то не с простых людей, а тыльки опростывся», но настоящего его чина и звания и того – почему он так «опростывся» – не знали и узнать этого не добивались.

Я тоже долго этого не знал, а настоящего его чина и теперь не знаю.

Глава третья

Домик у Фигуры был обыкновенная малороссийская мазанка, разделенная, впрочем, на комнатку и кухню. Ел он пищу всегда растительную и молочную, но самую простую – крестьянскую, которую ему готовила вышеупомянутая замечательной красоты хохлушка Христя. Христя была «покрытка», то есть девушка, имевшая дитя. Дитя это была прехорошенькая девочка, по имени Катря. По соседству думали, что она «хвыгурина дочка», но Фигура на это делал гримасу и, пыхнув губами, отвечал:

– Так-то оно и есть, що моя! Правда, що як бог мени дав щасте, щоб ее кормить, то тим вона теперечки моя, – а кто ее на свит бидовать пустив, то я вже того добродил не знаю. Але як кто хоче – нехай так и личе: як моя – то нехай моя, – мени все едино.

Но насчет Катри еще немножко сомневались; а что касается самой красавицы Христи, то ее уже считали за «дружину» Фигуры без всяких сомнений.

Фигура и к этому тоже пребывал равнодушен, и если ему кто-нибудь Христей подшучивал, так он отвечал только:

– А вам хиба завидно?

Зато же и Фигура и Христя, да и ни в чем не повинная Катря несли епитимию: из них трех никто не употреблял в пищу ни мяса, ни рыб – словом, ничего, имеющего сознание жизни.

Куриневские жинки знали, за что эта епитимия положена.

Фигура же только усмеялся и говорил:

– Дуры!

Глава четвертая

Отношения у Христи с Фигурою были премилые, но такие, что ничего ясно не раскрывали.

Христя держалась в доме не как наймычка при хозяйке, а как будто своя родная, живущая у родственника. Она «тягала воду» из колодца, мыла полы, и хату мазала, и белье стирала, и шила себе, Катре и Фигуре, но коров не доила, потому что коровы были «мощные», и их выдаивал сам Фигура соответственными к сему великомощными руками. Обедали они все трое за одним столом, к которому Христя «подносила» и «убирала». Чаю не пили вовсе, «бо це пуста повадка», а в праздники пили сушеные вишни или малину – и опять все за одним столом. Гости у них бывали только те пожилые барышни, Журавский да я. При нас Христя «бигала и митусилась», то есть хлопотала, и ее с трудом можно было усадить на минуту; но когда гости вставали, чтоб уходить, Христя быстро срывалась с места и неудержимо стремилась подавать всем верхнее платье и калоши. Гости сопротивлялись ее услугам, но она настаивала, и Фигура за нее заступался; он говорил гостям:

– Позвольте ей свою присягу исполнить.

Христя успокаивалась только тогда, когда гости позволяли ей себя «одеть и обуть як слид по закону». В этом была «ее присяга» – ее служебное назначение, которому простодушная красавица оставалась преданною и верной.

В разговоре между собою Фигура и Христя относились друг к другу в разных формах: Фигура говорил ей «ты» и называл ее Христино или Христя, а она ему говорила «вы» и называла его по имени и отчеству. Девочку Катрю оба они называли «дочкою», а она кликала Фигуру «татою», а Христю «мамой». Катре было девять лет, и она была вся в мать – красавица.

Глава пятая

Родственных связей ни у Фигуры, ни у Христи никаких не было. Христя была «безродна сиротина», а у Фигуры (правильно Вигуры) хотя и были родственники, из которых один служил даже в университете профессором, – но наш куриневский Фигура с этими Вигурами никаких сношений не имел – «бо воны з панами знались», а это, по мнению Фигуры, не то что нехорошо, а «якось – не до шмыги» (то есть не идет ему).

– Бог их церковный знае: они вже може яки ассесоры, чи якись таки сяки советники, а мы, як и з рыла бачите – из простых свиней.

В основе же своего характера и всех поступков куриневский Фигура был такая оригинальная личность, что даже снимает всю нелепость с пословицы, внушающей ценить человека битого – дороже небитого.

Вот один его поступок, имевший значение для всей его жизни, которая через этот самый поступок и определилась. О нем едва ли кто знал и едва ли знает, а я об этом слышал от самого Фигуры и перескажу, как помню.

Глава шестая

Я жил в Киеве, в очень многолюдном месте, между двумя храмами – Михайловским и Софийским, – и тут еще стояли тогда две деревянные церкви. В праздники здесь было так много звона, что бывало трудно выдержать, а внизу по всем улицам, сходящим к Крещатику, были кабаки и пивные, а на площадке балаганы и качели. Ото всего этого я спасался на такие дни к Фигуре. Там была тишина и покой: играло на травке красивое дитя, светили добрые женские очи, и тихо разговаривал всегда разумный и всегда трезвый Фигура.

Раз я ему и стал жаловаться на беспокойство, спозаранку начавшееся в моем квартале, а он отвечает:

– И не говорите. Я сам нашего русского празднования с детства переносить не могу, и все до сих пор боюсь: как бы какой беды не было. Бывало, нас кадетами проводят под качели и еще говорят: «Смотрите – это народное!» А мне еще и тогда казалось: что тут хорошего – хоть бы это и народное! У Исаии пророка читается: «праздники ваши ненавидит душа моя», – и я недаром имел предчувствие, что со мною когда-нибудь в этом разгуле дурное случится. Так и вышло, да только хорошо, что все дурное тогда для меня поворотилось на доброе.

– А можно узнать, что это такое было?

– Я думаю, что можно. Видите... это еще когда вы у бабушки в рукаве

сидели, – тогда у нас были две армии: одна называлась первая, а другая – вторая. Я служил под Сакеном... Вот тот самый Ерофеич, что и теперь еще все акафисты читает. Великий, бог с ним, был богомолец, все на коленях молился, а то еще на пол ляжет и лежит, и лежит долго, и куда ни идет, и что ни берет – все крестится. Ему тогда и многие другие в этом в армии старались подражать и заискивали, чтоб он их видел... Которые умели – хорошо выходило... И мне это раз помогло так, что я за это до сих пор пенсию получаю. Вот каким это было случаем.

Глава седьмая

Полк наш стоял на юге, в городе, – тут же был и штаб сего Ерофеича. И попало мне идти в караул к погребам с порохом, под самое Светлое воскресенье. Заступил я караул в двенадцать часов дня в чистую субботу, и стоять мне до двенадцати часов в воскресенье.

Со мною мои армейские солдаты, сорок два человека, и шесть объездных казаков.

Стал надходить вечер, и мне вдруг начало делаться чего-то очень грустно. Молодой человек был, и привязанности были семейные. Родители еще были живы и сестра... но, самое главное, и драгоценнейшее матери... ма-ти моя добродетельница!.. Чудесная у меня была матери – предобрая и пренепорочная – добром скрытая и в добре повитая... До того была милостива, что никого не могла огорчить, ни человека, ни животного, – даже ни мяса, ни рыбы не кушала, из сожаления к животным. Отец, бывало, спорит: «Помилуй, скажи: сколько ж их разродится? Деваться будет некуда». А она отвечает: «Ну, это еще когда-то будет, а я этих сама выкормила, так они мне как родные. Я не могу своих родных есть». И у соседей не ела: «Этих, – говорила, – я живых видела: они мне знакомые, – не могу есть своих знакомых». А потом и незнакомых не стала кушать. «Все равно, – говорит, – с ними убийство сделано». Священник ее уговаривал, что «это от Бога показано», и в требнике на освящение мясов молитву показывал, но ее не переспорил. «Ну, и хорошо, – отвечала она, – як вы прочитали, то вы и кушайте». Священник сказал отцу, что это все делают какие-нибудь «поныряющие в дома и прельщающие женища, всегда учащесь и ни коли же в разум прийти могущие». А мать говорит отцу: «Се пустое: я никаких поныряющих не знаю, а так просто противно мне, чтобы одно другое поедало».

Я о моей матери никогда не могу вспоминать спокойно, – непременно

расстроюсь. Так случилось и тогда. Скучно по матери! Хожу-похожу, соломинку зубами со скуки кусаю и думаю: вот она теперь всех провожает в село, с вечера на заутреню, а сама сироток сберет, не одетых, невычесанных, – всех сама у печки перемочет, головенки им вычешет и чистые рубахи наденет... Как с ней радостно! Если бы я не дворянин был, я при ней бы и жил и работал бы, а не в карауле стоял. Что мы такое караулим?.. Все для смертного бою... А впрочем, что я так очень скучаю... Стыдно!.. Я ведь жалованье за службу получаю и чинов заслуживаю, а вон солдат – он совсем безнадежный человек, да еще бьют его без милосердия, – ему куда для сравнения тяжелее... а ведь живет же, терпит и не куксится... Бодрости себе надо поддать – все и пройдет. Что, думаю, самое лучшее может человек сделать, если ему самому тяжело? То, другое, третье приходит в голову, и, наконец, опять самое ясное приходит от матери: она, бывало, говорит: «Когда самому худо, тогда поспеши к тем, кому еще хуже, чем тебе»... Ну вот, солдатам хуже, чем мне...

Давай, думаю, я чем-нибудь солдат бедных обрадую! Угощу их, что ли, чаем напою, – разговееусь с ними на мои гроши!

Понравилось.

Глава восьмая

Я позвал вестового, даю ему из своего кошелька денег и посылаю, чтобы купил четверть фунта чаю, да три фунта сахару, да копу крашенок (шестьдесят красных яиц), да хлеба шафранного на все, сколько останется. Прибавил бы еще более, да у самого не было.

Вестовой сбегал и все принес, а я сел к столику, колю и раскладываю по кусочкам сахар – и очень занялся тем: по сколько кусков на всех людей достанется.

И хоть небольшая забота, а сейчас, как я этим занялся, так и скука у меня прошла, и я даже радостно сижу да кусочки отсчитываю и думаю: простые люди – с ними никто не нежничает, – им и это участие приятно будет. Как услышу, что отпустный звон прозвонят и люди из церкви пойдут, я поздороваюсь – скажу: «Ребята! Христос воскрес!» и предложу им это мое угощение.

А стояли мы в карауле за городом, как всегда пороховые погреба бывают вдалеке от жилья, а кордегардией у нас служили сени одного пустого погреба, в котором в эту пору пороху не было. Тут в сенях и солдаты и я, – часовые наружи, а казаки – трое с солдатами, а трое в

разъезд уехали.

Из города нам, однако, звон слышен, и огни кое-как мелькают. Да и по часам я сообразил, что уже время церковной службы непременно скоро кончится – скоро, должно быть, наступит пора поздравлять и потчевать. Я встал, чтобы обойти посты, и вдруг слышу шум... дерутся... Я – туда, а мне летит что-то под ноги, и в ту же минуту я получаю пощечину... Что вы смотрите? Да – настоящую пощечину, и трах – с одного плеча эполета прочь!

Что такое?.. Кто меня бьет?

И главное дело – темно.

– Ребята! – кричу, – братцы! Что это делается? – Солдаты узнали мой голос и отвечают:

– Казаки, ваше благородие, винища облопались!., дерутся.

– Кто же это на меня бросился?

– И вас, ваше благородие, это казак по морде ударил. Вон он и есть – в ногах лежит без памяти, а двух там на погребнице вяжут. Рубиться хотели.

Глава девятая

Все вдруг в голове у меня засуетилось и перепуталось. Тягчайшее оскорбление! Молодо-зелено, на все еще я тогда смотрел не своими глазами, а как задолбил, и рассуждение тоже было не свое, а чужое, вдолбленное, как принято. «Тебя ударили – так это бесчестие, а если ты побьешь на отместку, – тогда ничего – тогда это тебе честь...» Убить его, этого казака, я должен!., зарубить его на месте!.. А я не зарубил. Теперь куда же я годен? Я битый по щеке офицер. Все, значит, для меня кончено?.. Кинусь – заколю его! Непременно надо заколоть! Он ведь у меня честь взял, он всю карьеру мою испортил. Убить! за это сейчас убить его! Суд оправдает или не оправдает, но честь спасена будет.

А в глубине кто-то и говорит: «Не убий!» Это я понял, кто! – Это так бог говорит: на это у меня, в душе моей, явилось удостоверение. Такое, знаете, крепкое несомненное удостоверение, что и доказывать не надо и своротить нельзя. Бог! Он ведь старше и выше самого Сакена. Сакен откомандует, да когда-нибудь со звездой в отставку выйдет, а бог-то веки веков будет всей вселенной командовать! А если он мне не позволяет убить того, кто меня бил, так что мне с ним делать? Что сделать? С кем посоветуюсь?.. Всего лучше с тем, кто сам это вынес. Иисус Христос!.. Тебя самого били?.. Тебя били, и ты прости... а я что пред тобою... я

червь... гадость... ничтожество! Я хочу быть твой: я простил! я твой...

Вот только плакать хочется!., плачу и плачу!

Люди думают, что я это от обиды, а я уже – понимаете... я уже совсем не от обиды...

Солдаты говорят:

– Мы его убьем!

– Что вы!.. Бог с вами!.. Нельзя человека убивать! – Спрашиваю старшего: куда его дели?

– Мы, – говорит, – ему руки связали и в погреб его бросили.

– Развяжите его скорее и приведите сюда.

Пошли его развязать, и вдруг дверь из погреба наотмашь распахнулась, и этот казак летит на меня прямо, как по воздуху, и, точно сноп, опять упал в ноги и вопит:

– Ваше благородие!., я несчастный человек!..

– Конечно, – говорю, – несчастный.

– Что со мною сделали!..

И плачет горестно так, что даже ревет.

– Встань! – говорю.

– Не могу встать, я еще в исступлении...

– Отчего ты в исступлении?

– Я непитущий, а меня напоили... У меня дома жена молодая и детки... и отцы старички старые... Что я наделал?..

– Кто тебя напоил?

– Товарищи, ваше благородие, – заставили за живых и за мертвых в перезвон пить... Я непитущий!

И рассказал, что заехали они в шинок, и стали его товарищи неволить – выпить для Светлого Христова воскресения, в самый первый звон, – чтобы всем живым и умершим «легонько взгадастся», – один товарищ поднес ему чару, а другой – другую, а третью он уже сам купил и других потчевал, а дальше не помнит, что ему пришло в голову на меня броситься, и ударить, и эполет сорвать.

Вот вам и приключение! Теперь валяется в ногах, плачет, как дитя, и весь хмель сошел... Стонет:

– Детки мои, голубятки мои!.. Старички мои жалостные!.. женка несчастная!..

Глава десятая

Убивается бедняга, и люди все на него смотрят, и – вижу, и им тяжело, а мне еще более всех тяжело. А меж тем как я немножко раздумался, сердце-то у меня уж назад пошло: рассуждать опять начинаю: ударь он меня наедине, я и минуты бы одной не колебался – сказал бы: «Иди с миром и вперед так не делай». Но ведь это все произошло при подначальных людях, которым я должен подавать первый пример...

И вдруг это слово опять меня спасительно уловля-ет... какой такой нам подан первый пример? Я ведь не могу же это забыть... я ведь не могу же, чтобы Иисуса вспоминать, а при том ему совсем напротив над людьми делать...

«Нет, – думаю, – этого нельзя: я спутался – лучше я отстраню от себя это пока... хоть на время, а скажу только то, что надо по правилу...»

Взял в руки яйцо и хотел сказать: «Христос воскрес!» – но чувствую, что вот ведь я уже и схитрил. Теперь я не его – я ему уж чужой стал... Я этого не хочу... не желаю от него увольняться. А зачем же я делаю как те, кому с ним тяжело было... который говорил: «Господи, выйди от меня: я человек грешный!» Без него-то, конечно, полегче... Без него, пожалуй, со всеми уживешься... ко всем подделаешься...

А я этого не хочу! Не хочу, чтобы мне легче было! Не хочу!

Я другое вспомнил... Я его не попрошу уйти, а еще позову... Приди – ближе! и зачитал: «Христе, свете нетинный, просвещали и освещали всякого человека, грядущего в мир...»

Между солдатами вдруг внимание... кто-то и повторил:

– «Всякого человека!»

– Да, – говорю, – «всякого человека, грядущего в мир», – и такой смысл придаю, что он просвещает того, кто приходит от вражды к миру. И еще сильнее голосом воззвал: – «Да знаменуется на нас, грешных, свет твоего лица!»

– «Да знаменуется!., да знаменуется!» – враз, одним дыханием продохнули солдаты... Все содрогнулись... все всхлипывают... все неприступный свет узрели и к нему сунулись...

– Братцы! – говорю, – будем молчать!

Враз все поняли.

– Язык пусть нам отсохнет, – отвечают, – ничего не скажем.

– Ну, – я говорю, – значит, Христос воскрес! – и поцеловал первого побившего меня казака, а потом стал и с другими целоваться. «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!»

И вправду обнимали мы друг друга радостно. А казак все плакал и говорил: «Я в Иерусалим пойду бога молить... священника упрошу, чтобы

мне питинью наложил».

– Бог с тобой, – говорю, – еще лучше и в Иерусалим не ходи, а только водки не пей.

– Нет, – плачет, – я, ваше благородие, и водки не буду пить и пойду к бабушке...

– Ну, как знаешь.

Пришла смена, и мы возвратились, и я отрапортовал, что все было благополучно, и солдаты все молчали; но случилось так, однако, что секрет наш вышел наружу.

Глава одиннадцатая

На третий день праздника призывает меня к себе командир, запирается в кабинет и говорит:

– Как это вы, сменившись последний раз с караула, рапортовали, что у вас все было благополучно, когда у вас было ужасное происшествие!

Я отвечаю:

– Точно так, господин полковник, происшествие было нехорошее, но бог нас вразумил, и все кончилось благополучно.

– Нижний чин оскорбил офицера и остается без наказания... и вы это считаете благополучным? Да у вас что же – нет, что ли, ни субординации, ни благородной гордости?

– Господин полковник, – говорю, – казак был человек непьющий и обезумел, потому что его опоили.

– Пьянство – не оправдание!

– Я, – говорю, – не считаю за оправдание, – пьянство – пагуба, но я духу в себе не нашел доносить, чтобы за меня безрассудного человека наказывали. Виноват, господин полковник, я простил.

– Вы не имели права прощать!

– Очень знаю, господин полковник, не мог выдержать.

– Вы после этого не можете более оставаться на службе.

– Я готов выйти.

– Да; подавайте в отставку.

– Слушаю-с.

– Мне вас жалко, – но поступок ваш есть непозволительный. Пеняйте на себя и на того, кто вам внушил такие правила.

Мне стало от этих слов грустно, и я попросил извинения и сказал, что я пенять ни на кого не буду, а особенно на того, кто мне внушил такие

правила, потому что я взял себе эти правила из христианского учения.

Полковнику это ужасно не понравилось.

– Что, – говорит, – вы мне с христианством! – ведь я не богатый купец и не барыня. Я ни на колокола не могу жертвовать, ни ковров вышивать не умею, а я с вас службу требую. Военный человек должен почерпать христианские правила из своей присяги, а если вы чего-нибудь не умели согласовать, так вы могли на все получить совет от священника. И вам должно быть очень стыдно, что казак, который вас прибил, лучше знал, что надо делать: он явился и открыл свою совесть священнику! Его это одно и спасло, а не ваше прощение. Дмитрий Ерофеич простил его не для вас, а для священника, а солдаты все, которые были с вами в карауле, будут раскассированы. Вот чем ваше христианство для них кончилось. А вы сами пожалуйте к Сакену; он сам с вами поговорит – ему и рассказывайте про христианство: он церковное Писание все равно как военный устав знает. А все, извините, о вас того мнения, что вы, извините, получив пощечину, изволили прощать единственно с тем, чтобы это бесчестие вам не помешало на службе остаться... Нельзя! Ваши товарищи с вами служить не желают.

Это мне, по тогдашней моей молодости, показалось жестоко и обидно.

– Слушаю-с, – говорю, – господин полковник, я пойду к графу Сакену и доложу все, как дело было, и объясню, чему я подчинился – все доложу по совести. Может быть, он иначе взглянет.

Командир рукой махнул.

– Говорите что хотите, но знайте, что вам ничто не поможет. Сакен церковные уставы знает – это правда, но, однако, он все-таки пока еще исполняет военные. Он еще в архиереи не постригся.

Тогда между военными ходили разные нелепые слухи о Сакене: одни говорили, будто он имеет видения и знает от ангела – когда надо начинать бой; другие рассказывали вещи еще более чудные, а полковой казначей, имевший большой круг знакомства с купцами, уверял, будто Филарет московский говорил графу Протасову: «Если я умру, то Боже вас сохрани, не делайте обер-прокурором Муравьева, а митрополитом московским – киевского ректора (Иннокентия Борисова). Они только хороши кажутся, а хорошо не сделают; а вы ставьте на свое место Сакена, а на мое – самого смиренного монаха. Иначе я вам в темном блеске являться стану».

Глава двенадцатая

Я тогда ни за что не хотел, чтобы Сакен допускал, будто я простил и скрыл полученную мною пощечину из-за того, чтобы мне можно было на службе оставаться. Ужасная глупость! Не все ли это равно? Теперь это кажется смешно, а в тогдашнем диком состоянии я в самом деле полагал немножко свою честь в таких пустяках, как постороннее мнение... Ночей не спал: одну ночь в карауле не спал, а потом три ночи не спал от волнения... Обидно было, что товарищи обо мне нехорошо думают и что Сакен обо мне нехорошо думает! Надо, видите, так, чтобы все о нас хорошо думали!..

Опять из-за этого всю ночь не спал и на другой день встал рано и являюсь утром в сакенскую приемную. Там был только еще один аудитор, а потом и другие стали собираться. Жужжат между собою потихонечку, а у меня знакомых нет – я молчу и чувствую, что сон меня клонит, – совсем некстати. А глаза так и слипаются. И долго я тут со всеми вместе ожидал Сакена, потому что он в этот день, как нарочно, не выходил: все у себя в спальне перед чудотворной иконой молился. Он ведь был страшно богомолен: непременно каждый день читал утренние и вечерние молитвы и три акафиста, а то иногда зайдет до бесконечности. Случалось, до того уставал на коленях стоять, что даже падал и на ковре ничком лежал, а все молился. Мешать ему или как-нибудь перебить молитву считалось – боже сохрани! На это, кажется, даже при штурме никто бы не отважился, потому что помешать ему – все равно что дитя разбудить, когда оно не выспалось. Начнет кукситься и капризничать, и тогда его ничем не успокоишь. Адъютанты у него это знали, – иные и сами тоже были богомолы – другие притворялись. Он не разбирает и всех таких любил и поощрял.

Как только, бывало, он покажется, штабные сейчас различали, если он намолился, и тогда в хорошем расположении, и все бумаги несли, потому что, намолившись, он добр и тогда все подпишет.

На мою долю как раз такое счастье и досталось: как Сакен вышел ко всем в приемную, так один опытный говорит мне:

– Вы хорошо попали; нынче его обо всем можно просить; он теперь намолившись.

Я любопытствовал:

– Почему это заметно?

Опытный отвечает:

– Разве не видите – у него колени белеются, и над бровями светлые пятнышки... как будто свет сияет... Значит, будет ласковый.

Я сияния над бровями не отличил, а панталоны у него на коленях действительно были побелевши.

Со всеми он переговорил и всех отпустил, а меня оставил на самый послед и велел за собою в кабинет идти.

«Ну, – думаю, – тут будет развязка». И сон прошел.

Глава тринадцатая

В кабинете у него большая икона в дорогой ризе, на особом возвышении, и трисоставная лампада в три огня горит.

Сакен прежде всего подошел к иконе, перекрестился и поклонился в землю, а потом обернулся ко мне и говорит:

– Ваш полковой командир за вас застуается. Он вас даже хвалит – говорит, что вы были хороший офицер, но я не могу, чтобы вас оставить на службе!

Я отвечаю, что я об этом и не прошу.

– Не просите! Почему же не просите?

– Я знаю, что это нельзя, и не прошу о невозможном.

– Вы горды!

– Никак нет.

– Почему же вы так говорите – «о невозможном»? Французский дух! Гордость! У бога все возможно! Гордость!

– Во мне нет гордости.

– Вздор!.. Я вижу. Все французская болезнь!.. своеволие!.. Хотите все по-своему сделать!.. Но вас я действительно оставить не могу. Надо мною тоже выше начальство есть... Эта ваша вольнодумная выходка может дойти до государя... Что это вам пришла за фантазия!..

– Казак, – говорю, – по дурному примеру напился пьян до безумия и ударил меня без всякого сознания.

– А вы ему это простили?

– Да, я не мог не простить!..

– На каком же основании?

– Так, по влиянию сердца.

– Гм!., сердце!.. На службе прежде всего долг службы, а не сердце...

Вы по крайней мере раскаиваетесь?

– Я не мог иначе.

– Значит, даже и не каетесь?

– Нет.

– И не жалеете?

– О нем я жалею, а о себе нет.

– И еще бы во второй раз, пожалуй, простили?
– Во второй раз, я думаю, даже легче будет.
– Вон как!., вон как у нас!., солдат его по одной щеке ударил, а он еще другую готов подставить.

Я подумал: «Цыц! не смей этим шутить!» – и молча посмотрел на него с таким выражением.

Он как бы смутился, но опять по-генеральски напетушился и задает:

– А где же у вас гордость?
– Я сейчас имел честь вам доложить, что у меня нет гордости.
– Вы дворянин?
– Я из дворян.
– И что же, этой... noblesse oblige... дворянской гордости у вас тоже нет?

– Тоже нет.

– Дворянин без всякой гордости?

Я молчал, а сам думал:

«Ну да, ну да: дворянин, и без всякой гордости, – ну что же ты со мной поделаешь?»

А он не отстает – говорит:

– Что же вы молчите? Я вас спрашиваю об этой – о благородной гордости?

Я опять промолчал, но он еще повторяет:

– Я вас спрашиваю о благородной гордости, которая возвышает человека. Сирах велел «пещись об имени своем»...

Тогда я, чувствуя себя уже как бы отставным и потому человеком свободным, ответил, что я ни про какую благородную гордость ничего в Евангелии не встречал, а читал про одну только гордость сатаны, которая противна богу.

Сакен вдруг отступил и говорит:

– Перекреститесь!.. Слышите: я вам приказываю, сейчас перекреститесь!

Я перекрестился.

– Еще раз!

Я опять перекрестился.

– И еще... до трех раз!

Я и в третий раз перекрестился.

Тогда он подошел ко мне и сам меня перекрестил и прошептал:

– Не надо про сатану! Вы ведь православный?

– Православный.

– За вас восприемники у купели отреклись от сатаны... и от гордыни и от всех дел его и на него плюнули. Он бунтовщик и отец лжи. Плюньте сейчас.

Я плюнул.

– И еще!

Я еще плюнул.

– Хорошенько!.. До трех раз на него плюньте!

Я плюнул, и Сакен сам плюнул и ногою растер. Всего сатану мы оплевали.

– Вот так!.. А теперь... скажите, того... Что же вы будете с собой делать в отставке?

– Не знаю еще.

– У вас есть состояние?

– Нет.

– Нехорошо! Родственники со связями есть?

– Тоже нет.

– Скверно! На кого же вы надеетесь?

– Не на князей и не на сынов человеческих: воробей не пропадает у бога, и я не пропаду.

– Ого-го, как вы, однако, начитаны!.. Хотите в монахи?

– Никак нет – не хочу.

– Отчего? Я могу написать Иннокентию.

– Я не чувствую призвания в монахи.

– Чего же вы хотите?

– Я хочу только того, чтобы вы не думали, что я умолчал о полученном мною ударе из-за того, чтобы остаться на службе: я это сделал просто...

– Спаси свою душу! Понимаю вас, понимаю! я вам потому и говорю: идите в монахи.

– Нет, я в монахи не могу, и спасти свою душу не думал, а просто я пожалел другого человека, чтобы его не били насмерть палками.

– Наказание бывает человеку в пользу. «Любая наказует». Вы не дочитали... А впрочем, мне вас все-таки жалко. Вы пострадали!.. Хотите в комиссариатскую комиссию?

– Нет, благодарю покорно.

– Это отчего?

– Я не знаю, право, как вам об этом правдивее доложить... я туда неспособен.

– Ну, в провианты?

– Тоже не гожусь.

– Ну, в цейхквартиры! – там, случается, бывают люди и честные.

Так он меня этим своим разговором отяготил, что я просто будто замагнитизировался и спать хочу до самой невозможности.

А Сакен стоит передо мною – и мерно, в такт головою покачивает и, загиная одною рукою пальцы другой руки, вычисляет:

– В Писании начитан; благородной гордости не имеет; по лицу бит; в комиссариат не хочет; в провиантские не хочет и в монахи не хочет! Но я, кажется, понял вас, почему вы не хотите в монахи: вы влюблены?

А мне только спать хочется.

– Никак нет, – говорю, – я ни в кого не влюблен.

– Жениться не намерены?

– Нет.

– Отчего?

– У меня слабый характер.

– Это видно! Это сразу видно! Но что же вы застенчивы, – вы боитесь женщин... да?

– Некоторых боюсь.

– И хорошо делаете! Женщины суетны и... есть очень злые, но ведь не все женщины злы и не все обманывают.

– Я сам боюсь быть обманщиком.

– То есть... Как?.. Для чего?

– Я не надеюсь сделать женщину счастливой.

– Почему? Боитесь несходства характеров?

– Да, – говорю, – женщина может не одобрять то, что я считаю за хорошее, и наоборот.

– А вы ей докажете.

– Доказать все можно, но от этого выходят только споры и человек делается хуже, а не лучше.

– А вы и споров не любите?

– Терпеть не могу.

– Так ступайте же, мой милый, в монахи! Что же вам такое?! Ведь вам в монахах отлично будет с вашим настроением.

– Не думаю.

– Почему? Почему не думаете-то? Почему?

– Призвания нет.

– А вот вы и ошибаетесь – прощать обиды, безбрачная жизнь... это и есть монастырское призвание. А дальше что же еще остается трудное? – мяса не есть. Этого, что ли, вы боитесь? Но ведь это не так строго...

– Я мяса совсем никогда не ем.

- А зато у них прекрасные рыбы.
- Я и рыбы не ем.
- Как, и рыб не едите? Отчего?
- Мне неприятно.
- Отчего же это может быть неприятно – рыб есть?
- Должно быть, врожденное – моя мать не ела тел убитых животных и рыб тоже не ела.
- Как странно! Значит, вы так и едите одно грибное да зелень?
- Да, и молоко и яйца. Мало ли еще что можно есть!
- Ну так вы и сами себя не знаете: вы природный монах, вам даже схиму дадут. Очень рад! очень рад! Я вам сейчас дам письмо к Иннокентию!
- Да я, ваше сиятельство, не пойду в монахи!
- Нет, пойдете, – таких, которые и рыб не едят, очень мало! вы схимник! Я сейчас напишу.
- Не извольте писать: я в монастырь жить не пойду. Я желаю есть свой трудовой хлеб в поте своего лица.

Глава четырнадцатая

- Сакен наморщился.
- Это, – говорит, – вы Библии начитались, – а вы Библии-то не читайте. Это англичанам идет: они недоверии и кривотолки. Библия опасна – это мирская книга. Человек с аскетическим основанием должен ее избегать.
 - «Фу-ты господи! – думаю. – Что же это за мучитель такой!»
 - И говорю ему:
 - Ваше сиятельство! я уже вам доложил: во мне нет никаких аскетических оснований.
 - Ничего, идите и без оснований! Основания после придут; всего дороже, что у вас это врожденное: не только мяса, а и рыбы не едите. Чего вам еще!
 - Умолкаю! Решительно умолкаю и думаю только о том: когда же он меня от себя выпустит, чтобы я мог спать...
 - А он возлагает мне руки на плечи, смотрит долго в глаза и говорит:
 - Милый друг! вы уже призваны, но только вам это еще непонятно!..
 - Да, – отвечаю, – непонятно!
 - Чувствую, что мне теперь все равно, – что я вот-вот сейчас тут же,

стоя, усну, – и потому инстинктивно ответил:

– Непонятно.

– Ну так помолимся, – говорит, – вместе поусерднее вот перед этим ликом. Этот образ был со мною во Франции, в Персии и на Дунае... Много раз я перед ним упал в недоумении и когда вставал – мне было все ясно. Становитесь на ковре на колени и земной поклон... Я начинаю.

Я стал на колени и поклонился, а он зачитал умиленным голосом: «Совет превечный открывая Тебе...»

А дальше я уже ничего не слышал, а только почудилось мне, что я как дошел лбом до ковра – так и пошел свайкой спускаться вниз куда-то все глубже к самому центру земли.

Чувствую что-то не то, что нужно: мне бы нужно куда-то легким пером вверх, а я иду свайкой вниз, туда, где, по словам Гете, «первообразы кипят, – клопочут зиждящие силы». А потом и не помню уже ничего.

Возвращаюсь опять от центра к поверхности не скоро и ничего не узнаю: трисоставная лампада горит, в окнах темно, впереди меня на том же ковре какой-то генерал, клубочком свернувшись, спит.

Что это такое за место? – заспал и запомнил.

Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю: «Где я? Что это, генерал в самом деле или так кажется...» Потрогал его... ничего – парной, теплый, и смотрю – и он просыпается и шевелится... И тоже сел на ковре и на меня смотрит... Потом говорит:

– Что вижу?.. Фигура!

Я отвечаю:

– Точно так.

Он перекрестился и мне велел:

– Перекрестись! – Я перекрестился.

– Это мы с вами вместе были?

– Да-с.

– Каково!

Я промолчал.

– Какое блаженство!

Не понимаю, в чем дело, но, к счастью, он продолжает: – Видели, какая сватыня!

– Где?

– В раю!

– В раю? Нет, – говорю, – я в раю не был и ничего не видал.

– Как не видал! Ведь мы вместе летали... Туда... вверх! Я отвечаю, что я летать летал, но только не вверх, а вниз.

- Как вниз!
 - Точно так.
 - Вниз?
 - Точно так.
 - Внизу ад!
 - Не видал.
 - И ада не видал?
 - Не видал.
 - Так какой же дурак тебя сюда пустил?
 - Граф Остен-Сакен.
 - Это я граф Остен-Сакен.
 - Теперь, – говорю, – вижу.
 - А до сих пор и этого не видал?
 - Прошу прощения, – говорю, – мне кажется, будто я спал.
 - Ты спал!
 - Точно так.
 - Ну так пошел вон!
 - Слушаю, – говорю, – но только здесь темно – я не знаю, как выйти.
- Сакен поднялся, сам открыл мне дверь и сам сказал: – Zum Teufel!

Так мы с ним и простились, хотя несколько сухо, но его ко мне милости этим не кончились.

Глава пятнадцатая

Я был совершенно спокоен, потому что знал, что мне всего дороже – это моя воля, возможность жить по одному завету, а не по нескольким, не спорить, не подделываться и никому ничего не доказывать, если ему не явлено свыше, – и я знал, где и как можно найти такую волю. Я не хотел решительно никаких служб, ни тех, где нужна благородная гордость, ни тех, где можно обходиться и без всякой гордости. Ни на какой службе человек сам собой быть не может, он должен вперед не обещаться, а потом исполнять, как обещался, а я вижу, что я порченный, что я ничего обещать не могу, да я не смею и не должен, потому что суббота для человека, а не человек для субботы... Сердце сжалится, и я не могу обещания выдержать: увижу страдание и не выстою... я изменю субботе! На службе надо иметь клятвенную твердость и уметь самого себя заговаривать, а у меня этого дарования нет. Мне надо что-нибудь самое простое... Перебирал я, перебирал, – что есть самое простое, где не надо себя заговаривать, и

решил, что лучше пахать землю.

Но меня, однако, ждала еще награда и по службе.

Перед самым моим выездом полковник объявляет мне:

– Вы не без пользы для себя с Дмитрием Ерофеичем повидались. Он тогда был с утра прекрасно намолившись и еще с вами, кажется, молился?

– Как же, – отвечаю, – мы молились.

– Вместе в блаженные селения парили?..

– То есть... как это вам доложить...

– Да, вы – большой политик! Знаете, вы и достигли, – вы ему очень понравились; он вам велел сказать, что особым путем вам пенсию выпросит.

– Я, – говорю, – пенсии не выслужил.

– Ну, уж это теперь расчислять поздно, – уж от него пошло представление, а ему не откажут.

Вышла мне пенсия по тридцати шести рублей в год, и я ее до сих пор по этому случаю получаю. Солдаты со мною тоже хорошо простились.

– Ничего, – говорили, – мы, ваше благородие, вами довольны и не плачемся. Нам все равно, где служить. А вам бы, ваше благородие, мы желали, чтобы к нам в попы достигнуть и благословлять на поле сражения.

Тоже доброжелатели!

А я вместо всего ихнего доброжелания вот эту господку купил... Невелика господка, да добра... Может, и Катря еще на ней буде с мужем господуроваты... Видна Катруся! Я ее с матерью под тополями Подолинского сада нашел... Мать хотела ее на чужие руки кинуть, а сама к какой-нибудь пани в мамки идти. А я вызверився да говорю ей:

– Чи ты с самага роду так дурна, чи ты сумасшедшая! Що тобі такэ поднялось, щоб свою дытыну покинуты, а паньских своим молоком годувати! Нехай их яка пани породыла, та сама и годует: так от бога показано, – а ты ходы впрост до менэ та пильнуй свою дытыну.

Она встала – подобрала Катрю в тряпочки и пишла – каже:

– Пиду, куды минэ доля моя ведэ!

Так вот и живем, и поле орем, и сием, а чога нэма, о том не скучаем – бо все люди просты: мать сирота, дочка мала, а я битый офицер, да еще и без усякой благородной гордости. Тифу, яка пропаща фигура!

По моим сведениям, Фигура умер в конце пятидесятых или в самом начале шестидесятых годов. О нем я не встречал в литературе никаких упоминаний.

1889

Александр Куприн

Чудесный доктор

Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла.

Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я, со своей стороны, лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придавал устному рассказу письменную форму.

– Гриш, а Гриш! Гляди-ка, поросенок-то... Смеется... Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри... травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы; ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала... Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, – поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово:

– Ну, Володя, идем, идем... Нечего тут...

Одновременно подавив тяжелый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки веселой польки... Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть

глазком к стеклу.

По мере того как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, раздуманные морозом смеющиеся лица нарядных дам – все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные косогоры... Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его – собственно подвал – был каменный, а верх – деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскивали оцупью свою дверь и отворили ее.

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс – настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая, худая женщина, с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад свое встревоженное лицо.

– Ну? Что же? – спросила она отрывисто и нетерпеливо.

Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.

– Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

– Отдал, – сиплым от мороза голосом ответил Гриша.

– Ну, и что же? Что ты ему сказал?

– Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда... Сволочи вы...»

– Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!

– Швейцар разговаривал... Кто же еще? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман... Есть тоже у барина время ваши письма читать...»

– Ну, а ты?

– Я ему все, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего... Машутка больна... Помирает...» Говорю: «Как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к черту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по затылку ударил.

– А меня он по затылку, – сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.

Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив наконец оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:

– Вот оно, письмо-то...

Больше мать не спрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на беспрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:

– Там борщ есть, от обеда остался... Может, поели бы? Только холодный – разогреть-то нечем...

В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика – все трое даже побледнев от напряженного ожидания – обернулись в эту сторону.

Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный, роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим... Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа

всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, кланча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов... Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег... Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца.

Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу.

– Куда ты? – тревожно спросила Елизавета Ивановна.

Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.

– Все равно, сидением ничего не поможешь, – хрипло ответил он. – Пойду еще... Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.

Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не кланчить, а во второй – его обещали отправить в полицию.

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку.

Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви.

Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть, – думал он, – и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающей, то потухавшей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

– Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

– Ночка-то какая славная, – заговорил вдруг незнакомец. – Морозно... тихо. Что за прелесть – русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь.

– А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, – продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свертков). – Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

– Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я... а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подымаются... Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел... Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему

свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном:

– Подождите... не волнуйтесь! Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастиях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил со своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал.

– Едемте! – сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. – Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но... поедemте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

– Ну, полно, полно, голубушка, – заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. – Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.

И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом... Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок, вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

– Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку... давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание... Продолжайте согревающий компресс... Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное – не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.

Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:

– Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес:

– Э! Вот еще пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов...

В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова»^[3].

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова – того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, славя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез:

– С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор – это когда его перевозили мертвого в

его собственное имя Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невосвратимо.

1897

Бедный принц

I

«Замечательно умно! – думает сердито девятилетний Даня Иевлев, лежа животом на шкуре белого медведя и постукивая каблуком о каблук поднятых кверху ног. – Замечательно! Только большие и могут быть такими притворщиками. Сами заперли меня в темную гостиную, а сами развлекаются тем, что увешивают елку. А от меня требуют, чтобы я делал вид, будто ни о чем не догадываюсь. Вот они какие – взрослые!»

На улице горит газовый фонарь и золотит морозные разводы на стеклах, и, скользя сквозь листья латаний и фикусов, стелет легкий золотистый узор на полу. Слабо блестит в полутьме изогнутый бок рояля.

«Да и что веселого, по правде сказать, в этой елке? – продолжает размышлять Даня. – Ну, придут знакомые мальчики и девочки и будут притворяться, в угоду большим, умными и воспитанными детьми... За каждым гувернантка или какая-нибудь старенькая тетя... Заставят говорить все время по-английски... Затеют какую-нибудь прескучную игру, в которой непременно нужно называть имена зверей, растений или городов, а взрослые будут вмешиваться и поправлять маленьких. Велят ходить цепью вокруг елки и что-нибудь петь и для чего-то хлопать в ладоши; потом все усядутся под елкой, и дядя Ника прочитает вслух ненатуральным, актерским, «давлючим», как говорит Сонина няня, голосом рассказ о бедном мальчике, который замерзает на улице, глядя на роскошную елку богача. А потом подарят готовальню, глобус и детскую книжку с картинками... А коньков или лыж уж наверно не подарят... И пошлют спать.

Нет, ничего не понимают эти взрослые... Вот и папа... он самый главный человек в городе и, конечно, самый ученый... недаром его называют городской головой... Но и он мало чего понимает. Он до сих пор думает, что Даня маленький ребенок, а как бы он удивился, узнав, что Даня давным-давно уже решил стать знаменитым авиатором и открыть оба полюса. У него уже и план летающего корабля готов, нужно только достать где-нибудь гибкую стальную полосу, резиновый шнур и большой, больше дома, шелковый зонтик. Именно на таком аэроплане Даня чудесно летает – по ночам во сне».

Мальчик лениво встал с медведя, подошел, волоча ноги, к окну,

подышал на фантастические морозные леса из пальм, потер рукавом стекло. Он худощавый, но стройный и крепкий ребенок. На нем коричневая из рубчатого бархата курточка, такие же штанишки по колено, черные гетры и толстые штиблеты на шнурках, отложной крахмальный воротник и белый галстук. Светлые, короткие и мягкие волосы расчесаны, как у взрослого, английским прямым пробором. Но его милое лицо мучительно-бледно, и это происходит от недостатка воздуха: чуть ветер немного посильнее или мороз больше шести градусов, Даню не выпускают гулять. А если и поведут на улицу, то полчаса перед этим укутывают: гамаша, меховые ботинки, теплый оренбургский платок на грудь, шапка с наушниками, башлычок, пальто на гагачьем пуху, беличьи перчатки, муфта... опротивеет и гулянье! И непременно ведет его за руку, точно маленького, длинная мисс Дженерс со своим красным висячим носом, поджатым прыщавым ртом и рыбьими глазами. А в это время летят вдоль тротуара на одном деревянном коньке веселые, краснощекие, с потными счастливыми лицами, уличные мальчишки, или катают друг друга на салазках, или, отломив от водосточной трубы сосульку, сочно, с хрустением жуют ее. Боже мой! Хотя бы раз в жизни попробовать сосульку. Должно быть, изумительный вкус. Но разве это возможно! «Ах, простуда! Ах, дифтерит! Ах, микроб! Ах, гадость!»

«Ох, уж эти мне женщины! – вздыхает Даня, серьезно повторяя любимое отцовское восклицание. – Весь дом полон женщинами – тетя Катя, тетя Лиза, тетя Нина, мама, англичанка... женщины, ведь это те же девчонки, только старые... Ахают, суеются, любят целоваться, всего пугаются – мышей, простуды, собак, микробов... И Даню тоже считают точно за девочку... Это его-то! Предводителя команчей, капитана пиратского судна, а теперь знаменитого авиатора и великого путешественника! Нет! Вот назло возьму, насушу сухарей, отолью в пузырек папиного вина, скоплю три рубля и убегу тайком юнгой на парусное судно. Денег легко собрать. У Дани всегда есть карманные деньги, предназначенные на дела уличной благотворительности».

Нет, нет, все это мечты, одни мечты... С большими ничего не поделаешь, а с женщинами тем более. Сейчас же схватятся и отнимут. Вот нянька говорит часто: «Ты наш принц». И правда, Даня, когда был маленьким, думал, что он – волшебный принц, а теперь вырос и знает, что он бедный, несчастный принц, заколдованный жить в скудном и богатом царстве.

Окно выходит в соседний двор. Станный, необычный огонь, который колеблется в воздухе из стороны в сторону, поднимается и опускается, исчезает на секунду и опять показывается, вдруг остро привлекает внимание Дани. Продышав ртом на стекле дыру побольше, он прикивает к ней глазами, закрывшись ладонью, как щитом, от света фонаря. Теперь на белом фоне свежего, только что выпавшего снега он ясно различает небольшую, тесно сгрудившуюся кучку ребятшек. Над ними на высокой палке, которой не видно в темноте, раскачивается, точно плавает в воздухе, огромная разноцветная бумажная звезда, освещенная изнутри каким-то скрытым огнем.

Даня хорошо знает, что все это – детвора из соседнего бедного и старого дома, «уличные мальчишки» и «дурные дети», как их называют взрослые: сыновья сапожников, дворников и прачек. Но Данино сердце холодеет от зависти, восторга и любопытства. От няньки он слышал о местном древнем южном обычае: под Рождество дети в складчину устраивают звезду и вертеп, ходят с ними по домам – знакомым и незнакомым, – поют колядки и рождественские кантики и получают за это в виде вознаграждения ветчину, колбасу, пироги и всякую медную монету.

Безумно-смелая мысль мелькает в голове Дани, – настолько смелая, что он на минуту даже прикусывает нижнюю губу, делает большие, испуганные глаза и съеживается. Но разве в самом деле он не авиатор и не полярный путешественник? Ведь рано или поздно придется же откровенно сказать отцу: «Ты, папа, не волнуйся, пожалуйста, а я сегодня отправляюсь на своем аэроплане чрез океан». Сравнительно с такими страшными словами, одеться потихоньку и выбежать на улицу – сущие пустяки. Лишь бы только на его счастье старый толстый швейцар не торчал в передней, а сидел бы у себя в камерке под лестницей.

Пальто и шапку он находит в передней ощупью, возясь бесшумно в темноте. Нет ни гамаш, ни перчаток, но ведь он только на одну минутку! Довольно трудно справиться с американским механизмом замка. Нога стукнулась о дверь, гул пошел по всей лестнице. Слава богу, ярко освещенная передняя пуста. Задержав дыхание, с бьющимся сердцем, Даня, как мышь, проскальзывает в тяжелые двери, едва приотворив их, и вот он на улице! Черное небо, белый, скользкий, нежный, скрипящий под ногами снег, беготня света и теней под фонарем на тротуаре, вкусный запах зимнего воздуха, чувство свободы, одиночества и дикой смелости – все как

сон!..

III

«Дурные дети» как раз выходили из калитки соседнего дома, когда Даня выскочил на улицу. Над мальчиками плыла звезда, вся светившаяся красными, розовыми и желтыми лучами, а самый маленький из колядников нес на руках освещенный изнутри, сделанный из картона и разноцветной папиросной бумаги домик – «вертеп господень». Этот малыш был не кто иной, как сын иевлевского кучера. Даня не знал его имени, но помнил, что этот мальчуган нередко вслед за отцом с большой серьезностью снимал шапку, когда Дане случалось проходить мимо каретного сарая или конюшни.

Звезда поравнялась с Даней. Он нерешительно посопел и сказал баском:

– Господа, примите и меня-а-а...

Дети остановились. Помолчали немного. Кто-то сказал сиплым голосом:

– А на кой ты нам ляд?!.

И тогда все заговорили разом:

– Иди, иди... Нам с тобой не ведено водиться...

– И не треба...

– Тоже ловкий... мы по восьми копеек сложились...

– Хлопцы, да это же иевлевский паньч. Гаранька, это – ваш?..

– Наш!.. – с суровой стыдливостью подтвердил мальчишка кучера.

– Проваливай! – решительно сказал первый, осипший мальчик. – Нема тут тебе компании...

– Сам проваливай, – рассердился Даня, – здесь улица моя, а – не ваша!

– И не твоя вовсе, а казенная.

– Нет, моя. Моя и папина.

– А вот я тебе дам по шее, – тогда узнаешь, чья улица...

– А не смеешь!.. Я папе пожалуюсь... А он тебя высекет...

– А я твоего папу ни на столечко вот не боюсь... Иди, иди, откудава пришел. У нас дело товариское. Ты небось денег на звезду не давал, а лезешь...

– Я и хотел вам денег дать... целых пятьдесят копеек, чтобы вы меня приняли... А теперь вот не дам!..

– И все ты врешь!.. Нет у тебя никаких пятьдесят копеек.

- А вот нет – есть!..
- Покажи!.. Все ты врешь...

Даня побренчал деньгами в кармане.

- Слышишь?..

Мальчики замолчали в раздумье. Наконец сиплый высморкался двумя пальцами и сказал:

– Ну-к что ж... Давай деньги – иди в компанию. Мы думали, что ты так, на шермака хочешь!.. Петь можешь?..

- Чего?..

– А вот «Рождество твое, Христе боже наш»... колядки еще тоже...

- Могу, – сказал решительно Даня.

IV

Чудесный был этот вечер. Звезда останавливалась перед освещенными окнами, заходила во все дворы, спускалась в подвалы, лазила на чердаки. Остановившись перед дверью, предводитель труппы – тот самый рослый мальчишка, который недавно побранился с Даней, – начинал сиплым и гнусавым голосом:

- Рождество твое, Христе боже наш...

И остальные десять человек подхватывали вразброд, не в тон, но с большим воодушевлением:

- Воссия мирови свет разума...

Иногда дверь отворялась, и их пускали в переднюю. Тогда они начинали длинную, почти бесконечную колядку о том, как шла царевна на крутую гору, как упала с неба звезда-красна, как Христос народился, а Ирод сомутился. Им выносили отрезанное щедрой рукой кольцо колбасы, яиц, хлеба, свиного студня, кусок телятины. В другие дома их не пускали, но высылали несколько медных монет. Деньги прятались предводителем в карман, а съестные припасы складывались в один общий мешок. В иных же домах на звуки пения быстро распахивались двери, выскакивала какая-нибудь рыхлая, толстая баба с веником и кричала грозно:

- Вот я вас, лайдаки, голодранцы паршивые... Гэть!.. Кышь до дому!

Один раз на них накинута огромный городской, закутанный в остроконечный башлык, из отверстия которого торчали белые, ледяные усы.

– Що вы тут, стрекулисты, шляетесь?.. Вот я вас в участок!.. По какому такому праву?.. А?..

И он затопал на них ногами и зарычал зверским голосом.

Как стая воробьев после выстрела, разлетелись по всей улице маленькие христославщики. Высоко прыгала в воздухе, чертя огненный след, красная звезда. Дане было жутко и весело скакать галопом от погони, слыша, как его штиблеты стучат, точно копыта дикого мустанга, по скользкому и неверному тротуару. Какой-то мальчишка, в шапке по самые уши, перегоняя, толкнул его неловко боком, и оба с разбега ухнули лицом в высокий сугроб. Снег сразу набился Дане в рот и в нос. Он был нежен и мягок, как холодный невесомый пух, и прикосновение его к пылавшим щекам было свежо, щекотно и сладостно.

Только на углу мальчишки остановились. Городовой и не думал за ними гнаться.

Так они обошли весь квартал. Заходили к лавочникам, к подвальныем жителям, в дворницкие. Благодаря тому, что выхоленное лицо и изящный костюм Дани обращали общее внимание, он старался держаться позади. Но пел он, кажется, усерднее всех, с разгоревшимися щеками и блестящими глазами, опьяненный воздухом, движением и необыкновенностью этого ночного бродяжничества. В эти блаженные, веселые, живые минуты он совершенно искренно забыл и о позднем времени, и о доме, и о мисс Дженерс, и обо всем на свете, кроме волшебной колядки и красной звезды. И с каким наслаждением ел он на ходу кусок толстой холодной малороссийской колбасы с чесноком, от которой мерзли зубы. Никогда в жизни не приходилось ему есть ничего более вкусного!

И потому при выходе из булочной, где звезду угостили теплыми витушками и сладкими крендельками, он только слабо и удивленно ахнул, увидя перед собою нос к носу тетю Нину и мисс Дженерс в сопровождении лакея, швейцара, няньки и горничной.

– Слава тебе, господи, нашелся наконец!.. Боже мой, в каком виде! Без калош и без башлыка! Весь дом с ног сбился из-за тебя, противный мальчишка!

Славильщиков давно уже не было вокруг. Как недавно от городского, так и теперь они прыснули в разные стороны, едва только почуяли опасность, и вдали слышался лишь дробный звук их торопливых ног.

Тетя Нина – за одну руку, мисс Дженерс – за другую повели беглеца домой. Мама была в слезах – бог знает, какие мысли приходили ей за эти два часа, когда все домашние потеряв головы бегали по всем закоулкам дома, по соседям и по ближним улицам. Отец напрасно притворялся разгневанным и суровым и совсем неудачно скрывал свою радость, увидев сына живым и невредимым. Он не меньше жены был взволнован

исчезновением Дани и уже успел за это время поставить на ноги всю городскую полицию.

С обычной прямотой Даня подробно рассказал свои приключения. Ему пригрозили на завтра тяжелым наказанием и послали переодеться.

Он вышел к своим маленьким гостям вымытый, свежий, в новом красивом костюме. Щеки его горели от недавнего возбуждения, и глаза весело блестели после мороза. Очень скучно было притворяться благовоспитанным мальчиком, с хорошими манерами и английским языком, но, добросовестно заглаживая свою недавнюю вину, он ловко шаркал ножкой, целовал ручку у пожилых дам и снисходительно развлекал самых маленьких малышей.

– А ведь Дане полезен воздух, – сказал отец, наблюдавший за ним издали, из кабинета. – Вы дома его слишком много держите взаперти. Посмотрите, мальчик набегался, и какой у него здоровый вид! Нельзя держать мальчика все время в вате.

Но дамы так дружно накинулись на него и наговорили сразу такую кучу ужасов о микробах, дифтеритах, ангинах и о дурных манерах, что отец только замахал руками и воскликнул, весь сморщившись:

– Довольно, довольно! Будет... будет... Делайте, как хотите... Ох, уж эти мне женщины!..

АНТОН ЧЕХОВ

Елка

Высокая, вечно зеленая елка судьбы увешана благами жизни... От низу до верху висят карьеры, счастливые случаи, подходящие партии, выигрыши, кукиши с маслом, щелчки по носу и проч. Вокруг елки толпятся взрослые дети. Судьба раздает им подарки...

– Дети, кто из вас желает богатую купчиху? – спрашивает она, снимая с ветки краснощекую купчиху, от головы до пяток усыпанную жемчугом и бриллиантами... – Два дома на Плющихе, три железные лавки, одна портерная и двести тысяч деньгами! Кто хочет?

– Мне! Мне! – протягиваются за купчихой сотни рук. – Мне купчиху!

– Не толпитесь, дети, и не волнуйтесь... Все будете удовлетворены... Купчиху пусть возьмет себе молодой эскулап. Человек, посвятивший себя науке и записавшийся в благодетели человечества, не может обойтись без пары лошадей, хорошей мебели и проч. Бери, милый доктор! Не за что... Ну-с, теперь следующий сюрприз! Место на Чухломо-Пошехонской железной дороге! Десять тысяч жалованья, столько же наградных, работы три часа в месяц, квартира в тринадцать комнат и проч... Кто хочет? Ты, Коля? Бери, милый! Далее... Место экономки у одинокого барона Шмаус! Ах, не рвите так, mesdames! Имейте терпение!.. Следующий! Молодая, хорошенькая девушка, дочь бедных, но благородных родителей! Приданого ни гроша, но зато натура честная, чувствующая, поэтическая! Кто хочет? (Пауза.) Никто?

– Я бы взял, да кормить нечем! – слышится из угла голос поэта.

– Так никто не хочет?

– Пожалуй, давайте я возьму... Так и быть уж... – говорит маленький, подагрический старикашка, служащий в духовной консистории. – Пожалуй...

– Носовой платок Зориной! Кто хочет?

– Ах!.. Мне! Мне!.. Ах! Ногу отдавили! Мне!

– Следующий сюрприз! Роскошная библиотека, содержащая в себе все сочинения Канта, Шопенгауэра, Гете, всех русских и иностранных авторов, массу старинных фолиантов и проч... Кто хочет?

– Я-с! – говорит букинист Свинопасов. – Пажалте-с!

Свинопасов берет библиотеку, отбирает себе «Оракул», «Сонник», «Письмовник», «Настольную книгу для холостяков»... остальное же бросает на пол...

– Следующий! Портрет Окрейца!

Слышен громкий смех...

– Давайте мне... – говорит содержатель музея Винклер. – Пригодится...

– Далее! Роскошная рамка от премии «Нови» (пауза). Никто не хочет? В таком случае далее... Порванные сапоги!

Сапоги достаются художнику... В конце концов елка обирается и публика расходится... Около елки остается один только сотрудник юмористических журналов...

– Мне же что? – спрашивает он судьбу. – Все получили по подарку, а мне хоть бы что. Это свинство с твоей стороны!

– Все разобрали, ничего не осталось... Остался, впрочем, один кукиш с маслом... Хочешь?

– Не нужно... Мне и так уж надоели эти кукиши с маслом... Кассы некоторых московских редакций полнехоньки этого добра. Нет ли чего посущественнее?

– Возьми эти рамки...

– У меня они уже есть...

– Вот уздечка, вожжи... Вот красный крест, если хочешь... Зубная боль... Ежовые рукавицы... Месяц тюрьмы за диффамации...

– Все это у меня уже есть...

– Оловянный солдатик, ежели хочешь... Карта Севера...

Юморист машет рукой и уходит восвояси с надеждой на елку будущего года...

Сапожник и нечистая сила

Был канун Рождества. Марья давно уже храпела на печи, в лампочке выгорел весь керосин, а Федор Нилов все сидел и работал. Он давно бы бросил работу и вышел на улицу, но заказчик из Колокольного переуллка, заказавший ему головки две недели назад, был вчера, бранился и приказал кончить сапоги непременно теперь, до утрени.

– Жизнь каторжная! – ворчал Федор, работая. – Одни люди спят давно, другие гуляют, а ты вот, как Каин какой, сиди и шей черт знает на кого...

Чтоб не уснуть как-нибудь нечаянно, он то и дело доставал из-под стола бутылку и пил из горлышка и после каждого глотка крутил головой и говорил громко:

– С какой такой стати, скажите на милость, заказчики гуляют, а я обязан шить на них? Оттого, что у них деньги есть, а я нищий?

Он ненавидел всех заказчиков, особенно того, который жил в Колокольном переуллке. Это был господин мрачного вида, длинноволосый, желтолицый, в больших синих очках и с сиплым голосом. Фамилия у него была немецкая, такая, что не выговоришь. Какого он был звания и чем занимался, понять было невозможно. Когда две недели назад Федор пришел к нему снимать мерку, он, заказчик, сидел на полу и толк что-то в ступке. Не успел Федор поздороваться, как содержимое ступки вдруг вспыхнуло и загорелось ярким, красным пламенем, завоняло серой и жжеными перьями, и комната наполнилась густым розовым дымом, так что Федор раз пять чихнул; и возвращаясь после этого домой, он думал: «Кто бога боится, тот не станет заниматься такими делами».

Когда в бутылке ничего не осталось, Федор положил сапоги на стол и задумался. Он подпер тяжелую голову кулаком и стал думать о своей бедности, о тяжелой беспросветной жизни, потом о богачах, об их больших домах, каретах, о сотенных бумажках... Как было бы хорошо, если бы у этих, черт их подери, богачей потрескались дома, подошли лошади, полиняли их шубы и собольи шапки! Как бы хорошо, если бы богачи малопомалу превратились в нищих, которым есть нечего, а бедный сапожник стал бы богачом и сам бы куражился над бедняком-сапожником накануне Рождества.

Мечтая так, Федор вдруг вспомнил о своей работе и открыл глаза.

«Вот так история! – подумал он, оглядывая сапоги. – Головки у меня давно уж готовы, а я все сижу. Надо нести к заказчику!»

Он завернул работу в красный платок, оделся и вышел на улицу. Шел мелкий, жесткий снег, коловший лицо, как иголками. Было холодно, склизко, темно, газовые фонари горели тускло, и почему-то на улице пахло керосином так, что Федор стал перхать и кашлять. По мостовой взад и вперед ездили богачи, и у каждого богача в руках был окорок и четверть водки. Из карет и саней глядели на Федора богатые барышни, показывали ему языки и кричали со смехом:

– Нищий! Нищий!

Сзади Федора шли студенты, офицеры, купцы и генералы и дразнили его:

– Пьяница! Пьяница! Сапожник-безбожник, душа голенища! Нищий!

Все это было обидно, но Федор молчал и только отплевывался. Когда же встретился ему сапожных дел мастер Кузьма Лебедкин из Варшавы и сказал: «Я женился на богатой, у меня работают подмастерья, а ты нищий, тебе есть нечего», – Федор не выдержал и погнался за ним. Гнал он до тех пор, пока не очутился в Колокольном переулке. Его заказчик жил в четвертом доме от угла, в квартире в самом верхнем этаже. К нему нужно было идти длинным темным двором и потом взбираться вверх по очень высокой скользкой лестнице, которая шаталась под ногами. Когда Федор вошел к нему, он, как и тогда, две недели назад, сидел на полу и толк что-то в ступке.

– Ваше высокоблагородие, сапожки принес! – сказал угрюмо Федор.

Заказчик поднялся и молча стал примерять сапоги. Желая помочь ему, Федор опустил на одно колено и стащил с него старый сапог, но тотчас же вскочил и в ужасе попятился к двери. У заказчика была не нога, а лошадиное копыто.

«Эге! – подумал Федор. – Вот она какая история!»

Первым делом следовало бы перекреститься, потом бросить все и бежать вниз; но тотчас же он сообразил, что нечистая сила встретилась ему в первый и, вероятно, в последний раз в жизни и не воспользоваться ее услугами было бы глупо. Он пересилил себя и решил попытать счастья. Заложив назад руки, чтоб не креститься, он почтительно кашлянул и начал:

– Говорят, что нет поганей и хуже на свете, как нечистая сила, а я так понимаю, ваше высокоблагородие, что нечистая сила самая образованная. У черта, извините, копыта и хвост сзади, да зато у него в голове больше ума, чем у иного студента.

– Люблю за такие слова, – сказал польщенный заказчик. – Спасибо, сапожник! Что же ты хочешь?

И сапожник, не теряя времени, стал жаловаться на свою судьбу. Он

начал с того, что с самого детства он завидовал богатым. Ему всегда было обидно, что не все люди одинаково живут в больших домах и ездят на хороших лошадях. Почему, спрашивается, он беден? Чем он хуже Кузьмы Лебедкина из Варшавы, у которого собственный дом и жена ходит в шляпке? У него такой же нос, такие же руки, ноги, голова, спина, как у богачей, так почему же он обязан работать, когда другие гуляют? Почему он женат на Марье, а не на даме, от которой пахнет духами? В домах богатых заказчиков ему часто приходится видеть красивых барышень, но они не обращают на него никакого внимания и только иногда смеются и шепчут друг другу: «Какой у этого сапожника красный нос!» Правда, Марья хорошая, добрая, работающая баба, но ведь она необразованная, рука у нее тяжелая и бьется больно, а когда приходится говорить при ней о политике или о чем-нибудь умном, то она вмешивается и несет ужасную чепуху.

– Что же ты хочешь? – перебил его заказчик.

– А я прошу, ваше высокоблагородие, Черт Иваныч, коли ваша милость, сделайте меня богатым человеком!

– Изволь. Только ведь за это ты должен отдать мне свою душу! Пока петухи еще не запели, иди и подпиши вот на этой бумажке, что отдаешь мне свою душу.

– Ваше высокоблагородие! – сказал Федор вежливо. – Когда вы мне головки заказывали, я не брал с вас денег вперед. Надо сначала заказ исполнить, а потом уж деньги требовать.

– Ну, ладно! – согласился заказчик.

В ступке вдруг вспыхнуло яркое пламя, повалил густой розовый дым и завоняло жжеными перьями и серой. Когда дым рассеялся, Федор протер глаза и увидел, что он уже не Федор и не сапожник, а какой-то другой человек, в жилетке и с цепочкой, в новых брюках, и что сидит он в кресле за большим столом. Два лакея подавали ему кушанья, низко кланялись и говорили:

– Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородие!

Какое богатство! Подали лакеи большой кусок жареной баранины и миску с огурцами, потом принесли на сковороде жареного гуся, немного погодя – вареной свинины с хреном. И как все это благородно, политично! Федор ел и перед каждым блюдом выпивал по большому стакану отличной водки, точно генерал какой-нибудь или граф. После свинины подали ему каши с гусиным салом, потом яичницу со свиным салом и жареную печенку, и он все ел и восхищался. Но что еще? Еще подали пирог с луком и пареную репу с квасом. «И как это господа не полопаются от такой еды!»

– думал он. В заключение подали большой горшок с медом. После обеда явился черт в синих очках и спросил, низко кланяясь:

– Довольны ли вы обедом, Федор Пантелеич?

Но Федор не мог выговорить ни одного слова, так его распирало после обеда. Сытость была неприятная, тяжелая, и, чтобы развлечь себя, он стал осматривать сапог на своей левой ноге.

– За такие сапоги я меньше не брал, как семь с полтиной. Какой это сапожник шил? – спросил он.

– Кузьма Лебедкин, – ответил лакей.

– Позвать его, дурака!

Скоро явился Кузьма Лебедкин из Варшавы. Он остановился в почтительной позе у двери и спросил:

– Что прикажете, ваше высокоблагородие?

– Молчать! – крикнул Федор и топнул ногой. – Не смей рассуждать и помни свое сапожническое звание, какой ты человек есть! Болван! Ты не умеешь сапогов шить! Я тебе всю харю побью! Ты зачем пришел?

– За деньгами-с.

– Какие тебе деньги? Вон! В субботу приходи! Человек, дай ему в шею!

Но тотчас же он вспомнил, как над ним самим мудрили заказчики, и у него стало тяжело на душе, и чтобы развлечь себя, он вынул из кармана толстый бумажник и стал считать свои деньги. Денег было много, но Федору хотелось еще больше. Бес в синих очках принес ему другой бумажник, потолще, но ему захотелось еще больше, и чем дольше он считал, тем недовольнее становился.

Вечером нечистый привел к нему высокую, грудастую барыню в красном платье и сказал, что это его новая жена. До самой ночи он все целовался с ней и ел пряники. А ночью лежал он на мягкой, пуховой перине, ворочался с боку на бок и никак не мог уснуть. Ему было жутко.

– Денег много, – говорил он жене, – того гляди, воры заберутся. Ты бы пошла со свечкой поглядела!

Всю ночь не спал он и то и дело вставал, чтобы взглянуть, цел ли сундук. Под утро надо было идти в церковь к утрени. В церкви одинаковая честь всем, богатым и бедным. Когда Федор был беден, то молился в церкви так: «Господи, прости меня грешного!» То же самое говорил он и теперь, ставши богатым. Какая же разница? А после смерти богатого Федора закопают не в золото, не в алмазы, а в такую же черную землю, как и последнего бедняка. Гореть Федор будет в том же огне, где и сапожники. Обидно все это казалось Федору, а тут еще во всем теле тяжесть от обеда и

вместо молитвы в голову лезут разные мысли о сундуке с деньгами, о ворах, о своей проданной, загубленной душе.

Вышел он из церкви сердитый. Чтоб прогнать нехорошие мысли, он, как часто это бывало раньше, затянул во все горло песню. Но только что он начал, как к нему подбежал городской и сказал, делая под козырек:

– Барин, нельзя господам петь на улице! Вы не сапожник!

Федор прислонился спиной к забору и стал думать: чем бы развлечься?

– Барин! – крикнул ему дворник. – Не очень-то на забор напирай, шубу запачкаешь!

Федор пошел в лавку и купил себе самую лучшую гармонию, потом шел по улице и играл. Все прохожие указывали на него пальцами и смеялись.

– А еще тоже барин! – дразнили его извозчики. – Словно сапожник какой...

– Нешто господам можно безобразить? – сказал ему городской. – Вы бы еще в кабак пошли!

– Барин, подайте милостыньки Христа ради! – вопили нищие, обступая Федора со всех сторон. – Подайте!

Раньше, когда он был сапожником, нищие не обращали на него никакого внимания, теперь же они не давали ему проходу.

А дома встретила его новая жена, барыня, одетая в зеленую кофту и красную юбку. Он хотел приласкать ее и уже размахнулся, чтобы дать ей раза в спину, но она сказала сердито:

– Мужик! Невежа! Не умеешь обращаться с барынями! Коли любишь, то ручку поцелуй, а драться не дозволю.

«Ну, жизнь анафемская! – подумал Федор. – Живут люди! Ни тебе песню запеть, ни тебе на гармонии, ни тебе с бабой поиграть. . Тьфу!»

Только что он сел с барыней пить чай, как явился нечистый в синих очках и сказал:

– Ну, Федор Пантелеич, я свое соблюл в точности. Теперь вы подпишите бумажку и пожалуйте за мной. Теперь вы знаете, что значит богато жить, будет с вас!

И потащил Федора в ад, прямо в пекло, и черти слетались со всех сторон и кричали:

– Дурак! Болван! Осел!

В аду страшно воняло керосином, так что можно было задохнуться.

И вдруг все исчезло. Федор открыл глаза и увидел свой стол, сапоги и жестяную лампочку. Ламповое стекло было черно и от маленького огонька на фитиле валил вонючий дым, как из трубы. Около стоял заказчик в синих

очках и кричал сердито:

– Дурак! Болван! Осел! Я тебя проучу, мошенника! Взял заказ две недели тому назад, а сапоги до сих пор не готовы! Ты думаешь, у меня есть время шляться к тебе за сапогами по пяти раз на день? Мерзавец! Скотина!

Федор встряхнул головой и принялся за сапоги. Заказчик еще долго бранился и грозил. Когда он наконец успокоился, Федор спросил угрюмо:

– А чем вы, барин, занимаетесь?

– Я przygotowляю бенгальские огни и ракеты. Я пиротехник.

Зазвонили к утрени. Федор сдал сапоги, получил деньги и пошел в церковь.

По улице взад и вперед сновали кареты и сани с медвежьими полостями. По тротуару вместе с простым народом шли купцы, барыни, офицеры... Но Федор уж не завидовал и не роптал на свою судьбу. Теперь ему казалось, что богатым и бедным одинаково дурно. Одни имеют возможность ездить в карете, а другие – петь во все горло песни и играть на гармонике, а в общем всех ждет одно и то же, одна могила, и в жизни нет ничего такого, за что бы можно было отдать нечистому хотя бы малую часть своей души.

Александр Грин

Новогодний праздник отца и маленькой дочери

I

В городе Коменвиль, не блещущем чистотой, ни торговой бойкостью, ни всем тем, что являет раздражающий, угловатый блеск больших или же живущих лихорадочно городов, поселился ради тишины и покоя ученый Эгмонд Дрэп.

Здесь лет пятнадцать назад начал он писать двухтомное ученое исследование.

Идея этого сочинения овладела им, когда он был еще студентом. Дрэп вел полунищенскую жизнь, отказывал себе во многом, так как не имел состояния; его случайный заработок выражался маленькими цифрами гонорара за мелкие переводы и корреспонденции; все свободное время, тщательно оберегая его, он посвящал своему труду, забывая часто о еде и сне. Постепенно дошел он до того, что не интересовался уже ничем, кроме сочинения и своей дочери Тавинии Дрэп. Она жила у родственников.

Ей было шесть лет, когда умерла мать. Раз или два в год ее привозила к нему старуха с орлиным носом, смотревшая так, как будто хотела повесить Дрэпа за его нищету и рассеянность, за все те внешние проявления пылающего внутреннего мира, которые видела в образе трубочного пепла и беспорядка, смахивающего на разрушение.

Год от году беспорядок в тесной квартире Дрэпа увеличивался, принимал затейливые очертания сна или футуристического рисунка со смешением разнородных предметов в противоестественную коллекцию, но увеличивалась также и стопа его рукописи, лежащей в среднем отделении небольшого шкапа.

Давно уже терпела она соседство всякого хлама.

Скомканные носовые платки, сапожные щетки, книги, битая посуда, какие-то рамки и фотографии и много других вещей, покрытых пылью, валялось на широкой полке, среди тетрадей, блокнотов или просто перевязанных бечевкой разнообразных обрывков, на которых в нетерпении разыскать приличную бумагу нервный и рассеянный Дрэп писал свои внезапные озарения.

Года три назад, как бы опомнясь, он стоворился с женой швейцара: она должна была за некоторую плату раз в день производить уборку квартиры. Но раз Дрэп нашел, что порядок или, вернее, привычное смешение

предметов на его письменном столе перешло в уродливую симметрию, благодаря которой он тщетно разыскивал заметки, сделанные на манжетах, прикрытых, для неподвижности, бронзовым массивным орлом, и, уследив, наконец, потерю в корзине с грязным бельем, круто разошелся с наемницей, хлопнув напослед дверью, в ответ чему выслушал запальчивое сомнение в благополучном состоянии своих умственных способностей. После этого Дрэп боролся с жизнью один.

II

Смеркалось, когда, надев шляпу и пальто, Дрэп заметил наконец, что долго стоит перед шкапом, усиливаясь вспомнить, что хотел сделать. Ему это удалось, когда он взглянул на телеграмму.

«Мой дорогой папа, – значилось там, – я буду сегодня в восемь. Целую и крепко прижимаюсь к тебе. Тави». Дрэп вспомнил, что собрался на вокзал.

Два дня назад была им сунута в шкаф мелкая ассигнация, последние его деньги, на которые рассчитывал он взять извозчика, а также купить чего-либо съестного. Но он забыл, куда сунул ее, некстати задумавшись перед тем о тридцать второй главе; об этой же главе думал он и теперь, пока текст телеграммы не разорвал привычные чары. Он увидел милое лицо Тави и засмеялся.

Теперь все его мысли были о ней. С судорожным нетерпением бросился он искать деньги, погрузив руки во внутренности третьей полки, куда складывал все исписанное.

Упругие слои бумаги сопротивлялись ему. Быстро осмотрясь, куда сложить все это, Дрэп выдвинул из-под стола сорную корзину и стал втискивать в нее рукописи, иногда останавливаясь, чтобы пробежать случайно мелькнувшую на обнаженной странице фразу или проверить ход мыслей, возникших годы назад в связи с этим трудом.

Когда Дрэп начинал думать о своей работе или же просто вспоминал ее, ему казалось, что не было совсем в его жизни времени, когда не было бы в его душе или на его столе этой работы. Она родилась, росла, развивалась и жила с ним, как развивается и растет человек. Для него была подобна она радуге, скрытой пока туманом напряженного творчества, или же видел он ее в образе золотой цепи, связывающей берега бездны; еще представлял он ее громом и вихрем, сеющим истину. Он и она были одно.

Он разыскал ассигнацию, застрявшую в пустой сигарной коробке,

взглянул на часы и, увидев, что до восьми осталось всего пять минут, выбежал на улицу.

III

Через несколько минут после этого Тави Дрэп была впущена в квартиру отца мрачным швейцаром.

– Он уехал, барышня, – сказал он, входя вместе с девочкой, синие глаза которой отыскивали тень улыбки в бородатом лице, – он уехал и, я думаю, отправился встречать вас. А вы, знаете, выросли.

– Да, время идет, – согласилась Тави с сознанием, что четырнадцать лет – возраст уже почтенный. На этот раз она приехала одна, как большая, и скромно гордилась этим. Швейцар вышел.

Девочка вошла в кабинет.

– Это конюшня, – сказала она, подбирая в горестном изумлении своем какое-нибудь сильное сравнение тому, что увидела. – Или невыметенный амбар.

Как ты одинок, папа, труженик мой! А завтра ведь Новый год!

Вся трепеща от любви и жалости, она сняла свое хорошенькое шелковое пальто, расстегнула и засучила рукава. Через мгновение захлопали и застучали бесчисленные увесистые томы, решительно сброшенные ею в угол отовсюду, где только находила она их в ненадлежащем месте. Была открыта форточка; свежий воздух прозрачной струей потек в накуренную до темноты, нетопленную, сырую комнату.

Тави разыскала скатерть, спешно перемыла посуду; наконец, затопила камин, набив его туго сорной бумагой, вытащенной из корзины, сором и остатками угля, разысканного на кухне; затем вскипятила кофе. С ней была ее дорожная провизия, и она разложила ее покрасивее на столе. Так хлопоча, улыбалась и напевала она, представляя, как удивится Дрэп, как будет ему приятно и хорошо.

Между тем, завидев в окне свет, он, подходя к дому, догадался, что его маленькая, добрая Тави уже приехала и ожидает его, что они разминутся. Он вошел неслышно. Она почувствовала, что на ее лицо, закрыв сзади глаза, легли большие, сильные и осторожные руки, и, обернувшись, порывисто обняла его, прижимая к себе и теребя, как ребенка.

– Папа, ты, – детка мой, измучилась без тебя! – кричала она, пока он гладил и целовал дочь, жадно всматриваясь в это хорошенькое, нервное личико, сияющее ему всей радостью встречи.

– Боже мой, – сказал он, садясь и снова обнимая ее, – полгода я не видел тебя. Хорошо ли ты ехала?

– Прекрасно. Прежде всего, меня отпустили одну, поэтому я могла наслаждаться жизнью без воркотни старой Цецилии. Но, представь, мне все-таки пришлось принять массу услуг от посторонних людей. Почему это? Но слушай: ты ничего не видишь?

– Что же? – сказал, смеясь, Дрэп. – Ну, вижу тебя.

– А еще?

– Что такое?

– Глупый, рассеянный, ученый дикарь, да посмотри же внимательнее! Теперь он увидел.

Стол был опрятно накрыт чистой скатертью, с расставленными на нем приборами; над кофейником вился пар; хлеб, фрукты, сыр и куски стремительно нарезанного паштета являли картину, совершенно не похожую на его обычную манеру есть расхаживая или стоя, с книгой перед глазами. Пол был выметен, и мебель расставлена поуютнее. В камине пылало его случайное топливо.

– Понимаешь, что надо было торопиться, поэтому все вышло, как яичница, но завтра я возьму все в руки и все будет блестеть.

Тронутый Дрэп нежно посмотрел на нее, затем взял ее перепачканные руки и похлопал ими одна о другую.

– Ну, будем теперь выколачивать пыль из тебя. Где же ты взяла дров?

– Я нашла на кухне немного угля.

– Вероятно, какие-нибудь крошки.

– Да, но тут было столько бумаги. В той корзине.

Дрэп, не понимая еще, пристально посмотрел на нее, смутно встревоженный.

– В какой корзине, ты говоришь? Под столом?

– Ну да же! Ужас тут было хламу, но горит он неважно.

Тогда он вспомнил и понял.

IV

Он стал разом сесть, и ему показалось, что наступил внезапный мрак.

Не сознавая, что делает, он протянул руку к электрической лампе и повернул выключатель. Это спасло девочку от некоего момента в выражении лица Дрэпа, – выражения, которого она уже не могла бы забыть. Мрак хватил его по лицу и вырвал сердце.

Несколько мгновений казалось ему, что он неудержимо летит к стене, разбиваясь о ее камень бесконечным ударом.

– Но, папа, – сказала удивленная девочка, возвращая своей бестрепетной рукой яркое освещение, – неужели ты такой любитель потемок? И где ты так припылил волосы?

Если Дрэп в эти мгновения не помешался, то лишь благодаря счастливому свежему голосу, расклевшему его состояние нежной чертой. Он посмотрел на Тави. Прижав сложенные руки к щеке, она воззрилась на него с улыбкой и трогательной заботой. Ее светлый внутренний мир был защищен любовью.

– Хорошо ли тебе, папа? – сказала она. – Я торопилась к твоему приходу, чтобы ты отдохнул. Но отчего ты плачешь? Не плачь, мне горько!

Дрэп еще пыхтел, разбиваясь и корчась в муках неслышного стога, но сила потрясения перевела в его душу с яркостью дня все краткое удовольствие ребенка видеть его в чистоте и тепле, и он нашел силу заговорить.

– Да, – сказал он, отнимая от лица руки, – я больше не пролью слез.

Это смешно, что есть движения сердца, за которые стоит, может быть, заплатить целой жизнью. Я только теперь понял это. Работая, – а мне понадобится еще лет пять, – я буду вспоминать твое сердце и заботливые твои ручки. Довольно об этом.

– Ну, вот мы и дома!

30 декабря 1922

Валерий Брюсов

Дитя и безумец

Маленькая Катя спросила:

– Мама, что сегодня за праздник?

Мать отвечала:

– Сегодня родится Младенец Христос.

– Тот, Который за всех людей пролил кровь?

– Да, девочка.

– Где же Он родится?

– В Вифлееме. Евреи воображали, что Он придет как царь, а Он родился в смиренной доле. Ты помнишь картинку: Младенец Христос лежит в яслях в вертепе, так как Святому Семейству не нашлось приюта в гостинице? И туда приходили поклоняться Младенцу волхвы и пастухи.

Маленькая Катя думала: «Если Христос пришел спасти всех людей, почему же пришли поклониться Ему только волхвы и пастухи? Почему не идут поклониться Ему папа и мама, ведь Он пришел и их спасти?» Но спросить обо всем этом Катя не смела, потому что мама была строгая и не любила, когда ее долго спрашивают, а отец и совсем не терпел, чтобы его отрывали от книг. Но Катя боялась, что Христос прогневается на папу и маму за то, что они не пришли поклониться Ему. Понемногу в ее голове стал складываться план, как пойти в Вифлеем самой, поклониться Младенцу и просить прощения за папу и маму.

В восемь часов Катю послали спать. Мама раздела ее сама, так как няня еще не вернулась от всенощной. Катя спала одна в комнате. Отец ее находил, что надо с детства приучать не бояться одиночества, темноты и прочих, как он говорил, глупостей. Катя твердо решила не засыпать, но, как всегда с ней бывало, это ей не удалось. Она много раз хотела не спать и подсмотреть, все ли остается ночью, как днем, стоят ли дома на улицах, или они на ночь исчезают, – но всегда засыпала раньше взрослых. Так случилось и сегодня. Несмотря на все ее старание не спать, глаза слиплись сами собой, и она забылась.

Ночью, однако, она вдруг проснулась. Словно ее разбудил кто-то. Было темно и тихо. Только из соседней комнаты слышалось сонное дыхание няни. Катя сразу вспомнила, что ей надо идти в Вифлеем. Желание спать прошло совершенно. Она неслышно поднялась и начала, торопясь, одеваться. Обыкновенно ее одевала няня, и ей очень трудно было натянуть чулки и застегнуть пуговочки сзади. Наконец, одевшись, она на цыпочках

пробралась в переднюю. По счастью, ее шубка висела так, что она могла достать ее, встав на скамейку. Катя надела свою шубку из гагачьего пуху, гамаша, ботики и шапку с наушниками. Входная дверь была с английским замком, и Катя умела отпирать ее без шума.

Катя вышла, проскользнула мимо спящего швейцара, отперла наружную дверь, так как ключ был в замке, и очутилась на улице.

Было морозно, но ясно. Свет фонарей искрился на чистом, чуть-чуть заледеневшем снеге. Шаги раздавались в тишине четко.

На улице никого не было. Катя прошла ее до угла и наудачу повернула направо. Она не знала, куда идти. Надо было спросить. Но первый встретившийся ей господин был так угрюм, так торопился, что она не посмела. Господин посмотрел на нее из своего поднятого мехового воротника и, не сказав ни слова, зашагал дальше.

Вторым встречным был пьяный мастеровой. Он что-то крикнул Кате, протянул к ней руки, но, когда она в страхе отбежала в сторону, тотчас забыл про нее и пошел вперед, затянув песню.

Наконец Катя почти наткнулась на высокого старика, с седой бородой, в белой папахе и в дохе. Старик, увидав девочку, остановился. Катя решила спросить его:

– Скажите, пожалуйста, как пройти в Вифлеем?

– Да ведь мы в Вифлееме, – отвечал старик.

– Разве? А где же тот вертеп, где в яслях лежит Младенец Христос?

– Вот я иду туда, – отвечал старик.

– Ах, как хорошо, не будете ли добры проводить и меня? Я не знаю дороги, а мне очень нужно поклониться Младенцу Христу.

– Пойдем, я тебя проведу.

Говоря так, старик взял девочку за руку и повел ее быстро. Катя старалась поспевать за ним, но ей это было трудно.

– Когда мы торопимся, – решила она наконец сказать, – мама берет извозчика.

– Видишь ли, девочка, – отвечал старик, – у меня нет денег. У меня все отняли книжники и фарисеи. Но давай я понесу тебя.

Старик поднял Катю сильными руками и, держа ее как перышко, зашагал дальше. Катя видела перед собой его включенную седую бороду.

– Кто же вы такой? – спросила она.

– А я – Симеон Богоприимец. Видишь ли, я был в числе семидесяти толковников. Мы переводили Библию. Но, дойдя до стиха «Се дева во чреве приемлет...», я усомнился. И за это должен жить, доколе же сказанное не исполнится. Доколе я не возьму Сына Девы на руки, мне

нельзя умереть. А книжники и фарисеи стерегут меня зорко.

Катя не совсем понимала слова старика. Но ей было тепло, так как он запахнул ее дохой. От зимнего воздуха у нее кружилась голова. Они все шли по каким-то пустынным улицам, ряды фонарей бесконечно уходили вперед, суживаясь в точку, и Катя не то засыпала, не то только закрывала глаза.

Старик дошел до деревянного домика в предместье и сказал Кате:

– Здесь живет слуга Ирода, но он мой друг, и я войду.

В окнах был еще свет. Старик постучался. Послышались шаги, скрип ключа, дверь отворилась. Старик внес Катю в темную переднюю. Перед ними в полном изумлении стоял немолодой уже человек в синих очках.

– Семен, – сказал он, – это ты? Как ты попал сюда?

– Молчи. Я обманул книжников и фарисеев и темничных сторожей. Сегодня праздничная ночь, они менее бдительны. Вот я и убежал.

– А шуба у тебя чья?

– Я взял у смотрителя. Но это я возвращу. Я еще вернусь. Пусть мучают, но мне надо было пойти, я должен увидеть Христа, иначе мне нельзя умереть.

– Но что же это за девочка? – воскликнул господин в очках, который лишь теперь рассмотрел Катю.

– Она тоже идет в вертеп.

– Да, мне надо поклониться Младенцу Христу, – вставила Катя.

Господин в очках покачал головой. Он взял Катю от старика, отнес ее в соседнюю комнату и передал какой-то старушке. Катя еще говорила, что ей надо идти, но она так устала и замерзла, что не очень сопротивлялась, когда ее раздели, натерли вином и уложили в теплую постель. Она уснула тотчас.

Старика тоже уложили.

На другой день через участок и родители отыскали Катю, и смотрители сумасшедшего дома – своего бежавшего пациента. Дитя и безумец – оба шли поклониться Христу. Благо тому, кто и сознательно жаждет того же.

Леонид Андреев

Ангелочек

I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему показалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», – и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился, и, когда Сашка проходил в светлом

круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

– Где полуночицаешь, щенок? – крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

– Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыхание отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

– Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, – прошептал он.

– Врешь? – спросил с недоверием Сашка.

– Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

– Врешь? – все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.

– Ну-ка подвинься, расселся! – сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: – А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик», – протянул Сашка в нос. – Сами хороши, антипы толсторожие.

– Ах, Сашка, Сашка! – поежился от холода отец. – Не сносить тебе головы.

– А ты-то сносил? – грубо возразил Сашка. – Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых

безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съезжившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:

– А я тебе говорю, что ты пойдешь! – И при каждом слове Феоктиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

– А я тебе говорю, что не пойду, – хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

– Изобью я тебя, ох как изобью! – кричала мать.

– Что же, избеи!

Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегала к авторитету мужа.

– А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

– Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? – отозвался тот с лежанки. – Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его пьяного поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

– Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, – продолжал отец.

Он хитрил – Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

– Ну, ладно! – буркнул он. – Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

II

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

– Ты неблагодалный мальчик? – спросил он Сашку. – Мне мисс сказала. А я холосой.

– Уж на что же лучше! – ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

– Хочешь лузье? На! – протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

– Злой... Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

– Вот этот, – сказала она, – показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. – Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

– Дурная кровь, – вздохнула Софья Дмитриевна. – Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему

больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

– Не хочу, – коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

– Что же, братец, в пастухи хочешь? – спросил господин.

– Нет, не в пастухи, – обиделся Сашка.

– Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

– Мне все равно, – ответил он, подумав, – хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

– Я хочу и в ремесленное, – скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

– Но едва ли вакансия найдется, – сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и поглаживая поднявшиеся на затылке волосики. Впрочем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери и чей-то голос сказал:

– Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален, что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают

из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, неопределяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

– Милый... милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительно, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и не похож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

– Милый... милый! – шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях

показалась хозяйка – важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.

– Тетя, а тетя, – сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. – Те... Тетечка.

Она не слышала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.

– Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? – удивилась седая дама. – Это невежливо.

– Те... тетечка. Дай мне одну штуку с елки-ангелочка.

– Нельзя, – равнодушно ответила хозяйка. – Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марией Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

– Я раскаиваюсь. Я буду учиться, – отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

– И хорошо сделаешь, мой друг, – ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

– Дай ангелочка.

– Да нельзя же! – говорила хозяйка. – Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

– Да ты с ума сошел! – воскликнула седая дама и оглянулась; по счастью, в кабинете никого не было. – Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал:

– Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на ее губах

первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

– Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, – поучительно добавила седая дама, – не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед богом.

«Толкуй там», – думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама ломает ангелочка.

– Красивая вещь, – сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. – Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с ним делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, – солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

– Ну, на уж, на, – с неудовольствием сказала она. – Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

– А-ах! – вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

– А-ах! – пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между

неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

– Я домой пойду, – глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. – К отцу.

III

Мать спала, обессилив от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

– Хорош? – спрашивал шепотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрагиваться.

– Да, в нем есть что-то особенное, – шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

– Ты погляди, – продолжал отец, – он сейчас полетит.

– Видел уже, – торжествующе ответил Сашка. – Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Сашка наставительно шептал:

– Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее – бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, – все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого

грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была ее душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезало настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливалось воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознательным движением положил руки на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.

– Это она тебе дала? – прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.

– А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

– Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? – задумчиво спросил отец.

– Нет, – сознался Сашка. – А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

– А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву...

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, скovyрнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

– Ах, Саша, Саша! – всхлипывал отец. – Зачем все это?

– Ну, что еще? – сурово прошептал Сашка. – Совсем, ну совсем как маленький.

– Не буду... не буду, – с жалкой улыбкой извинился отец. – Что уж... зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи... держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба – и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

– Что же ты не раздеваешься? – спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.

– Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, что точно шел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встrepенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.

notes

Примечания

Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома, колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за Бога, и что будто от того пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж, если сказать правду, то в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про Рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому. *Замечание пасичника.*

Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед – все немец.

Пирогов Николай Иванович (1810–1881) – знаменитый русский хирург и анатом.